



БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



СТРАТОНАВТЫ

*Антология
произведений
о покорении стратосферы*



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СПУТНИК™»
2020

I
РЕМЕСЛО
ГЕРОЯ



СЕРГЕЙ КОЛДУНОВ



РЕМЕСЛО ГЕРОЯ

Фантастический роман

Иллюстрации Г. Балашова

*Журнал «Красная новь», №№ 9-10, 1937 г.
Иллюстрации Г. Балашова: отрывки из романа в журнале «30 дней», № 10, 1937 г.
В текст внесены незначительные дополнения из публикации: Сергей Колдунов. «**Рн-1**», М.: Правда, 1939 г. Серия:
Библиотека Огонек № 20*



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Сбегаю по лестнице, Сажин оглянулся назад, в прозрачную глубину большого вестибюля. Там стоял бородатый швейцар, в монументальной важности которого было тихое презрение к миру. Размноженный в зеркалах и мраморной облицовке, увеличенный во всех размерах пышными складками своего облачения, швейцар смахивал на особое, прежней мифологией не предусмотренное божество, властвующее над душами приезжающих.

Сажин улыбнулся (не мог не улыбнуться!) этому рыжему Перуну, не метавшему громов только по врожденной доброте характера. В последнее мгновение, уже покидая гостиницу, он, кажется, даже подмигнул швейцару, разом настраиваясь на веселый лад. Вот так, — несколько больше, чем следует, размахивая портфелем, — с неостывшей еще улыбкой и беспечными искорками в глазах он и вышел из подъезда.

Прямо в лицо Сажину дохнул белый яд зимнего дня. Он ощутил на губах терпкое прикосновение свежести. Мороз-

ный воздух щипнул его горло, заполнил грудь и, казалось, тотчас же проник в кровь. Каким-то внутренним сквознячком повеяло во всем теле. Сажин почувствовал легкую су-дорогу озноба и плотнее запахнул пальто.

Снегу на улице, как и полагалось для ежедневно охора-шиваемой Москвы, было мало. Тротуары и уличный ас-фальт были покрыты тонкой ледяной коркой.

Поскользнувшись и выделав ногами сложный пируэт, Сажин не чертыхнулся, как сделал бы в другое время, а только благодарно крикнул. В изысканных выражениях он попросил прощения у толкнувшей его газетчицы. Субтиль-ному старцу, перебегавшему улицу не по летам резвой рыс-цей, он предупредительно уступил дорогу. Его переполняла та требующая проявления благожелательность к людям, ка-кую испытывают при большой радости или удаче. В конце концов, он даже устыдился своих неосмысленных чувств.

Где-то в зеркальном простенке парфюмерного магазина Сажин увидел себя во весь рост, шествующего по улице в обнимку с портфелем. Из зеркала на него смотрел невысо-кий человек, завернутый до колен в меховое пальто. Длин-ные уши белой самоедки, словно космы, спадали ему на грудь.

Сажин сделал попытку придать лицу выражение строго-сти и равнодушия. В следующий момент, поймав себя на этой мимической гимнастике, он чуть не расхохотался. Справиться с дрожащим внутри возбуждением было не так-то просто.

Сажину казалось, что сегодня все вокруг жило убыст-ренной и необычайно напряженной жизнью. Уличная арте-рия билась ускоренно, как малярный пульс. Розовые кругляшки лиц, белые капли беретов, пестрые женские шубки, пальто, малахаи, платки — все это текло мимо Са-жина стремительным теплым потоком.

На перекрестке стоял милиционер. Белая его перчатка управляла здесь судьбами вещей, Она торжественно подни-малась вверх, и поток замирал, точно напуганное сердце. Затем она снисходительно протягивалась вперед, и поток

прорывался в освобождаемую жестом брешь. Скрежеща и громыхая, ломились в уличное пространство трамваи. Нервически сустились авто. Тучные троллейбусы шествовали с достоинством гиппопотамов. Покорные движениям белой перчатки вещи жили и замирали ритмично. Милиционер, видимо, зяб. Он чаще обычного менял положение, и уступчивый уличный ток ускорялся до темпов марша.

От Кудринки по Садовой, и от Триумфальной по Тверской Сажин шел просторной походкой гуляющего человека. Хлынов жил в районе Ильинки. К нему можно было ехать на трамвае, но Сажину хотелось пройти пешком. Волею обстоятельств ему выпало в Москве несколько свободных дней, и он решил использовать их для удовольствий, ничтожных, но давно не испытанных, вроде вот этого праздного путешествия по улице.

Он находился в том состоянии, когда тысячи мелочей, обычно не замечаемых, неожиданно приобретают важный смысл.

Дело, которым он жил последние годы, было близко к завершению. Ракетоплан его и Хлынова конструкции был уже на аэродроме. Он шел сейчас к Хлынову, чтобы узнать, получена ли правительственная санкция на полет, для участия в котором его вызвали из Ленинграда. Ему приятно было сознавать, что многие годы труда, забот и напряжения были уже позади. В его теперешнем положении он походил на полководца, уже подготовившего ответственную операцию, но вынужденного ждать окончательного приказа. В жизни его на короткое время образовалась звонкая пустота. Он жил и воспринимал все с тем чувством душевной легкости и свободы, какое совершенно невозможно среди повседневных забот.

Он шел по улице, и мир врвался в него лавиной. Полчище пустяков вторгалось в его мозг. Среди привычных, тысячу раз виденных вещей он озирался сейчас, словно узнавал их впервые.

Москва готовилась к предстоящему слету лучших людей промышленности.

Какое-то незримое для первого взгляда шевеление происходило на улицах. Вывешивались флаги. На перекрестках устанавливались макеты и эстампы. В витринах магазинов совершались метаморфозы. Товары уступали место диаграммам, лозунгам, фотографиям. Меж полок с галантерейной мелочью, среди разнузданного сияния парфюмерных изделий или ювелирного блеска, взгромоздившись над скопищем ботинок, туфель, галош или потонув в разливах разноцветного ситца, появлялись архитектурные проекты и картины художников.

Сажин остановился перед одной из витрин.

За хорошо протертым стеклом продавщица устанавливала портрет Ленина. Она размещала вокруг цветы. Самый портрет был заключен в раму из яркого полотна. У подножия изображения вздымался гигантский пурпурный бант. На лице продавщицы запечатлелось простодушное усердие человека, целиком поглощенного своим делом. Приколачивая бант и плохо справляясь с молотком, она даже языком себе помогала, высовывая его при каждом ударе. Чтобы лучше видеть работу, она отходила несколько в сторону, откидывала голову и прищуривалась. В разгаре подобных занятий она поймала улыбку инженера и, разом нахмурившись, рассерженно отвернулась. Так сердятся люди, уличенные в чувстве, которое не хочется открывать каждому встречному.

Сажин смутился и поспешил отойти.

Он вышел на Страстную площадь, где так же, как и всюду, развертывались декоративные работы. Какие-то фигуры сооружались здесь из фанеры и картона. В собранном виде лежали на асфальте причудливые деревянные конструкции. Целый плакатный смерч бушевал над головами снующих людей. В разных направлениях через площадь перекидывались широкие полотнища. Ветер раскачивал их, и белые четкие буквы, как стая птиц, кружились в воздухе.

Вдоволь привычные слова будили сейчас в Сажине совсем необычайное волнение. Он остановился у бульвара, обозревая площадь.

Вдоль стен бывшего Страстного монастыря, на месте будничного автодорожного макета, с автомобилем, мчащимся в бесконечность, поднимался новый ликующий стенд. Заключение в стекло цифры и изображения рассказывали о росте страны. Скромные знаки представляли зрителю целые полчища колхозов, совхозов, заводов, гидроцентралей и МТС. Все эти черточки и закорючки никогда еще не ощущались Сажиним так вещно, как сейчас.

Он видел страстные годы пятилетки и чувствовал веяние строительных ее ветров. Тысячи тонн металла текли перед его глазами. Вздыхалась дикая целина. На месте голых пустырей вырастали здания из камня и железа. Могучие плотины перехватывали горла рек. В полях ширился тракторный стук. Яснили улыбки людей, смелели взгляды. Собственное его детище — ракетоплан — сходил с чертежных листов в мастерские и цеха, бродил по рукам резинщиков, металлистов, сварщиков, ученых, инженеров, пилотов, и превращался в готовую к делу вещь — воплощение его труда и мысли.

Вся эта уличная суэта отзывалась в Сажине подобно эху. Его охватывало то самое чувство, какое некогда, в детстве, он испытывал накануне дня своего рождения, готовившего ему счастливые сюрпризы. Лозунги, цифры, эстампы и полотно — все это оживление было трудно сегодня отделить от ощущения собственной удачи. Сажину даже представилось вдруг, что все это устроено нарочно, для него. Улыбаясь несообразности такой мысли, он двинулся вниз по Тверской, заглядывая в лица прохожих.

Он с удивлением отмечал, что простая прогулка по городу может доставлять много удовольствия. Улицы были для него обычно лишь мерой тех километров, которые отделяли нужные учреждения и людей. Сейчас они занимали его сами по себе.

Он спустился по улице Горького до Охотного ряда и остановился на их пересечении. В прошлый его приезд в Москву, месяца четыре назад, здесь было тесно и грязно, точно в канализационной трубе. Вот тут, прямо против угла,

громоздились заборы и вышка Метростроя. Еще к Октябрьским торжествам, как писал ему Хлынов, этот участок метро был закончен. Вышка и развалившиеся дома были снесены.

Последние полтора года Сажин жил в Ленинграде, но в душе, как и всегда, оставался москвичом.

Отсюда, от центра, от строгих башен Кремля и охотно-рядской неразберихи, начинался рост нового города и открывалась просторная дорога в будущее. Уличный ландшафт неожиданно изменял свой стиль, словно к старой картине прикоснулась рука нового, более мощного мастера. Стоя здесь, на месте пересечения улицы Горького и Моховой, Сажин впервые почувствовал, что делается со столицей.

Он ясно представил себе этот уголок, каким он был в двадцатом году. Между Дмитровкой и Тверской тянулись тогда приземистые каменные ряды, неряшливые и отвратительно пахнущие. Около самого Дома Союзов, на середину улицы выпирала какая-то древняя церквушка, загромождая проход. Вся в рубищах и заплатках церквушка выставляла напоказ облезлую штукатурку и язвы выбоин. Как нищенка, она цеплялась за рукава прохожих. И точно гнилые зубы, в темной пасти ее притвора торчали тощие тела старух.

Вправо от Тверской, против старого здания университета тогда неровно топорщились кирпичные домишки, подступавшие почти к самому манежу.

Это была не улица, а глухая тесная щель. Люди и трамваи кишели здесь, словно насекомые. В первых этажах домишек и вдоль университетской загородки ютились книжные лавки, ларьки и рогожки мелких букинистов. В этой щели было душно, тесно и нечистоплотно, и никто этого как будто не замечал.

Теперь на месте бывшего Охотного ряда взлетали к небу гигантские здания гостиницы и дома Моссовета. Гостиница была уже почти закончена. Заборы и леса отпали от мощного ее тела. Рыжее пламя мраморной облицовки лизало нижние ее этажи. Светлые квадраты ниш, окон, балконов четко

вырисовывались на общем фоне постройки. Все линии были уверенны и смелы. Церквушки около Дома Союзов не было и в помине. Прямо по направлению к Свердловской площади открывался широкий пролет.

Справа вид был еще чудесней. Как человек ослепленный, инженер стоял на углу улицы Горького, мешая прохожим, и смотрел в сторону Манежной площади.

Это был широкий вздох улицы, стремительный жест силы и освобождения. Недавно теснившаяся тут кирпичная мелочь была снесена одним дуновением. Взгляд рушился с угла улицы Горького в асфальтовую пропасть. Целая прорва простора открывалась глазу. В дымном воздухе морозного дня вставал новый, подаренный Москве ландшафт.

Громада манежа, недавно еще среди подступавших домишек казавшаяся бревном, втиснутым в детскую коляску, сейчас, в раздавшемся пространстве, была уместно величественной и монументальной. Слева от нее, за высокой решеткой бывшего Александровского сада, тянулись бойницы кремлевских стен. Дальше Боровицкая башня, как острие, вонзалась в дымную голубизну неба. Двуглавый орел, точно пугало, еще торчал над нею. Ниже виднелась белая Кутафья башня, похожая на шахматную туру. Между башней и манежем, в далекой перспективе Замоскворечья, вырисовывались строгие формы Дома Правительства. В геометрической четкости его рисунка, резче выступавшей по соседству с узорной линией кремлевских стен, был пафос прямоты, меры и числа. Вправо от манежа шел уличный пролет, высилось полукруглое здание университетской библиотеки. Белые стволы ее колонн, казалось, росли в воздухе без всякой поддержки. И фланг замыкался углом нового университетского корпуса, со знакомой, хоть и не видимой отсюда надписью.

Все это было для Сажина подарком. «А ведь, пожалуй, площадь-то эта — самая красивая теперь», — подумал он. Казалось, титаны работали тут, освобождающие землю от грязи и безобразия. Здесь видна была поступь времени: история мешалась с сегодняшним днем. Площадь была куском будущей Москвы.

Когда, несколько минут спустя, Сажин двинулся дальше, он шел уже, преувеличенно четко выбрасывая ноги, как ходят под музыку или под песню. Он пересек Площадь Революции, обогнул Исторический Музей, выбрался на Красную Площадь и пошел по тротуару вдоль здания ВЦИК. Прямо перед ним, точно буюк, купался в небе витиеватый купол Василия Блаженного. Сбоку лежали мраморные плиты мавзолея, и плыл в синеве каменный корабль Кремля, с башнями, стройными, как мачты.

Если был бы изобретен аппарат, фотографирующий мысли, то снимок с мыслей Сажина, вероятно, походил бы сейчас на какой-нибудь рисунок кубистского толка. Образы набегали друг на друга, границы их были смещены, представления — стерты.

Инженер испытывал то неопределенное чувство полноты бытия, какое людей комсомольского возраста заставляет прыгать через тумбочки. Какой-то душевный зуд, желание чем-нибудь проявить себя, охватывали его. Может быть, следовало, проходя этой площадью, сорваться вдруг с тротуара и так вот — размахивая руками и мчась навстречу ветру, завопить что есть силы, веселое «да здравствует!» Что именно «да здравствует!» было не важно. ВСЕ — «да здравствует!» Да здравствуют смелость, сила, удача, жизнь, страна, работа!

Что еще может не здравствовать здесь, где мир перестраивают, как дом, чтобы в нем было больше света, простора и радости.

Сажин ясно представил, как бежит по площади бледнолицый человек в самоедке, неистово вопящий и размахивающий руками. А ведь, пожалуй, его приняли бы за сумасшедшего или за пьяницу, или даже за человека с недобрыми намерениями. Надо полагать, его тотчас же отправили бы в отделение или в вытрезвитель. И там какой-нибудь здравомыслящий работник, познакомившись с его несуразными объяснениями, прочел бы ему солидное внушение.

Сажин ухмыльнулся, представив такую картину. Он прекрасно понимал веселые стороны собственного возбуж-

дения. Ему не раз доводилось видеть на улицах почтенных людей, улыбающихся своим мыслям, Вид у этих уличных оптимистов бывал довольно потешный, хотя, пожалуй, и немножко жалкий. Вероятно, и он сейчас выглядит вот таким простаком, бредущим по площади с идиотской ухмылкой?

Он дошел, наконец, до угла и повернул на Ильинку. До переулка, где жил Хлынов, оставалось несколько шагов. Вспомнив, что у него вышли папиросы, Сажин завернул в один из подъездов Гум'а. И тотчас же, как только он вошел под стеклянные своды пассажа, в уши ему ударил рев репродукторов.

Военный оркестр исполнял летный марш. В тесных проходах, над медленно движущейся толпой, над кишащими прилавками, киосками и ларьками, мерно лилась знакомая мелодия. К пению кларнетов и труб сами собой подбирались слова:

Все выше, все выше и выше

Стремим мы полет наших птиц...

И пока Сажин толкался среди покупателей, стоял в очереди к кассе и протискивался к продавцу, мелодия вошла в него, как в ножны, словно она в самом деле была создана нарочно, по мерке его настроения. Сажин тысячи раз слышал этот марш, но только сейчас он чувствовал его по-настоящему. Кто-то спрашивал у Сажина, как пройти в обувной отдел.

— В обувной? Да вот сюда, направо! — говорил он самым обыкновенным тоном, но слова его, как ему казалось, имели еще какой-то другой, более важный смысл.

... Все выше, все выше и выше..

Кто-то толкал Сажина локтем в бок и наступал на ноги.

— Не торопитесь, гражданин! Места всем хватит! — мягко увещевал он, улыбаясь нетерпеливому человеку.

... И в каждом пропеллере дышит

Спокойствие наших границ...

Так вместе с ним на улицу и вышла эта веселая мелодия. Она звучала в говоре прохожих, слышалась в звонках трамваев, запутывалась в автомобильных гудках. Даже подошвы его пришептывали: все выше, все выше и выше... Мелькали вывески, лица, витрины, афиши, Сажин летел на высокой волне песни, искусно лавируя между людьми и автомобилями. И только уткнувшись в красную громаду новенького многоэтажного дома, где жил Хлынов, хлопнув дверью и войдя в подъезд, он опомнился немножко, и мысли его приняли более спокойное направление.

II

Это была пустая и гулкая дыра, где пахло сыростью необжитого камня. Сажин легко взбежал на третий этаж, прыгая по-мальчишески через ступеньки. Некрупное его тело производило здесь несообразно много шума. За каблуками его ботинок следовал низкий прерывистый гул, словно невидимая лавина обрушивалась в лестничные пролеты. Впрочем, у самой хлыновской квартиры пришлось на минуту задержаться. Сердчишко-то все-таки пошаливало. Не то от волнения, не то от спешки, в груди поднималась тихая подлая возня. «Эх, ма!» — подумал он. Затем передохнул раз-другой, и осторожно нажал кнопку звонка.

Спустя мгновение он ожидал увидеть стремительную усмешку Нины Николаевны и пестрое бушевание ее цветистой шали. Однако, против обычая, дверь открыла хлыновская домработница. Круглое ее лицо не выражало ни радости, ни огорчения. Сажин протиснулся в прихожую и как-то сразу, без всяких переходов, поскутнел.

Из-за перегородки, со стороны хлыновской комнаты, доносилось маловнятное, но страстное бормотанье, словно двое людей спорили или бранились вполголоса. Казалось, один нападает, другой защищается — в такой последовательности сменялись гневные и умиротворяющие ноты. Какие-то звуки — шуршание, топот, стук — рождались за звонкой стеной.

Обычно Сажин входил к Хлынову запросто, но на этот раз, предполагая посетителей, легонечко постучал. Ответа не было, только что-то гулко грянулось в комнате на пол и покатилося, а затем послышались один за другим глухие мягкие хлопки. Сажин взялся за ручку двери и потянул ее к себе.

В комнате был только один Хлынов. Он стоял у книжной полки, спиной к двери, придерживая одной рукой падающие книги. В другой его руке была зажата хрустальная ваза, которую некуда было поблизости поставить. Книги, потеряв опору, ползли целым потоком. У ног Хлынова выростала бумажная гора. Тщетно пытаясь задержать падение, Хлынов чертыхался сквозь зубы и бормотал себе под нос.

Вообще в его логове господствовал сегодня беспорядок. Все было сдвинуто с привычных мест, разбросано кое-как, словно после обыска или пожара. По письменному столу рассыпались груды каких-то бумажек. Раскрытый и выпотрошенный портфель валялся под столом. На стульях громоздились вороха свернутых в трубки чертежей. Тут же валялись осколки какой-то фарфоровой фигуры, опрокинутая на бок настольная лампа, металлический сосуд неизвестного назначения. Комната была взлохмачена, как только что вспаханное поле.

Посреди этого хаоса топтался плечистый человек в щегольском костюме летчика. Ноги его, закованные в черные краги, блистали, как вымытые бутылки. Синее галифе было раздуто, что парус. Крылатый авиационный знак резко выделялся на темном сукне френча. Окруженный скопищем взбунтовавшихся вещей, Хлынов был похож на неудачливого волхва, который не может справиться с вызванными им духами.

Сажин неслышно вошел и сел на стул у самой двери. Он улыбался, глядя на хозяина. Защищенный углом сдвинутого шкафа, он мог наблюдать, оставаясь неприметным.

Жилище Хлынова всегда поражало его музейной своей пестротой и неуютом. Казалось, здесь живут не один, а, по крайней мере, трое людей, да, к тому же, еще совершенно

разных. Восторженный пилот натащил сюда аэронавигационных карт, повесил на видном месте чудовищной величины кобуру для пулеметоподобного парабеллума, на круглый же столик водрузил разборный макет цельно-металлического дирижабля. Торопящийся, и, видимо, не очень терпеливый инженер разбросал вокруг эскизы, прислонил к стене чертежную доску и не прибрал также к месту обломков какого-то поршня. Наконец, третий жилец, с другими, видимо, неравноправный и занимающий положение приживальщика, насовал повсюду пестрейшей антикварной рухляди: севрскую вазу с отбитым краем, пару старинных гобеленов, множество хрустальных вещей, бюст Данте, небольшую копию Микель-Анджеловского Моисея и несколько хороших гравюр с картин Гойн.

На этот знакомый комнатный ландшафт Сажин смотрел почти с умилением. Хлынов всегда удивлял его жизненным своим изобилием. Вещество этого человека легко отзывалось на каждый шорох. В нем сразу росло несколько до всего жадных людей, и он не очень заботился о том, чтобы они жили в мире.

Между прочим он занимался и антикварством, этот ражий детина, залитый в прочную форму летчика. Большие его лапы держали иногда какой-нибудь венецианский стакан с тончайшей паутинной резьбой, которую, казалось, можно было сдуть одним дыханием, Страсть была дорогая и обременительная. Хлынову с женой, несмотря на то, что он был командиром большой воздушной части, доводилось благодаря этой страсти иногда обедать «в приглядку». Так назывались те случаи, когда склонная к юмору Нина Николаевна ставила на обеденный стол рядом с тощим супом какое-нибудь новое разорительное приобретение.

Вспоминая это, Сажин посмеивался, сидя за своим прикрытием. Не подозревающий наблюдателя хозяин стоял посреди разваленных книг в позе глубокого раздумья. Он пристально смотрел на стену, словно читал там тайные письма.

На стене висел гобелен, изображающий хоровод пастушек. Томные пейзажи кружились с аристократической же-

манностью, раскинув тонкие руки. Кукольные личики многозначительно улыбались и, казалось, подмигивали пилоту. Хлынов вдруг плюнул, словно в самом деле рассердился на такую непозволительную игривость, и хлопнул себя ладонью по лбу.

Непонятно, смешно и странно ведет себя человек наедине с самим собой. Сажин не выдержал и расхохотался.

— С кем это ты воюешь, Матвей? — сказал он, выходя из-за шкафа. — Что у тебя за разгром?..

Хлынов резким движением повернулся на голос. Несколько мгновений он смотрел непонимающим и чуть растерянным взглядом, словно был застигнут на месте преступления.

— Фу, ты, дьявол! — пробормотал он наконец, протягивая руку. — Откуда тебя черти притащили?..

Решительность выражения была здесь просто признаком радушия. Сажин только улыбнулся на приветствие.

— Что же все-таки за причина этому побоищу? — повторил он вопрос. — Можно подумать, что ты здесь борьбе или боксу обучаешься.

Ивопросего, и улыбка, видимо, не понравились Хлынову.

— А ты все ахаешь да удивляешься? — проговорил он язвительно. — Для тебя все сюрпризы да неожиданности? Эх, ты, арап ленинградский!..

Неизвестно, что, собственно, означало это странное определение. Было понятно только, что Хлынов раздражен и сердится. Сажин перешагнул кучу разваленных по полу книг и сел на диван, перекинув ногу за ногу.

— В чем дело, Матвей? — спокойно осведомился он. — Расскажи толком.

Несколько секунд Хлынов смотрел на Сажина сердито, словно именно это спокойствие и раздражало его.

— Старта нам еще не разрешили, — сказал он затем многозначительно: — сегодня в девять опять назначается совещание.

— Ну и что же? — еще беспечнее взглянул на него Сажин.

— То есть как это: «Ну и что же»? — неожиданно возмущился пилот. — Вместо старта нас собираются кормить совещаниями, а ты; «Ну и что же». Да понимаете ли вы, дорогой Федор Петрович, что говорите?..

Он стоял против Сажина, широко расставив ноги, точно мачта для высоковольтной передачи. Взъерошенные светлые вихры, как траверсы, топорщились на его голове.

— Да в чем дело? — пожал плечами Сажин. — Объясни мне, пожалуйста. Совсем ничего не понимаю. Разве старт дело не решенное?..

Хлынов молча и укоризненно покачал головой и сел рядом с Сажиным на диван.

— Эх, ты, младенец сорокалетний! Да в этом-то и все дело! До сегодняшнего дня все было решено. Сегодня же я получил телефонограмму, что назначается новая дискуссия. Сомневаются, видишь ли, сможем ли мы лететь зимой. Вот я и роюсь все утро: собираю материалы и протоколы совещаний, где сей вопрос двадцать раз уже проговаривался. Уж если по такому вопросу назначается новая дискуссия, так, значит, кто-то старается, чтобы старта нам не разрешили...

Принесенное с улицы чувство бодрости и восторга словно дымом подернулось в Сажине при этом известии. Точно стоял человек у кассы для получения крупного выигрыша и вдруг узнал, что напутал с номером, и что никакого выигрыша у него нет. Соглашаться поэтому с Хлыновым никак не хотелось.

— Ну, тебе, как щедринскому градоначальнику, — сказал он, — всюду злые намерения чудятся. Партийцу надо быть осторожнее в суждениях.

— Ну, а беспартийному интеллигенту тоже бы следовало за этот срок кое-чему научиться! — почти закричал Хлынов. — Я знаю, что говорю, и слов на ветер не бросаю. Человеческой сволочи на наш век еще хватит.

Он дернул себя за вихор, словно на нем вымещал раздражение, и откинулся на спинку дивана.

— У нас так еще нередко бывает — продолжал он после некоторой паузы: — люди работают, не спят ночей, вклады-

вают в дело всю свою кровь. Потом является этакий ферт, в очках и с улыбочками, и начинает толкаться под ногами. На все ему, кроме собственной особы, наплевать, но он ябедничает, клеветает, учит, всем хочет заправлять, Общественное дело он превращает в кость, за которую надо драться. У него, может быть, и ум, и таланты, но он все топит в завистничестве и мелких дрязгах. Ему бы только держаться на виду и сесть на чей-нибудь загорбок. И такую гадину ценят подчас, как путного работника... И такая гадина преуспевает иногда больше честного человека. Потому что настоящему советскому человеку некогда бывает ни угодить начальству, ни склочничать...

Сажин видел, как приплясывал мускул на хлыновской щеке. В голосе приятеля слышно было искреннее омерзение. Он даже охрип немного от возбуждения.

— Человеческая сволочь умирать не хочет, — говорил он. — Человеческая сволочь живуча. Она присасывается к революции, как клещ.

Хлынов похлопал Сажина по плечу и вздохнул.

— Эх, Федор, Федор! Нынче сволочь наружность имеет приятную, и с ней, если чай пить, так без сахару обойдешься. Она и кричать научилась, и тексты цитировать, и в ударники записалась, и мыслей держится самых благонамеренных. Кабы не запах, так ее бы, как клопа, и отыскать было незозможно...

Хлынов прищурил глаз и посмотрел на Сажина хитровато.

— Но мы его все-таки отыщем, — сказал он, грозя пальцем. Мы его пострижем...

— Слушай, Матвей, — перебил его Сажин. — К чему, собственно, все эти иносказания? Кого ты имеешь в виду?

— А ты не знаешь?

— Не знаю.

— Так-таки и не догадываешься?

— Так-таки и не догадываюсь.

Впрочем, Сажин в этом пункте кривил немножечко душой. Он уже догадывался, кого разумеет Хлынов,

— Все это шутки Моложаева. Работка тонкая: высший пилотаж. Вольтижировка самая классная. Помнишь историю с перкалем-то? Или фокус с кандидатами? Выбрать момент он умеет.

Сажин знал о давнишней неприязни Хлынова к Моложаеву, но не разделял ее. Моложаев был руководителем экспериментальной группы ЦС, принимал теснейшее участие в постройке ракетоплана и был кандидатом в полетную бригаду. Привычка к корректности не позволяла Сажину даже в мыслях относиться к людям плохо без достаточных оснований.

— Ну, это старая история, Матвей! — сказал он. — Я не раз тебе говорил и сейчас скажу, что к Моложаеву ты несправедлив. Спору нет, человек он, по-видимому, честолюбивый, настойчивый, и любит, чтобы все было по его. Но ведь от этого очень далеко до твоих выводов. Если он и причастен к тому, что старта еще не разрешили, так едва ли из личных соображений...

— Вот, вот, вот! — почти обрадовался чему-то Хлынов — Так о нем все думают. Вот вы и знаете гадину, видите ее, душу свою можете заложить, что это — гадина, а поймать ее никак не можете. На то она и гадина, чтобы скользкой быть! А как подумаешь, так она вроде и не гадина! Вот хотя бы этот Моложаев! Да это не человек, а кооперативный устав какой-то. И деловой-то он, и не глупый, и примерный. И лик-то у него иконописный. Такое, знаете, советское благородство так от него и пышет. Какой-нибудь богوماз такого бы для картинки современного Георгия Победоносца выбрал. А я его знаю. Гадину-то в нем я нюхом чувствую. Он усмехается, а у меня по спине мурашки бегают. Он хохочет, а меня подмывает в морду ему съездить. Он жрет, а меня тошнит... Тут уж, брат, никакой логикой не поможешь.

— Да тут никакой логики и нет, — возразил Сажин. — Чутье — вещь непрочная и сомнительная. Неприязнь ничего не доказывает. И хорошо, что ты никого ею не убедишь. К людям, Матвей, надо относиться осторожнее...

В этом месте Хлынов вдруг вскочил с дивана и расклялся перед Сажиным, точно провинциальный актер, изображающий маркиза.

— Помилуйте, Федор Петрович, — сказал он тоном преувеличенной вежливости.— Хоть и мужики, но мы это понимаем. Осторожность — вещь благородная. Скоро и мы с вами, пожалуй, заговорим языком нослов. Мол, примите, г-н Сажин, мои уверения в полнейшем к вам уважении и т.д. и т.п. Да только скажите мне, что с гадинами-то делать, когда они ни под какую статью закона не подходят?

Хлынов ходил в возбуждении по комнате из угла в угол. Он мешал «ты» и «вы», обращаясь к Сажину, и не замечал этого.

— Я уж и то думаю сходить к нему, продолжал он.— Приду, сяду вот так, напротив, и закурю. «Знаете, что,— скажу, — бросимте-ка, Борис Николаевич, водить слонов. Давайте лучше на чистую! Вам хочется воспользоваться плодами чужих рук. Вы хотите скушать орешки, которые кто-то выхватил из огня. Вам лень возиться пять лет с постройкой аппарата. Вы собираетесь лететь вместо нас? Чорт с вами — летите! Только не пакостите понапрасну, не вредите, не суйте свою дипломатию между спицами нашей машины. Вам хочется зреть под советским солнышком, как редиске. Зрейте же, чорт бы вас побрал!»

Говоря это, Хлынов брал стул, садился на него верхом и закуривал. Он разыгрывал перед Сажиным всю воображаемую им сцену. Он презрительно морщился, глядя на приятеля, словно перед ним в самом деле сидел Моложаев.

— Впрочем, чорта с два! — вновь вскакивая, воскликнул он. — Революции не все равно, кто на нее работает. Гадина работает на революцию, пока ей выгодно. Гадине нельзя уступать такого дела. Я ему скажу так...

Однако, то, что хотел он сказать своему воображаемому противнику, так и осталось неизвестным. Дверь комнаты в эту минуту приоткрылась, и в образовавшуюся расщелину протиснулось чье-то дородное тулово.

Это была Настя — хлыновская домработница. Лицо ее отображало испуг и какую-то торжественную таинственность.

— Матвей Васильевич, а Матвей Васильевич! — почему-то шепотом позвала она. — Нина Николаевна вас кличут. Идите-ка скорее.

Прерванный на полуслове, Хлынов с досадой повернулся на зов. Впрочем, по-видимому, в шепоте работницы он тотчас же узнал нечто для него важное. Неостывшее волнение спора сменилось на его лице миной озабоченности. В воинственной его фигуре появилась растерянность, какая бывает у людей, вынужденных внезапно менять весь ход своих мыслей.

— Ты подожди меня, Федор! — зачем-то сказал он, точно Сажин мог без этого предупреждения уйти. — Я сейчас.

Инженер бродил по комнате из угла в угол, уничтожая папиросу за папиросой. Он постоял зачем-то около бюста Данте, приотившегося на письменном столе, и поковырял ногтем гладкий его подбородок. Затем с преувеличенным интересом он принялся рассматривать висящий над диваном гобелен. Акварельной яркости лица пастушек улыбались ему со стены мертвыми улыбками. Крохотные ножки вылетали из-под пестрых юбок. И странна была неподвижность всех этих тел, так искусно изображающих бешеную пляску.

В соседней комнате слышался тихий говор. Слабый голос Нины Николаевны почти не выделялся из ровного рокотанья Хлынова. Сажин поймал себя на том, что прислушивается к разговору, и смутился. Он отошел к окну и облокотился на подоконник. Дым от его папиросы стлался по поверхности стекла. Перед глазами возникала серая туманная пленка. Такая же серая пленка, казалось Сажину, покрывала сейчас и его мозги. Думать ни о чем не хотелось, и он был рад, услышав шаги возвращавшегося хозяина.

Не входя в комнату, Хлынов остановился в дверях, опершись руками в косяки. Вид у него был нелепый: одновременно и радостный и сконфуженный.

— Ты, Федор, того... знаешь... извини меня! — говорил Хлынов. — Поезжай, пожалуйста! Кстати, и к Марку загляни. Тут у меня того... история, знаешь, случилась...

Хлынов помялся и пожевал губами, точно дальнейшие слова никак не хотели идти из горла.

— Тут у меня, кажется, жена родить собралась, — выдохнул он, наконец: — так отвезти ее надо.

III

Нужно было очень хорошо знать двух этих людей, чтобы стала понятна их дружба. Пять лет совместной работы притерли их друг к другу, как части одной машины. И уже давно установились между ними простые короткие отношения.

Бывало так:

Во времена подготовки проекта, а потом уже по привычке и после, Сажин часто приходил к Хлынову на дом работать. И случалось, что он заставал его спящим. Раскинувшись по дивану, уткнувшись лицом в небрежно брошенную подушку, Хлынов храпел, потрясая комнату рыком, сопеньем и присвистами. Шалый вихор, точно штопор, торчал из его затылка. Длинные ноги протягивались далеко за пределы дивана. Из продранных носков выглядывали голые пятки. По разбросанным повсюду чертежам и инструментам, по раскрытым справочникам и пролитой туши видно было, что Хлынов работал всю ночь и завалился спать, не раздеваясь.

Стараясь по возможности не шуметь, Сажин пристраивался к столу и начинал работу. Здесь, среди пестрого беспорядка хлыновской комнаты, он чувствовал себя уютнее, чем в собственной квартире. Тогда же начинался разлад его с женой, и он старался поменьше бывать дома. Ему приятно было соседство простых людей, с которыми не нужно было ни хитрить, ни разговаривать, как с женой, о чувствах. Он с удовольствием слушал могучий храп Хлынова и доносившийся из-за стенки мягкий голос Нины Николаевны. Под аккомпанемент этих звуков легче думалось и работалось. Лучшие мысли проекта пришли к Сажину именно здесь.

Грохотом неловко отодвинутого стула или падением чертежной доски случилось ему будить Хлынова. Пилот, просыпаясь, повертывался на бок. Открывалось красное заспанное его лицо. Ворот его гимнастерки был широко распахнут. Хлынов скреб рукой грудь и смотрел на приятеля неосмысленно. Большому его телу было, видимо, трудно выбраться из сонного омута. Кряхтя и вздыхая, он приподнимался на минуту на локте.

— Ага. Пришел, значит! — говорил он хрипловатым со сна голосом. — Ну, ну! Работай! Мне еще с тобой полагаться надо. Вот выплусь только. Эй, Нинка! Ты дай тут Федору пожрать, да чаем его напои!..

И Хлынов бесцеремонно повертывался к гостю спиной. Голова его только еще прикасалась к подушке, а нос уже начинал выделять фиоритуры, словно пилот не в сон пустился, а в пляс.

Хлынов вообще был прост и бесцеремонен в обращении. Еще при первой встрече он поразил Сажина своеобычием.

Лет пять назад Сажин делал в авиационном обществе доклад о ракетных аппаратах. Он представлял на рассмотрение Бюро воздушной техники проект ракеты, которая, по его мнению, уже при современных технических возможностях, могла совершать полет в межпланетное пространство. Он видел на лицах слушателей тот самый отвлеченный интерес, одобренный солидной дозой сомнения, какой возникает при чтении фантастических романов. Практически его проект воспринят не был. Выслушивая после доклада вежливые любезности и комплименты, Сажин с грустью думал о косности мысли и узком практицизме коллег. Вот здесь-то и появился перед ним светловолосый верзила, в костюме летчика, дружески протягивавший руку.

— Они же вас за дурака почитают,— говорил верзила во всеуслышание, кивая в сторону кучки инженеров. — Вон Кушнарев, Семен Андреевич, говорит, что вам и профессию менять надо: в кино поступать советуют или в пивную рассказчиком...

Кушнарев только что подходил к Сажину с изъяснением удовольствия от «высоконаучного прожекта», и теперь, услышав разоблачителя, поспешил юркнуть в дверь.

— Вон и Филин тоже,— продолжал верзила,— вон тот самый, что руку вам сейчас жал. Этот вас на Канатчикову дачу послать рекомендует. Только вы на него плюньте. У него самого гардероб-то пустой, так он думки-то с чужого плеча носит.

Верзила жал Сажину руку.

— Моя фамилия — Хлынов. Будем знакомы. Меня, знаете, докладец ваш за живое задел. Да вы и сами-то, кажется, человек стоящий. Ракетка ваша — дело важнейшее. Только, знаете, что я вам скажу?... Вы, как все звездочеты: на небе-то умник, а на земле... иной раз не очень... По-моему, дом-то вы с крыши строить собираетесь...

Вместо вежливого жала во рту этого грубоватого летчика был настоящий человеческий язык. Все в нем, от русских вихров до раскатистого голоса, было не похоже на привычных для инженера людей с учтивой злобой и причесанными мыслями. Спустя пять минут новые знакомцы шли по улице и разговаривали так, словно вечно знали друг друга.

— Мы не так-то пока богаты — внушал Хлынов, — чтобы убивать сейчас столько средств на рискованный и пока практически бесполезный опыт. Ваш зонд-ракета сожрет целый чемодан валюты и утонет в пустоте. Давайте-ка лучше действовать постепенно: сначала произведем высокую разведку, а затем уже подумаем и о ракете. Сначала научимся летать выше всех и скорее, чтобы никто к нам не совался и не мешал, а потом уже будем зондировать вселенную.

С этого вечера, собственно, и началась история всего дела.

Как обнаружилось, Хлынов был в курсе всех проблем ракетной техники. Он, видимо, охотно читал работы поборников звездоплавания и не чурался ни одной смелой мысли. Однако, технические мечтания занимали его не только сами по себе: Хлынов всегда думал о практической их осуще-

ствимости. При первой же встрече Сажин и испытал на себе всю силу умной его трезвости.

Хлынов окончил Военно-воздушную академию и имел звание инженера-пилота. Краснознаменец и участник гражданской войны в прошлом, он был теперь командиром крупной воздушной части. Кроме того, он вел большую работу в Авиационном обществе и был известен как спортсмен, поставивший несколько высотных рекордов на самолетах и хорошо знакомый с техникой полета на неуправляемых аэростатах. Проект, с которым он ознакомил Сажина, отражал и разносторонность интересов пилота, и свежесть его авиационных замыслов.

Вот каково было его предложение:

Особой конструкции ракетоплан, снабженный воздушным ракетным двигателем и герметической кабиной для трех пассажиров, прицепляется вместо gondoly к оболочке стратостата, и поднимается на высоту до тридцати километров. Во время подъема и пребывания на «потолке» система ведет себя как обыкновенный стратостат, а пассажиры продолжают положенные наблюдения. Достигнув предела высоты, ракетоплан отделяется от оболочки, и крутым планирующим спуском набирает скорость, потребную для того, чтобы начал работать воздушный ракетный мотор. Затем ракетоплан снова достигает высоты до сорока километров и совершает первый стратосферный пробег.

Благодаря тому, что ракетоплан начинал свой полет уже в стратосфере, Хлынов надеялся с небольшим запасом горючего и сравнительно маломощным двигателем покрыть расстояние свыше пяти тысяч километров со средней скоростью в две с половиной тысячи километров в час. Как специалист, Сажин, конечно, не мог не оценить оригинальности хлыновской мысли. Проект перекидывал мост от сегодняшней практики к технике будущего. Простоватый по виду пилот после краткой дискуссии неожиданно превращался в остроумного изобретателя.

Сажин был склонен к занятиям чисто умозрительным. Даже техника в какой-то мере была для него лишь сред-

ством удовлетворения фантазии. Он предпочитал тихую работу проектировщика, а с цифрами и бумагой оперировал куда легче, чем с людьми. Ему ничего не стоило просидеть несколько ночей над самыми сложными расчетами, но даже трехминутный разговор с каким-нибудь грозным индустрийным начальством вгонял его в дрожь. В Хлынове он почуял человека, который хорошо знает дорогу в жизни. Теоретическим домыслам Сажина о ракетных моторах в этом предприятии выдавался случай проникнуть в авиационную практику. И он согласился на предложение с радостью и восторгом.

Новые приятели совместно разработали предварительный доклад и представили его в Бюро воздушной техники. Как и следовало ожидать, проект был встречен атакой. Хлынов, к счастью, обнаружил таланты полемиста, и постепенно доказал свою правоту. Подъем ракетоплана вместо гондолы был вполне возможен, потому что избавлял от необходимости брать посадочный балласт, да и, кроме того, даже в случае катастрофы с оболочкой, это давало возможность безопасного спуска. Воздушный ракетный мотор имел высокий коэффициент полезного действия и позволял забросить аппарат на высоту, недоступную ни стратостатам, ни стратопланам. Кроме того, воздушный мотор не слишком утяжелял конструкцию, потому что с ним не нужно было брать жидкого окислителя. Неудобство состояло в том, что этот мотор начинал работать только при известной скорости полета, но это достигалось крутым планированием с «потолка». Пробовали возражать, что стратостат очень несовершенное и неэкономное средство подъема ракетоплана в стратосферу, но Хлынов указал, что при современном состоянии техники это пока единственный способ, в будущем же ракетоплан можно будет забрасывать в стратосферу более совершенными средствами. Он пошутил, что ракетопланы в некотором отношении подобны большим морским пароходам, которые должны начинать плавание не из гавани, а с рейда.

Так или иначе, проект, в конце концов, был принят. Была создана бригада по постройке ракетоплана, куда кроме Хлынова и Сажина вошли многочисленные представители разных профессий: физики, аэрологи, инженеры и рабочие тех предприятий, где предполагалась постройка аппарата. Рабочая копейка, составленная из добровольных пожертвований и отчислений, пришла в движение, и дело вступило в фазу осуществления.

Хлынову и Сажину была поручена окончательная разработка проекта. И роли этих людей сразу определились соответственно их склонностям.

Увлечение техническими возможностями и цифровой игрой заводило иногда Сажина в область индустриальной фантастики, и Хлынов безжалостно возвращал его к действительности. Он не ценил мыслей без отношения к делу. Быть может, он не без уважения смотрел на людей, способных убить жизнь на разрешение отвлеченных вопросов, но сам чувствовал себя хорошо только в атмосфере конкретных забот и делового неистовства. Его ясный ум легко обходил те заманчивые ловушки, в которые Сажин попадался из-за пристрастия к сложности или из-за увлечения изысканностью формы.

Сажин засыпал Хлынова кучей эскизов, вариантов и приближенных вычислений. Хлынов спокойно отбирал одни и отвергал другие. В конце концов, Сажин признал, что ему, по сравнению с пилотом, не хватает умения сочетать свои планы с жизнью. Он оставил за собой область технических гипотез, отдав Хлынову без боя инициативу практического руководства.

Хлынов бегал по учреждениям, увещевал, ругался, подталкивал людей и вымогал материалы. Случалось, что между приятелями возникали и споры, но пилот отвлеченным разногласиям предпочитал точные исследования. Временами он не выходил с утра до ночи из лаборатории, производя испытание моделей и заставляя Сажина по нескольку раз переделывать предварительные расчеты. Замысел сгущался в его руках до плотности реальной вещи.

Этот человек, точно ветер, все приводил в движение вокруг себя.

Сажин восхищался великим жизненным изобилием Хлынова, его цельностью. Он чувствовал в летчике щедрое плодородие неиспорченной крови. Хлынов жил в мире, как завоеватель, изумленный разнообразием своей добычи. Ему хотелось обладать всем.

В нем была та неутолимая ничем жадность, которая, по Платону, есть самый истинный признак детства. О Платоне, быть может, Хлынов и не поминал, но когда ему предлагалось избрать из двух соблазнительных вещей одну, он думал некоторое время и... брал обе.

Иногда Сажин так и говорил ему:

— Хлынов, вы пахнете пеленками. В вас слишком много крови. Она беспокоит вас.

Он ценил в приятеле нормального ребенка. Известные слова Маркса о древних греках казались ему еще более применимыми к той новой породе людей, воспитанных революцией, к которым принадлежал Хлынов. Он с грустью думал, что собственное его детство, проведенное в интеллигентской семье, не снабдило его нужной волей к жизни.

Впрочем, если бы Сажин как следует покопался в себе, он нашел бы в своих отношениях к Хлынову такую неуловимую пыльцу, которая видна только в проходящем свете. В его восхищении хлыновским реализмом было что-то от снисходительного превосходства. Себя он, по-видимому, считал все-таки часовщиком, пользующимся лупой, Хлынова же — простым слесарем, имеющим дело с драчевой пилой и зубилом.

Не так-то уж просты были и приятельские чувства Хлынова. Волей-неволей Хлынову с самого начала пришлось занять позицию покровителя. Он, точно босоногий мальчишка, невозбранно путешествующий по лужам, испытывал жалость к своему городскому собрату, не знающему, как перейти улицу, не запачкав белых башмаков.

Кроме того, Хлынов, по-видимому, догадывался о тайной снисходительности Сажина. Каким-то «десятым чув-

ством» он чуял в инженере не выветрившийся душок барства. И ему доставляло иногда удовольствие разыгрывать роль простака.

— Что такое «трансцендентальный»? — спрашивал он, например, ни с того, ни с сего, во время совместной работы.

Сажин простодушно начинал объяснять. Он искренне хотел передать смысл понятия и потому старался говорить проще и грубее. Выходило, что он объяснялся с Хлыновым как мужик с иностранцем, на ломаном языке, думая, что так будет понятнее. И конечно, объяснение было путанно и бес толково.

Хлынов внимательно слушал и морщил лоб. Становилось ясным, что он ничего не понял или понял превратно, Сажин начинал пояснение сначала, и так до тех пор, пока хватало терпения.

— Да ну тебя к чорту, Матвей! — говорил он, наконец, сердясь. — Тебе бы месткомовские протоколы писать!

— Ну, положим, ты сам виноват! — кротко возражал Хлынов. — Из твоих объяснений никто ни дьявола не поймет. А вот в радловском словаре все очень просто объясняется...

И Хлынов, к великому смущению Сажина, в десятке слов передавал существо дела. Он рад был недоумению приятеля и, конечно, не открывал ему, что и сам думал над теми же вопросами, которыми как будто пренебрегал сейчас.

Таким образом, в Хлынове рядом с прямоотой уживалось и некое добродушное лукавство. Он разговаривал иногда с людьми с той полунасмешливой скромностью, в которой обнаруживается прочное самоуважение.

Склонность к командованию была у Хлынова даже немножко преувеличенной. Пилот монопольно представлял бригаду в партийных органах, делал доклады в ЦС, давал интервью журналистам и популяризировал полет в рабочих массах. На совещаниях он неизменно председательствовал, управлял ходом прений, точно учебной бомбежкой. Нужно было слышать, как он произносил:

— Я вам слова, товарищ, не давал!

Или:

— Завтра вы, товарищ Грудский, поедете с утра в ЦИВТ. И пусть они там из нас дураков не строят! Без результата не являйтесь. Чтобы все было готово и провернито!

Он стучал пальцем по столу, и никому не казалось это странным. Командные его замашки смягчались ровной для всех, одинаковой простотой обращения. Было в его манерах что-то подкупающее, что заставляло одних с улыбкой, а других всерьез легко ему подчиняться,

Так же он поступал и с Сажиним.

В разгаре какой-нибудь проектировочной работы, когда Сажин сидел у пилота, погруженный в выкладки и расчеты, Хлынов врвался в комнату, точно прорвав заграждения, разом заполняя ее шумом и движениями большого своего тела.

— А ну-ка, что ты тут изобразил? — говорил он, подсаживаясь к столу и отесняя Сажина. — Ну, так и знал! Опять ты, мой дорогой, все туда же гнешь. Для чего мы с тобой вчера целый час спорили?

Он сгребал широкой своей дланью чертежи и бумаги приятеля и начинал все перекраивать по-своему. Частенько между проектировщиками поднимался такой крик, что даже Нина Николаевна считала нужным просунуть в дверь голову и покачать ею с шутливой укоризной. В конце концов, Хлынов решал вопрос диктаторским вето.

— Брысь, Федор! — заключал он, — Через неделю проверим, кто прав, кто нет! Садись-ка, давай, за расчет сопла! А тут я сам!

Не зная, что противопоставить этой приятельской бесцеремонности, Сажин только приподнимал плечи. Он уступал пилоту сначала из вежливости, потом — из возмущения, а затем уж и по привычке.

Он должен был признаться, что в большинстве случаев Хлынов оказывался правым. Кроме знаний, у пилота было еще чутье. Поняв, что его воле можно подчиняться без вся-

кого ущерба, инженер вполне успокоился, хоть изредка и ощущал уколы самолюбия.

Впрочем, бывали минуты забавного торжества, когда Сажин чувствовал себя победителем.

С некоторых пор в квартире Хлынова по вечерам устраивались чаепития прямых участников дела. Кроме Сажина, часто бывал молодой физик Оболянов (третий участник полета, которого между собой звали просто Марком). Приходили иногда профессор Волженцев или его дочь Анна, приятельница Марка. Невылазно торчал доктор Решетов, тренировавший в то время стратонавтов в барокамере физиологического института.

Вокруг обеденного стола, в вольных позах, сидели уставшие за день люди. В центре царствовала Нина Николаевна. Она обращалась с гостями мужа с той самой неприужденностью, какую терпят только близкие друзья. Марку, не любившему чая внакладку, она приказывала колоть сахар. Решетов бесцеремонно изгонялся в коридор, как только он вытаскивал трубку и кисет со своим ядовитым зельем. В комнате Нины Николаевны, не то, что у Хлынова, было уютно, тепло, и гости чувствовали себя превосходно.

Между Сажиным и Марком нередко возникали весьма путаные споры. Кроме аспирантуры в физико-техническом институте, Марк нес еще должность преподавателя диамата и писал какую-то работу о Гегеле. Сажин с молодости увлекался философией, как иные увлекаются спортом или танцами. Это были спорщики язвительные и злоречивые, хотя внешне пор и велся в выражениях, вполне вежливых.

Мелькали термины, имена и условные понятия. Спорщики говорили на том общепринятом философском жаргоне, который всякую мысль превращает в таинственное заклинание

Вот тут-то и тускнел Хлынов, постепенно упуская из своих рук управление беседой.

Он тихо увядал, сидя за столом, сморщивался, как шагреновая кожа, и, казалось, даже места начинал занимать меньше. Минуту спустя он уже откровенно скучал, а потом

и просто исчезал: или уходил спать или уводил Решетова для деловых разговоров.

Сажин в таких случаях нарочно стремился задержать Хлынова и втихомолку наслаждался его стыдливой скукой.

Впрочем, инженера и здесь постигло разочарование. Он полагал, что душевный мир пилота исчерпывается областью здравого смысла. Обманутый внешней непритязательностью, Сажин, как и многие, принимал хлыновскую простоту за простоватость.

Однажды ему подвернулась под руку книга с пометкам Хлынова. Это была «Грамматика науки» Карла Пирсона, изысканный жаргон которой хорошо оттенял энергичные выражения пилота. Против главы «Научный закон» стояло: «почтенный муж повторяет зады махизма», а немножко дальше — «обворовал дядя Юма-то, и доволен!» Вместо названия разделов, где говорилось о причине, пространстве и времени, была озорная надпись: «Чай а ля Кант внакладку с Авенарнусом». Выходило, что Хлынов по умственной части вовсе уж не был таким невинным человеком, как казалось. И непонятно, почему избегал он тех жарких дебатов, которые случались между Сажиным и Марком?!

Вызванный как-то на соответствующий разговор, пилот ответил кратко:

— Если бы ты, Федор, марксистом был, так наверно тоже бы бирюльками не забавлялся. Для тебя думать-то, как в чепуху играть: чем путаней, тем занятней. Ну, а мы, большевики, делом заняты, воду в ступе толочь нам некогда и скучно. Люди и так на досуге целые века мир объясняли, тогда как его переделать надо!

Хлынову нельзя было отказать в цельности. Мозг его, как нормальный желудок, мог, конечно, справляться и с деликатесами, но вообще предпочитал простую здоровую пищу. Он скучал в пустотах отвлеченного спора, но зато с наслаждением вгрызался в реальное дело. У него был нюх на все, что касалось практических отношений. И уж если он выражал какое-либо беспокойство, так, стало быть, к тому была веская причина.

По дороге от Хлынова к Марку Сажин и обдумывал высказанные пилотом опасения насчет старта. Хотя подозрения и казались ему в достаточной степени произвольными, но он не мог уже отогнать растущей тревоги. Утреннее чувство бодрости померкло в нем, и улицы не производили уже того впечатления, что раньше. Так и не придя ни к какому выводу, он рад был, добравшись, наконец, до Марка, поговорить о чем-нибудь другом.

IV

Марк был дома.

От большого рабочего стола навстречу Сажину поднялся невысокий и, видимо, не очень плотно сбитый человек. Человек был одет в спортивную замшевую куртку и, чуть горбясь, глубоко засовывал руки в карманы. Лицо его еще отличалось юношеской округленностью линий, отсутствием жестких углов. По подбородку стлался мягкий и, казалось, еще не знавший бритвы пушок. Только глаза были взрослыми на этой мальчишеской физиономии. Какая-то ненамеренная серьезность, почти сердитость, сквозила во взгляде.

Вот этот контраст между юношеской мягкостью лица и осторожными думающими глазами и замечался в Марке прежде всего. Вероятно, поэтому он и казался старше своих лет. Плечи его сутулились, шаг был тяжел. Он покашливал и покрывал, прежде чем начать разговор, и неизвестно, отчего это происходило — не то от сознания своего достоинства, не то от смущения.

— Проходите, Федор Петрович! — сказал он, наконец. — А я, было, думал, что это мой старик: он обещал приехать сегодня. Раздевайтесь, пожалуйста!

Марк с неуклюжим радушием протягивал посетителю руку и неловко улыбался. По-видимому, он был достаточно рассеян, потому что совсем не замечал появлявшейся на лице гостя гримасы. Сажин все еще стоял у дверей и, молча озирая жилище Марка, неодобрительно покачивал головой.

Он много раз бывал в этой комнате, но до сих пор еще не отделался от ощущения ее непристойной оголенности. Она, точно земля в первый день творения, была намеренно и безнадежно пустой. Вся ее меблировка состояла из трех вещей.

Посредине, против окна, стоял диковинной конструкции стол. Это чудовище походило на ряд поставленных друг на дружку гробов. Изобретенное самим Марком, оно должно было, по мысли конструктора, быть удобным, как усовершенствованная сцена. Середина стола вращалась, боковые части сдвигались, приподнимались, опускались, словом, разделявали любые эволюции. По количеству отделений стол мог бы соперничать с петровским Мосторгом. Его можно было превратить во что угодно: в шкаф, в диван, в двуспальное ложе, даже в своеобразное морское судно, на случай внезапного наводнения. И только свои естественные, от века положенные столам обязанности, он выполнял с трудом и неохотой.

Кроме стола, в комнате помещалась пара, столь же чудесного устройства, кресел. Все несложное имущество хозяина — постель, белье, книги — было скрыто в недрах мебели. В потоках света, который лился через широкие окна, среди блистающей желтой паркетной пустыни, мебель и хозяин смахивали на караван дальнего назначения, обреченный на одиночество и лишения. На Сажина пустота действовала угнетающе, и он по привычке не удержался от изъяснения неудовольствия.

— Вы хоть бы, батенька, обыкновенную вешалку человеческую завели, — говорил он, снимая пальто, — а то разыскивай вот потайные ваши шкафы. Да я-то хоть человек привычный: знаю что, где. Ну, а если к вам кто-нибудь посвежее забредет? Да вас бить, мой милый, будут!..

Говоря так, Сажин открыл дверцу скрывавшейся в стене ниши и повесил туда пальто. Потирая руки, он двинулся затем в глубь комнаты. На прямоугольное подобие кресла, где предстояло сесть, он глянул с отвращением. Здесь, как

на дыбе, можно было поместиться, только выгнувшись и выпятив грудь.

Марк встретил взгляд гостя усмешкой.

— Злопамятный вы человек, Федор Петрович! — сказал он. — Никак мне грехов молодости простить не можете. А я вот привык уже. Да, и право, все это на самом деле удобно. И мусор всякий на виду не валяется, и без кровати обходиться можно. Это уж вы так, по нетерпимости ворчите. Ну-ка, рассказывайте, как у вас там?..

Сажин сел и коротко сообщил о положении дела. Собственные тревоги он оставил при себе, да и про хлыновские подозрения рассказал в успокоительном тоне.

— Матвей, как всегда, увлекается, — закончил он. — Но, надо быть, к вечеру он успокоится. На совещании, наверно, все выяснится. Полет, я думаю, разрешат завтра или послезавтра.

Марк выслушал все внимательно.

— Ох, уж этот Мотя! — не то с огорчением, не то с восторгом вздохнул он. — Шуму от него, как от гусеничного трактора. Впрочем, по-моему, его надо извинить. Нас ведь с вами вся эта административная канитель почти не касается, Мотя же везет за всех. Просто он устал, нервничает...

И Марк улыбнулся теплой улыбкой, сразу осветившей сумрачное его лицо. Похоже было, что он представил себе сейчас возбужденную фигуру пилота и не мог скрыть удовольствия. Сажин давно уже отметил в отношении Марка к Хлынову привкус некоей стыдливой влюбленности. В том, что он называл его сейчас «Мотей», проглядывала знакомая благожелательно-ироническая нежность.

— Что же касается этого Моложаева, — продолжал Марк, подумав, — так у Моти здесь заскок давнишний. Признаться, и я не очень люблю таких-то: слишком уж умытых. Разве человека узнаешь, когда он постоянно на все пуговицы застегнут? Впрочем, ну его к чорту!..

Марк, как и Сажин, видимо, не хотел задерживаться на этой неаппетитной теме.

— Ну, как вы там вообще живете-можете? Как с вашим планетным опусом? Когда же, наконец, будет смыто «пятно с совести человечества»?

Сажин все эти годы попутно разрабатывал проект отправления в мировое пространство ракеты, но, отвлекаемый более близкими заботами, никак не мог его кончить. Как-то в докладе он сказал, что власть тяготения — это пятно на совести человечества. С тех пор между приятелями установилась традиция по этому поводу подшучивать.

— Вы мне зубы не заговаривайте! — парировал нападение Сажин. — Опус мой в том же положении, но сегодня не о нем речь. Сегодня я пришел о ваших грехах поговорить...

Инженер многозначительно посмотрел на Марка и взялся за свой портфель. В голосе его зазвучали веселые угрожающие нотки. Он вытащил из портфеля объемистый сверток и бросил перед собой на стол.

— Вот! — с важностью произнес он, указуя перстом на сверток. — Прочел. Оценил. Собираюсь разнос учинить.

На столе лежала солидных размеров рукопись, аккуратно перепечатанная на машинке.

— Ну-с. Что же вы теперь скажете, уважаемый философ? — торжественно спросил он. — Теперь вся ваша подноготная передо мной.

И дальше между ним и Марком развернулся следующий диалог:

— А ведь, знаете что, Марк? По совести сказать, я был удивлен, читая вашу работу. Я давно уже не встречал среди людей вашего склада таких спекулятивных наклонностей. У вас есть настоящий умственный вкус!..

— Нечего сказать — лестный приступ! Извольте-ка радоваться, когда люди изумляются, что ты не круглый идиот, и способен счесть на своих руках пальцы! Не важного вы мнения о нашем брате!

— Цыц, не забегайте вперед, мой милый! Я только жалею, что среди ваших комсомольских сверстников немного людей с добрым умственным аппетитом. Ныне ведь редко кто понимает, что бывают вкусные мысли. Практика возве-

дена у нас в божественное звание. Сила времени обращена на вещи. Творчество идей почитается делом нерентабельным.

— Плохо же вы знаете моих сверстников! — возразил Марк. — Да где же вы встречали людей более жадных до умственной пищи? Просто вы видите нас, дорогой Федор Петрович, через кривые очки. Правда, среди нас нет уже тех томных юношей, убитых мировой скорбью или коченеющих над важным вопросом о Троиединстве Божества, какие встречались в ваше время. Но зато у нас немало хороших инженеров, ученых, изобретателей, публицистов, которым, конечно, есть куда потратить свой ум. Мы не поклонники пустого столоверчения, и привыкли побеждать не заклинаниями, а честной работой. Мы не отделяем мышления от жизни и теория для нас не предмет праздного раздумья, а руководство к борьбе и деятельности. Что вы понимаете под «творчеством идей»? Игру в дурачки? Раскладывание философского пасьянса?

— Если хотите — игру. Да, именно игру! Чтобы рожать что-нибудь значительное, надо думать с азартом, как играют в карты или в рулетку. У нас недостаточно понимают пользу умственных увлечений.

— Нет, у нас просто знают, что с серьезными вещами не следует шутить. Кому же придет в голову устраивать пожары для праздничных иллюминаций? Идеи — тот же огонь, и их следует употреблять только для полезной работы.

— Вот, вот, вот! Культ реальности! Апология дела! Пренебрежение к игре в мысли! Мой милый Марк, да вот в этом самом и заключается опасность! Ведь в атмосфере таких убеждений может вырасти поколение бескрылых людей, очень мало способных на подлинное творчество.

— Вот уж никак не пойму, откуда это следует? Помоему, ничто так поднимает творческие силы людей, как задачи, выдвигаемые жизнью. Идея яровизации, скажем, не случайно возникла именно в нашей науке. Она отражает и смелую практику социалистического земледелия, и торжество нашего метода мыслить. Реальные цели, написанные

на знамени шей революции, породили умственный гений Ленина и Сталина. Величию нашего дела отвечает и сила наших идей.

— Вы никак не хотите понять, Марк, что в излишнем реализме есть свои опасности. Скажите мне, какими практическими соображениями руководился, например, Джордано Бруно, идя на смерть? По-видимому, бывают времена, когда для осуществления очень практических задач необходимы безумие и одержимость мыслью. Эти люди верили или в Правду, или в торжество теории. Нужно было быть таким умным дураком, как Чацкий, чтобы заводить споры с Фамусовым. По-видимому, ум для того, чтобы проявиться, нуждается в некоторой примеси чудачества. Вы же хотите быть сплошными умниками, и даже во сне высчитываете центнеры и га.

— Стойте, стойте, Федор Петрович! Вы что-то здесь путаете! Да разве лучшие наши люди не вдохновлены мечтой о мире, более разумном и справедливом, чем тот мир, в котором мы жили до сих пор? Да вспомните-ка, сколько великого умственного горения, самоотвержения и доблести проявили на своем пути большевики всех возрастов и положений! Мы не Иваны, не помнящие родства, и среди наших предков находятся славные имена французских утопистов и классиков философии. Но мы никогда не хотели мечтать впустую, а потому-то и считались не только с собственными желаниями, но и с упрямством фактов.

— В этом все дело! Человек, поклоняющийся факту и цели, перестает чувствовать повелительность мысли. Он уже не пойдет ради мысли на костер, как Бруно, не пожертвует жизнью ради большой веры.

— Ну уж вы, кажется, совсем здесь зарапортовались! Социализм означает также и право на мечту, и право на знание, и право на творчество. И разве в повседневной практике нашего строительства мало примеров талантливости, выдумки, мужества?

— Да, но это — режим лучших! Средний человек живет более посредственной пищей. Социализм для него только

возможность благоденствия, а работа лишь средство к повышению или награде. Вот этих средних-то людей и опасно воспитывать в пренебрежении к умственным увлечениям.

Мой милый Марк! Я вижу такого молодого советского «янки». В нем не воспитали вкуса к раздумью, и потому он довольствуется любым мнением, лишь бы оно не мешало его успехам. Он искренне убежден, что обладает последней истиной в образе учебника политграмоты, и потому спокойно плюет на все искания. Ни один гнусный факт не вызывает его протеста, потому что он твердо знает: против рожна не попрешь. В сущности, ему не за что бороться, кроме собственного благополучия, и он нагуливает на советских харчах счастливый жирок. И не воспользуется ли этот упитанный гомункулос всем тем, что заработано для революции горбом самоотверженных людей?

— Этот гомункулос никак не типичен для нашей эпохи, — улыбнулся Марк. — К счастью, социализм означает также и хорошую общественную дезинфекцию. Бактерии тупости, хитрости или эгоизма едва ли могут жить долго в воздухе нашей страны. Уж мы позаботимся чем-нибудь их опрыснуть.

— Да, но что бы там ни говорили, вкус к философии и потребность в таком умственном чудачестве нужно прививать нашей молодежи профилактически, как прививают оспу или брюшной тиф...

Марк поморщился.

— Я начинаю вас понимать, — сказал он. — При всей вашей серьезности, вы защищаете, в сущности, самое легкомысленное отношение к идеям. От легких интрижек с философией никогда еще не родилась ни одна путная мысль. Должен вас разочаровать... Путь к социализму лежит не через бульвары. Большевики никогда не согласятся, чтобы общественная идеология превратилась в предмет легковесного флирта. Да и сами вы подумайте. Ну, кто же может нам гарантировать, что за невинной умственной гимнастикой, которую вы рекомендуете, не будет скрываться наш с вами враг?

— Наша сила, Марк! — ответил Сажин. — Наша победа. Когда-нибудь, я уверен в этом, бесчисленные «измы» от философии будут так же легко уживаться друг с другом, как уживаются сейчас разные способы кладки бетона. Будущие физкультурники станут употреблять, как гигиенические средства, не только систему Мюллера, но и систему Канта, Гегеля, Маркса. Умение понимать чужие мысли будет признаком годности к общежитию. И тогда-то, вот, философия станет культурным режимом, столь же полезным и приятным, как игра в теннис или волейбол...

— Однако ж, — сказал Марк, смеясь, — вы нарисовали очень аппетитную картину! Какая идиллия! Философские овцы и волки пасутся на одном пастбище и обмениваются комплиментами. И как бы дьявольски скучно стало в этом мире, любезнейший Федор Петрович! Все кошки стали бы серыми и все мнения непоколебимыми. И какая же у вас, однако, путаница в голове. Да ведь только «практикой и проверяет человек истину своего мышления». Только те идеи и заслуживают существования, которые выдерживают испытание войной. Случись по-вашему, так ни в чем бы и разобраться было невозможно. Истины большевизма, например, господствуют по праву сильных. Они оказались победителями более чем в полувековой войне. Было время, когда буржуазные экономисты «разделялись» с Марксом на одной странице. В семнадцатом году с ним уже не могли справиться ни пушки, ни целые армии. Людям, имеющим хоть какую-нибудь общественную цель, нельзя не стремиться к единству своих воззрений. Только рента или умственная лень освобождают от необходимости иметь определенную точку зрения. Я бы не стал с вами и разговаривать, если бы верил, что вы так думаете на самом деле...

Так начинался один из привычных между Марком и Сажиным разговоров, которые возмущали Хлынова своей неодолимой отвлеченностью.

Спорщики увлекались.

Марк вскочил и расхаживал по комнате, пышно жестикулируя. Обычная угловатость движений исчезла в пылу

спора. Он уже не побрякивал и не покашливал, и легко находил нужные слова. Покрасневшее лицо и гневные взгляды, какие он бросал иногда на инженера, изобличали в нем собеседника горячего и несдержанного.

Сажин, наоборот, несколько даже кокетничал своим спокойствием. Он не позволял себе ни лишних движений, ни слишком открытого выражения чувств. И только по тому, что он частенько, вопреки привычной вежливости, не слушал Марка и продолжал говорить свое, можно было судить о степени его возбуждения. Он, видимо, нимало не беспокоился о результатах спора. Столкновение мыслей занимало его само по себе. Внезапно мелькнувший довод или интересное соображение то и дело увлекали его в сторону. Как праздный турист, он шел по проселочным тропкам, отыскивая живописные места.

Зато Марк нападал на инженера со строгостью и нетерпимостью.

— Я не стал бы подавать вам руку,— говорил он,— если бы вы всерьез держались таких взглядов. К счастью, это у вас только поза, дурная привычка шутить с неподходящими вещами. Уж если вы и в самом деле ни во что не верите, зачем, спрашивается, связались вы с нашим делом? Зачем вы в восемнадцатом году пошли добровольно в Красную Армию? Зачем отдали потом патенты Авиационному обществу?.. Значит, вы о какую-то истину верите? Значит, вы вовсе уж не такой злыдень, каким хотите казаться! Вы просто чудаки...

При этом «фактическом» изобличении Сажин только юмористически сморщился.

— Ну уж! Кому бы говорить о чудачестве...

И он добродушно рассмеялся, словно в памяти его в эту минуту вдруг встала история всех ему известных странностей и чудаществ Марка.

V

Все это началось еще в детстве, когда мир был тесен, но полон неожиданностей, словно умывальный таз.

Марк сидел на большом сундуке в комнате няни и бил ложкой в опорожненную алюминиевую чашку. Содержимое чашки было только что обстоятельно обследовано и пришло по вкусу.

Было лето. Был вечер. В небольшое окно заглядывал кусок начинавшей темнеть синевы. Под потолком комнаты плыл бледный, как луна, матовый шар незажженной лампы. Небо и потолок были неразделимы. Марк бил ложкой в алюминиевый свой барабан и пел песню.

Песня состояла из восклицаний:

Ай. Най. Тим-тирим.

Там. Тим. Там...

Но это были вовсе не бессмысленные звуки. Марк вкладывал в них сложные чувства того мгновения. Песню можно было, примерно, перевести так:

Ах, как синее небо.

И какой у чашки приятный звук.

И как вкусна была каша.

Жаль, что ее дали мало.

Марк пел песню и смотрел в окно. К самому стеклу, точно чья-то косматая рука, протягивалась зеленая ветка ближнего тополя. Между карнизом и рамой покачивалась, как дым, серебристая тонкая сетка. Посередине сетки сидел огромный паук и изредка пошевеливал длинными лапами.

Марк помнил:

Отец вошел в комнату в сопровождении каких-то чужих людей в серых шинелях. Вид у него был сконфуженный, точно люди пришли делать что-то постыдное, чему он не мог помешать.

— Это комната няни,— сказал он непривычно для Марка пустым и холодным голосом.— Здесь вы ничего, кроме штопанных носков, не найдете...

Один из людей, гремя шашкой, сел посредине на стул.

— Однако ж, посмотрим! — сказал он сдавленным, будто из живота исходящим басом.— Иващенко, осмотри!..

И человек часто и шумно задышал.

Вытаскивались из-под кровати корзинки, выбрасывались вещи. Повсюду на стульях и на столе нагромождались кое-как брошенные полотенца, простыни, рубашки. Марк смотрел во все глаза на происходящий вокруг разгром и удивлялся, почему этих «дядь» не прогонят. Он видел в дверях испуганную няньку и чувствовал, как подбирается к нему неосмысленный страх.

Один из людей, рыжие усы которого торчали в стороны прямо, как перья, подошел к сундуку и, осклабясь, сказал:

— А ну-ка, малец, посторонись малость!..

Марк только крепче стиснул в руках ложку и застыл от испуга в неловкой позе. Человек протянул к нему руки и поднял на воздух.

Марк навсегда запомнил красное потное лицо человека, с жесткими рыжими усами. Лицо вращало глазами и жевало губами. Марк, внезапно визгнув, дернулся из неловких рук и заколотил зажатой в руке ложкой в эту пышащую жаром рожу. Он бил и визжал, а человек пыхтел и отворачивался. Потом он резко опустил Марка на пол и толкнул на руки отца.

Охватив отцовскую шею, Марк продрожал у него на руках все время, пока шел обыск. Это событие, собственно, и было первым его сознательным воспоминанием.

Матери Марк не помнил. Живя с отцом и нянькой в ссылке, он очень рано познакомился со многими, совсем не детскими вещами. Мир его разделился на две неравные части. С одной стороны был отец и немногие близкие ему люди, с другой — серые шинели и короткое слово «царь».

Отец и его товарищи всегда представлялись Марку в ореоле таинственности и героизма. Как-то нянька по секре-

ту рассказала, что мать его умерла в тюрьме, заразившись там сыпным тифом, и что она была такой же неугомонной, как отец. Марк слушал несложный рассказ ворчливой старухи и представлял себе страшную картину тюремной смерти. Тайное преклонение перед мертвой матерью и живым отцом поселилось в нем с тех пор навсегда.

Когда пришла революция, Марку было всего девять лет. Вначале в его жизни не произошло, в сущности, никаких изменений. Как и прежде, отец переезжал по неизвестным причинам из города в город. Потом наступила перемена, и отец, как-то вдруг, стал значительным лицом. Имя его знакомые и незнакомые люди начали произносить с различными интонациями приязни или вражды.

В декабре семнадцатого года учитель в школе сказал, что большевики захватили власть незаконно, что им-то, быть может, и хорошо, но народ голодает. Марк вспомнил нетопленную комнату барского особняка, где они жили в то время с нянькой и отцом. Он мысленно увидел две картофелины, лежавшие сегодня на его тарелке, и, неожиданно для самого себя, вскочил с парты.

— Вы лжете!— сказал он, немножко от волнения заикаясь. — В-вы... Не смеее т-так говорить. Мой отец большевик и председатель революционного комитета, но мы едим, как и вы, картошку... Вы не смеее, не смеее!

И Марк чуть не разревелся от оскорбления, которое востроносенький старикашка косвенно наносил его отцу.

Он был свидетелем нечеловеческого труда, самоотречения и пуританской скромности этого человека.

Отец почти никогда не бывал дома. Просыпаясь по ночам, Марк видел его иногда за работой. Не снимая дубленой куртки, отец сидел за столом, перелистывая бумаги. Рядом стоял закопченный котелок с пшенной кашей. Отец рассеянно совал в рот ложку за ложкой, видимо, не замечая самого процесса еды. Лицо его было бледно, устало, но освещено внутренним возбуждением. Он ерошил волосы и смешно морщился, как будто в каше попадалось временами что-то нестерпимо кислое. Марк смотрел на его лоб, на рассеянное

движение ложки, черпавшей иногда кашу где-то помимо котелка, и в нем шевелилась приятная теплота. Небритая отцовская борода или свисающий из-под куртки шнурок нагана вдруг пробуждали в нем гордую нежность... Однако, он редко подходил к отцу в такое время.

Быть может, в смутной тишине этих мальчишеских бессонниц и родились впервые требовательные видения Марка, Пять лет спустя, когда уже остались позади и голод, и суровая простота военного коммунизма, Марк искренне досадовал, что родился слишком поздно. В тринадцать лет он уже считал себя взрослым человеком. Ему казалось обидным, что теперь нельзя доказать своей преданности революции каким-нибудь необыкновенным поступком. Он хотел, чтобы ему, как отцу, довелось отдать делу всю свою кровь. Он мечтал рисковать жизнью, сталкиваться грудью с грудью с врагами и умереть, если понадобится, на виселице или в схватке. Вместо всего этого перед ним лежал мирный путь обыкновенного второстепенца, получающего в школе горячие завтраки и скучные задания по арифметике. Подобное положение, конечно, никак не могло удовлетворить разгоряченную фантазию Марка.

Однажды он мрачно заявил отцу, что хочет ехать в Китай.

— Зачем же это тебе туда понадобилось? — удивился тот.

В то время отец был директором только что организованного крупного колбасного треста. Как и всегда, он был загружен работой и не подозревал о мечтаниях Марка. Разговор происходил поздним вечером, за чаем. На столе блистали масло, колбаса, белый хлеб. Отец имел вид добродушного бюргера, отдыхающего в семейном кругу, и смотрел на сына с веселым недоумением.

— Да что ж тут с вами нянчиться, — сказал Марк, — колбасу-то, чай, и без меня делать сумеете. Ну, а там война, баррикады... людей надо.

Отец самым обидным образом расхохотался. Впрочем, на лбу его тотчас же появилась складочка.

— Эх, Маркушка, Маркушка! — сказал он. — Растешь ты, как кутенок, без надзора. Ну-ка, давай, рассказывай, что это тебе примерещилось?..

Марк надолго запомнил ночную эту беседу, сблизившую его с отцом еще больше. Отец обладал таинственной способностью самые обыкновенные вещи представлять в их скрытой значительности. Марк впервые понял от него, что значит простое слово «передышка». Сейчас полагалось, оказывается, копить силы и закалять волю. Физически прошлое было опрокинуто, но оставались еще его материальные и духовные пережитки. И, поняв это, Марк почувствовал, что найдена подходящая для его гордости цель.

Домашний урок политэкономии был понят по-своему. Марк захотел стать рыцарем будущих битв, человеком без страха и упрека, вырвавшим из себя все слабости и пороки. Тщеславная эта мысль породила жестокую войну.

Уезжая на лето в пионерский лагерь, Марк забрал с собою все свое достояние: несколько десятков книжек, белье, обувь, мелкокалиберное ружье и фото-аппарат. Там он роздал вещи товарищам по отряду, а, возвратившись домой, парировал нападения няньки резонным заявлением, что будущий коммунист не должен иметь никакой собственности. В полном согласии с таким представлением, он забрал у одного своего товарища понравившийся ему бинокль и был очень удивлен, что на него накричали и пожаловались в школу. Отец, узнав о «коммунистических» опытах Марка, ничего ему не сказал, но смеялся так весело, что экспериментатор впал в тяжкое раздумье.

Марк восставал на ячейке против галстуков и сорочек, не замечал тех из комсомолок, которые не носили красного платка. Вдруг и без объяснений он перестал подавать руку всем знакомым, и только потом выяснилось, что Марк ратует за отмену рукопожатий.

По его почину группа комсомольцев организовала лигу времени. В городе повсюду появились рассудительные плакаты, предостерегающие граждан от преступной траты драгоценных секунд. Марк затратил неимоверное количество

времени на разработку множества бесполезных и стеснительных правил, которые должны были сделать жизнь разумной и удобной. В конце концов, ему стало некогда не только учиться, но и обедать. Проповедник рационального образа жизни начал молниеносно худеть. И только своевременная ирония отца заставила его несколько охладиться.

Марк быстро понял, что жизнь полна непонятных условий, которые держатся вопреки разуму. Люди продолжали жать друг другу руки, хоть каждый и понимал, что это совсем не гигиенично. Франты бесстыдно носили галстуки, хоть их полезную роль давно уже исполняли пуговицы и застёжки. Поэтому, став взрослее, Марк перенес борьбу на более удобную почву.

Он решил, что главная его задача состоит в воспитании в себе добрых коммунистических качеств. Осматривая однажды импортный велосипед приятеля, Марк обнаружил в себе комариный голосок зависти. Идя домой, он досадовал, что не может одолеть этого чувства. Для выхода из затруднения он отдал свой полуразбитый «дукс» одному неимущему парню и, сделав это, почувствовал приятное удовлетворение.

Таким образом, он простодушно не заметил, что вырвавшись из объятий зависти — тут же впал в грех самодовольства.

Скоро он сообразил, что на свете не существует также и безусловных добродетелей. Добродетели имели склонность превращаться в пороки, и наоборот. Обнаружив эту диалектику в собственном поведении, Марк решил, что совершенствоваться одиночным порядком нельзя. В то время он начал уже заниматься философией. На тысячи ладов он разъяснял себе и другим смысл усвоенного положения, что только переделывая общественные условия своего существования, человек переделывает и собственную природу.

Да и сама жизнь показывала Марку тщету его индивидуальных усилий. Учась в школе и в вузе, а потом работая в Физико-техническом институте, Марк страстно включился в широкую массовую деятельность. Он организовывал отря-

ды легкой кавалерии и производил с ними лихие набеги на перепуганных заводов. Он брал шефство над заводскими ребятами, собирал металлический лом, руководил политкружками, торговал лотерейными билетами, брал на буксир отстающих в учебе и, словом, как говорили ребята, «фукцировал на большой палец».

В ячейке он издавна занимал положение комсорга и высшего судьи в вопросах комсомольской чести. Он был достаточно нетерпим как к своим, так и к чужим слабостям, и бестрепетно выносил приговоры, Неподкупность его была общеизвестной, и он карал одинаково как друга, так и врага. Смеясь, его называли Робеспьером.

В короткое время Марк постиг два европейских языка, написал несколько журнальных статей, закончил большую работу по дифракции электронов и прослыл знатоком диамата.

Ко времени окончания Марком вуза отец его перешел в Наркомюст и постоянно разъезжал по провинции. Нянька Марка умерла, и он жил один в комнате нового институтского дома. Он далеко не оставил еще опытов самоусовершенствования, и меблировка его комнаты была свидетельством его поисков. Он вставал ежедневно в семь часов и, не чувствуя к этому занятию никакой душевной склонности, мученически возился с гирями и с зарядкой. До института он занимался дома. Украшением стен его квартиры были всевозможные планы и расписания. К счастью, он пользовался ими без особого увлечения, и они почти не мешали его успехам. И втайне он все-таки мечтал о подвиге, которым осветится однажды вся его жизнь.

VI

Два года назад рослый человек в форме пилота взошел на кафедру Физико-технического института. Над головами собравшихся, точно новенький лунный серп, поднялся серебряный летный знак. Аудитория состояла на этот раз из сотрудников института: аспирантов, доцентов, профессоров.

Пилот очень непринужденно оглядывал эту ученую толпу и ожидал, когда она стихнет. В ровных его движениях, в отсутствии суеты и в сдержанности сказывались привычки хорошо владеющего собой человека. Он сразу начал говорить о деле.

— Авиационное общество силами рабочей общественности строит большой ракетоплан. Доказывать вам важность этого дела я не буду. Если мы хотим жить и работать спокойно, нужно научиться летать. Для высотного полета и соответствующих наблюдений нам нужен физик. Необходимо подобрать подходящего человека!

Пилот сошел с кафедры и сел у стола президиума. Непривычно короткое его выступление произвело нечто вроде замешательства. Профессор Волженцев, председательствовавший на этом собрании, встал, пощипывая седую свою бородину, и, помедлив немножко, спросил:

— Ну-с, так кто желает лететь, товарищи?..

Вопрос звучал совсем буднично, словно профессор предлагал пойти в столовку или выбрать сборщика членских взносов. Однако, жаркий ветерок волнения прошелся по аудитории и вызвал неопределенный гул.

Марк сидел на одной из далеких скамей, в окружении таких же, как он, аспирантов, комсомольцев института. Он смотрел на пилота, точно на вестника своей судьбы. Та долгая минута, пока профессор обводил собрание взглядом, была исполнена для Марка непереносимым томлением. Из скромности он удерживался от поспешного заявления и старался принять равнодушный вид.

В президиум почти одновременно посыпался ряд предложений. Вызывались и сверстники Марка, молодые аспиранты, и почтенные люди, профессора, руководители отделов. Марк почувствовал где-то под ложечкой вставшую колом тоску. Как ему хотелось, чтобы выбор пал именно на него!

Потом, три с лишним долгих недели, пока избранная комиссия расценивала достоинства и недостатки каждого кандидата, Марк ходил с откровенно потерянным видом,

как человек, находящийся под судом и следствием. Он был достаточно мнителен и, в конце концов, решил, что комиссия никак не может остановить выбора на нем.

Комиссия избрала именно его. Как-никак Марк был известен своим общественным пылом. Кроме того, он работал уже полтора года в отделе быстрых электронов. Предстоящая в полете задача наблюдения космических лучей была близка его основной квалификации. Это и решило его избрание.

Поздно ночью, в день решения комиссии, Марк сидел за своим универсальным столом, обложенный книгами и чертежами. В тот вечер ему пришли в голову все догадки, которые он использовал потом при конструировании нужных приборов. Он ощущал в себе одно из тех неясных движений восторга и полноты жизни, которые обостряют все силы ума. Чтобы освежиться после долгой работы, Марк подошел к раскрытому окну.

Был август, месяц звездного цветения. С седьмым этажом, где помещалась комната Марка, небо было совсем по соседству. Прозрачный холод ночи веял Марку в лицо. Миллиарды миров дрожали в вышине. Частые в эту пору болиды падали в темную синеву огненными росчерками.

Глядя в эту роящуюся бездну, Марк думал о предстоящем полете. Забывшись, он лег на подоконник и высунул голову наружу. Взгляд его скользнул вниз, вдоль отвесно падающей стены, и Марк отшатнулся от окна, словно отброшенный невидимым толчком.

Чорт побери! Ну, а как же быть с его страхом? Как быть с нелепой и неодолимой его боязнью высоты?..

Он почувствовал неожиданно дрожание и слабость всех мускулов, безвольное влечение к этой зияющей, увиденной сейчас, пустоте. Разом вспомнились ему все постыдные случаи его жизни, когда в нем просыпалась осуждаемая умом и все же неодоленная трусость.

То ли подействовала беспокойная жизнь с подпольщиком-отцом, то ли это была слепая игра предрасположения, но Марк с детства рос несколько неуравновешенным и

нервным. К восьми годам обнаружилось, что он немного заикается. Забравшись однажды на большой тополь, Марк глянул вниз, и вслед за тем, не помня себя, судорожно вцепился в дерево. Он так и не разжимал рук, пока его не сняли, и с тех пор высота вызывала у него неодолимый страх. Как-то отец, узнавший о его слабости, вздумал над ним подшутить. Он высунул Марка в окно с высоты третьего этажа и подержал его на вытянутых руках. Марк как-то застыл, судорожно скорчился. В тонком визге его появилось что-то, заставившее отца испугаться и пожалеть о шутке.

С возрастом все это несколько сгладилось, Марк добился того, что заикание его стало незаметно, и проявлялось разве только при сильном волнении. Но вот страх высоты остался до сих пор.

Он вспомнил, сколько трудов и тактической ловкости пришлось затратить ему не так давно, чтобы отлынить от участия в организованной при институте группе парашютистов. Разве он знал, что судьба, дразнящая подвигом, придет в образе пилота и предложит полететь вот в эту неведомую бездну, покрытую звездной пылью? Марка передернуло от неприятного чувства. Нет, чорт побери! Тут надо что-то сделать!..

Ему, конечно, и в голову не приходило отказаться от полета. Это значило бы упустить возможность, которая грезилась всю жизнь. Оставалась война с самим собой, опять все та же самая медленная осада собственных несовершенств.

Марк начал ходить в Парк культуры на парашютную вышку.

Вначале он стоял на земле около вышки и наблюдал, как прыгают другие. С земли все представлялось чрезвычайно просто. Люди с веселыми лицами подходили к краю площадки, обгороженной барьером. На них надевали нечто подобное конской сбруе, и они сваливались вниз, болтая, вопреки правилам, ногами, и иногда не очень красиво шлепались о землю.

Стараясь не смотреть вниз, Марк решил подняться на вышку. Он лез по узким лесенкам, подминая под себя метр

за метром ненавистную высоту. В известный момент ему показалось, что все стало непрочным и шатким: лесенки колебались под ногами, вышка качалась от ветра и грозила упасть. Чувствуя приступ головокружения и подбирающуюся в горлу тошноту, Марк все-таки полез вверх. Ему было ясно, что если он повернет вспять, то эта проклятая вышка останется для него недоступной навсегда.

Когда он долез, наконец, до верхней площадки, чувство обступающей его со всех сторон пустоты стало настолько сильным, что ему трудно было удержаться от крика. Однако, он лучше свалился бы, чем дал бы над собой посмеяться. С видом почти равнодушным, глядя прямо перед собой, он позволил надеть на себя парашютные лямки.

— Держитесь за стропы, — сказал откуда-то голос инструктора, — когда будете приземливаться, подтянитесь немножко на руках.

Дверца барьера открылась, и Марк встал на краю сорокаметровой бездны. Его страшно тянуло глянуть вниз и он боялся этого.

— Ну, что ж вы? — сказал все тот же голос. — Прыгайте!..

С решительностью отчаяния, как человек, решившийся на самоубийство, Марк шагнул к самому краю и вдруг... заглянул вниз.

Сосущая, точно трясина, высота открылась перед ним. Мутная волна головокружения отуманила голову, и он уже не помнил, как упал с вышки.

В следующий момент его дернуло легонечко и потащило вниз. Самое страшное уже прошло. Марк успел опомниться раньше, чем дошел до земли. Приземливаясь, он даже не упал и только, забыв подтянуться, довольно чувствительно ударился ногами. Он сам снял с себя ремни и пошел от вышки с таким видом, словно ему уже не в первый раз приходилось заниматься подобными прыжками.

Через две недели Марк входил уже на вышку и бросался с нее со всеми внешними признаками бесстрашия. Однако, это значило только, что страх упрятался поглубже, но не ис-

чез. Чтобы dokonать его окончательно или, вернее, чтобы привыкнуть к нему, Марк расширил тренировку.

В своей комнате он ложился грудью на подоконник и, привязавшись за паровое отопление, свешивал голову из окна. Он открывал глаза навстречу тянущей высоте, стараясь привыкнуть к ее виду. За этим занятием однажды его и застал Сажин.

— Что это такое вы делаете, батенька мой? — удивился он.

Марк смутился и не нашел ничего лучшего, как выдумать какую-то нелепую причину. Сажин посмотрел на него с недоумением, но, как человек воспитанный, настаивать на расспросах не стал.

В то время началась уже подготовительная тренировка будущих стратонавтов в барокамере, и Марк тщательно скрывал от компаньонов свои индивидуальные упражнения.

Два раза в шестидневку стратонавты приходили в физиологическую лабораторию, где их встречал близко с ними сошедшийся доктор Решетов. В полуподвальном помещении, по соседству с барокамерой, пронзительно и терпко пахло мышами. В коридоре, на длинном прилавке, стояло множество банок с клеймами. Марк с любопытством смотрел на крохотных животных, живущих на дне банок. Доктор Решетов брал мышей прямо руками.

— Удивительно хладнокровное животное! — шутил он. — Если бы человек умел так философски относиться к жизни, как эти сморчки, он стал бы богоподобен. Вот видите: этой партии мышей произвели вчера очень тяжелую операцию, а сегодня они кушают с большим аппетитом и ведут себя так, как будто ничего не случилось. Учитесь, Марк, спокойствию у этих стоических грызунов!..

Решетов был человеком исключительной благожелательности. Он любил поболтать и, запаковывая Марка, Сажина и Хлынова в барокамеру, все время тараторил с ними, находя что сказать каждому.

Плотно закручивался узкий люк. Трое людей усаживались в тесном пространстве, отгороженном от мира толсты-

ми стенками. Через оконце видно было улыбающееся лицо Решетова. Ровный звук возвещал начало работы прибора. Давление в камере, смотря по заданию, увеличивалось или уменьшалось. Люди уже дышали искусственным воздухом. Условия приближались к тем, какие предполагались во время полета.

Как только Марк попадал в закупоренную со всех сторон камеру, странное беспокойство охватывало его. Смешно было бояться сейчас чего-нибудь, но Марк чувствовал мерзкую щекотку страха и холодел от стыда. Он завидовал этот момент и деловому спокойствию Хлынова, и созерцательной рассеянности Сажина.

Замкнутое пространство непонятно пугало Марка, но, так или иначе, он почел бы себя несчастным, если компаньоны догадались бы об этом. Поэтому, сидя в барокамере, он, как и они, непринужденно болтал о постороннем. К счастью, физически Марк был совершенно здоров, и ни доктор Решетов, ни другие врачи не сомневались при осмотрах в пригодности его к полету.

После трех месяцев войны с самим собой Марк обнаружил новую напасть.

Стало пошаливать сердце. Начались какие-то странные перебои, словно сердце срывалось вдруг с крутой горы. Марк потерял чувство легкости и неощутимости своего тела. Теперь он повсюду носил с собой в груди трепещущий мускульный комок, который то начинал неистово колотиться, а то вдруг останавливался, замораживая кровь.

Припадки преследовали Марка и на лекциях, в аудитории, и на работе. Тайно от доктора Решетова и от товарищей по полету, он поехал посоветоваться с одним известным врачом.

Приземистый человек с умными глазами долго расспрашивал Марка, о второстепенных, как ему казалось, вещах. Затем он внимательно выслушал и выстукал его сердце.

— Сердце у вас совершенно здоровое,— сказал он, наконец, садясь.— Я с удовольствием поменялся бы с вами, если бы хотел вас обжулить. Здесь дело не в сердце...

Смущая пациента, врач пристально смотрел ему в глаза.

— У вас невроз страха, — продолжал он, — *Angst-neurosis*, как говорят немцы. Все дело тут в некотором преувеличенном интересе к собственной личности. Нужно поменьше обо всем этом думать. Ничего у вас нет...

Может быть, это было и так, но Марку не стало, однако, лучше. Он пил капли, принимал ванны, старался не думать о болезни, но все это не помогало. К тому же, другой врач сказал, что у него все-таки сердце больное, и что нужно поехать лечиться в Кисловодск,

Началось время унижайшей зависимости от пустяков. В разгаре работы или на полуслове, среди делового разговора, вдруг что-то торкалось в груди, и ужас переполнял внутренности Марка.

Работа шла плохо. С отвращением думалось о приближении ночи, когда Марк должен был оставаться наедине со своим сердцем. Все, что было в нем от гордости человека упрямого и свободолюбивого, возмущалось против такой рабской зависимости. На свое тело он начал смотреть с омерзением. Сердце стало его врагом, и Марк решил, наконец, дать ему решительный бой.

Однажды пришел очередной приступ болезни. Марк читал что-то у себя в комнате. Увлеченный книгой, он три с лишним часа просидел над нею, не разгибаясь. Почувствовав утомление, он откинулся на спинку кресла и потянулся, забросив руки за голову. Мерзкий холодок вдруг прокатился по его телу. Внезапно вспомнив о сердце, он почувствовал, как дрогнуло оно и замерло, прекратив бег. В теле наступила жуткая тишина, точно в фабричном цеху во время остановки моторов. Казалось, кровь его застывает, мысли мутнеют. Но он не вскочил, он решил... умереть.

Каким-то внутренним усилием он настроил себя на примирение с неизбежностью. «Ну и пусть я умру — минорно думал он, — это лучше, чем постоянный страх. Пусть будет так».

Сердце остановилось. Мир отцвел и отступил в сторону. Спустя минуту Марк должен был, однако, с удивлением от-

метить, что он все-таки еще живет. Он попробовал шевельнуть рукой, и рука шевельнулась. Он тронул ногу, и нога сдвинулась. Марк схватился за пульс. Неощутимое легкое сердце билось, как ему и полагалось.

Марк так настроил себя на мрачный лад и так был уверен в неизбежности конца, что переход к естественному и ничем не замечательному состоянию даже разочаровал его. Он почувствовал себя в положении человека, с которым сыграли глупую штуку. И он начал смеяться, сначала еще неуверенно, а потом все сильнее и веселее. Чорт побери! Так, пожалуй же, первый врач был прав!?

Этот день был концом его болезни и днем его торжества. Отныне Марк с некоторым основанием стал считать, что на пути самопреодоления (такое уж он словечко выдумал!) сделаны кое-какие завоевания. Случалось, правда, и впредь, что он чувствовал свое сердце, но прежнего уже не было. Ощущение радости и полноты жизни постепенно снова вернулось к нему.

Впрочем, ему предстояло вынести еще испытание, потому что вскоре был назначен тренировочный полет на аэростате. Дуновение страха вновь пронеслось над Марком, когда он пришел на аэродром.

Утро было ясное и безветренное. Крупные капли росы лежали на траве. Большой серый шар неподвижно стоял в воздухе, удерживаемый стартовой командой. По бокам корзины, точно связки сосисок, торчали узкие мешочки с балластом. Тут же висели свернутый гайдроп и якорь. Над корзиной, привязанные к кругу, болтались провизия и бидон молока. Марк вспомнил почему-то сборы на рыбную ловлю, до которой он был в детстве охотник.

Хлынов бегал вокруг аэростата, отдавая последние распоряжения. В глазах его светилось то же охотничье возбуждение, только сдержанное привычной озабоченностью.

Марк посмотрел на шар. Через минуту он должен был вверить свою судьбу вот этому шаткому сооружению, состоящему из полотна и веревок. Там, в глубокой и холодной высоте, ждала его зыбкая неизведанная стихия.



Он перевел взгляд на Хлынова, и ему стало немножко поспокойнее при виде крепкой его фигуры. Разговаривая с Сажиным и, видимо, пересчитывая что-то, пилот загибал один за другим пальцы. Инженер рассеянно глазел по сторонам и, может быть, не слушая, кивал головой.

Пять минут спустя, одевшись в теплые комбинезоны, аэронавты сидели в корзине. Из этой тесной плетеной коробки ничего не стоило вылететь при первом движении. Марк невольно сжимал руки, держась за ее край. Впрочем, лицо его ничего не выражало: он уже не боялся, что выдаст себя.

Раздалась короткая стартовая команда. Марк отвернулся от компаньонов и крепко зажмурил глаза. Первое движение аэростата он еще ощутил телом. Похоже было, что его, как в лифте, чуть дернуло и толкнуло вверх. Но затем наступил полный покой, словно шар не поднимался, а повис над землей, подобно тяжело набухшей капле.

Когда Марк открыл глаза, аэродром и оставшиеся там люди были уже где-то далеко внизу. Человеческие фигурки вросли в землю, стали маленькими и ничтожными. Вместо травы Марк увидел ровную зеленую поверхность, гладкую, как чертежная доска. Прежде чем он успел что-либо сообразить, земля уже приняла очертания искусно и пестро раскрашенной карты.

Ни страха, ни ощущения высоты больше не существовало. Марк смотрел вниз и не отмечал в себе ничего, кроме любопытства. Все обычные впечатления высоты, которые он получал с крыш домов, из окон или с парашютной вышки, были совсем не приложимы к открывшейся перед ним картине. Подобно тому, как человек, корчащийся от ничтожного пореза, может не заметить, когда ему оторвет ногу, так точно и Марк совершенно перестал ощущать высоту при этом неизмеримо увеличившемся ее масштабе. Чорт побери! Стоило же ему так много страдать, чтобы сделать это открытие?! Марк радостно посмотрел на своих товарищей по полету и беспричинно рассмеялся.

Альтиметр показывал три тысячи метров. Шар двигался вместе с воздухом на юго-восток, но это было незаметно для аэронавтов. Марк был убежден, что ветра нет, и что аэростат недвижно висит над местом старта.

Внизу лежал неузнаваемый и никогда таким не виденный ландшафт. Лесной массив, лежавший справа, казался пластом тяжелой краски, щедро наложенной на поверхность серого полотна. Расположенный слева город походил на увеличенный план из справочника. Узкая сетка улиц была усеяна недвижущимися точками. Лезвие изогнувшейся по городу реки пронзительно блестело на солнце.

Пронизанный солнцем и свежестью воздух вливался в Марка подобно песне. Он плыл в корзинке среди голубой пустоты, и ему хотелось кричать от восторга. От разреженного воздуха или от возбуждения тело, казалось ему, стало легче, свободней, упруже... Глубоко дыша, он смотрел на открывавшуюся картину, и на лице его мирно цвело счастливое удивление.

— Ну, как, Марк? — услышал он голос Хлынова — Фукусируем, что ли?..

Марк благодарно улыбнулся пилоту.

— Фукусируем, Матвей, фукусируем!..

— Ну, а коли фукусируем, — не без гордости сказал Хлынов, — так не грех и подзакусить!..

И он начал отвязывать от обруча провизию и бидон с молоком.

...Таким образом, ко времени теперешнего старта в стратосферу, Марк достиг той степени уверенности в себе, когда будущее представляется безоблачным, как погожий день. То, что Сажин сообщил сегодня об опасениях Хлынова, нимало его не тревожило. Могли ли теперь помешать делу какие-то пустяки, когда пройдено столько трудных дорог и перевернуты горы препятствий. Подводя некоторые итоги, Марк склонен был считать, что в работе над самим собой он достиг некоторого успеха.

VII

Когда Сажин выходил от Марка, на лестнице ему встретился человек с чемоданом в руках. Человек этот чем-то напоминал Марка, и Сажин невольно посмотрел ему вслед.

Марков отец находился в длительной командировке по линии прокурорского надзора. Марк недавно сообщил ему о близости старта и получил в ответ письмо. В письме было несколько странных несообразностей.

Во-первых, отец ничего уже не писал о спешности своей работы. Во-вторых, он извещал, что по пути в новый пункт командировки заедет в Москву. Какое ж это было по пути — из Воронежа в Свердловск заезжать в Москву?! В-третьих, отец как-то не просто и обиняками касался предстоящего Марку полета. Он писал, что познакомился с отчетом о полете Пикара. Половина письма была посвящена островам насчет Пикара и его злоключений. Самим Марком отец почти не интересовался. И только в конце почему-то выражалось настояние, чтобы в случае ускорения старта Марк сообщил об этом телеграммой. Похоже было, что человек болтает о куче посторонних вещей и никак не решается спросить о главном.

Марк недоумевал.

Теперь вот, укутанный в длинное пальто, отец стоял в дверях комнаты и ухмылялся, глядя на сына. На усах его, мешаясь с сединой, осела тонкая изморозь. Воротник был поднят, составляя как бы раму для этого крупного, смелыми штрихами набросанного лица. меховая шапка сползла на затылок, и оттого лицо казалось моложе обычного. Отец ставил на пол чемодан и снимал галоши, опираясь для устойчивости об стену.

— Ну, ну! — рокотал он. — Принимай гостей, юноша! Учись уважать старших. Чем приготовился угощать-то? Я ведь кроме воды употребляю все жидкости от нуля до шестидесяти градусов. Ну, давай лапу, почеломкаемся...

Он тиснул раз-другой плечи Марка и неловко ткнулся усами в его лицо.

Сбросив с плеч пальто, он поискал глазами вешалку и, не найдя ее, положил одежду на чемодан. В его движениях была та самая резвость, которая в любом возрасте изобличает людей с подвижным характером. В одно мгновение и, казалось, одним жестом он успел и сбросить шапку, и пригладить волосы, и провести пальцами по усам, снимая тающую изморозь. Затем он с удобством уселся в кресло, подвинутое сыном, и принял позу путешественника, добравшегося, наконец, до гостеприимного крова.

— Ну-с! — с удовольствием сказал он. — Рассказывай давай, как у вас тут! Чем вы тут дышите в красной Московии? Просвещай уездного жителя!

Голос у отца был странно молодой и звонкий. И о градусных напитках, и об уездном жителе он, конечно, помнил так, для красного словца. Марк с одобрением смотрел на этого крепкого, начинавшего полнеть человека, во внешности которого не было ничего прокурорского. Одет он был в потрепанный рыжий пиджачок и такие же брючки. Воротник был измят, галстук сидел косо. Ко всему этому было в пору и мужицкое обличье: лохматые усищи и вьевшийся в кожу загар какого-то ядовито-кирпичного цзета.

— Хорош! Очень хорош! — сказал Марк вместо приветствия. — Ты хоть побрился бы, что ли! Да и пиджачок-то того бы... сменил! Не слыхал разве, что скоро за небритые щеки по партийной линии будут жучить? Кто же это поверит тебе, что ты — вершитель правосудия и блюститель революционного закона, когда на собственных щеках у тебя порядка нет. Хорош пример для юных почитателей!

— Вот извольте-ка на него смотреть! — с комическим ужасом воскликнул гость. — Не успел отец порога переступить, как нежное детище с нравоучениями на него набросилось! Да ведь я же с дороги, дурыга ты этакая! Ты бы вот лучше чаем меня напоил, чем рычать-то! Давай-ка, давай, пошевеливайся! Впрочем, надо думать, у тебя в доме ни маковой росинки нет? По столовым, чай, пробавляешься? Учить ты, я вижу, горазд, а вот чаем напоить тебя нету!..

Отец рассмеялся и подмигнул Марку: дескать, ловко я тебя! По свежему, на первый взгляд, лицу его пробежали лучики морщинок. Сразу обнаружилось, что человеку этому давно уже за пятьдесят и что он хоть и шутит и болтает, но, в сущности, в самом деле устал.

Марк, обычно, дома никогда не ел и вообще со всякой кухней возиться избегал. Но сегодня, к приезду отца, все уже было приготовлено.

— Так уж и знал! — шутливо возмутился он. — Как приехал, так и свой устав вводишь. Ладно уж, так и быть, напою чаем. Только, чур меня, обедать уж в столовке будем. Или нет! Я тебя сегодня в ресторацию свожу. При Деловом клубе тебя по всем правилам обжорства накормят. Знаю уж тебя, чревоугодника!

Этот тон грубоватого балагурства был привычным в отношениях сына и отца. Как это часто бывает, когда стесняются собственных чувств, отец и сын прикрывали взаимную приязнь несложным злословием и внешней бесцеремонностью. Между ними даже выработался своеобразный жаргон.

— Ну, ну! Поторапливайся, вьюноша! — говорил отец,

— Сократись, дядя! — возражал Марк. — Сейчас все устрою. Не бушуй!

Через десять минут отец и сын сидели у стола, заставленного снедью. Здесь были любимые Обольяновым-старшим анчоусы, колбаса, икра, масло, горячий кофейник и бутылка вина. Марк, впрочем, ничего не ел, потому что завтракал раньше, да и вообще держался известного ре-жи-ма. Отец намазывал на кусок масло, покрывая его толстым слоем икры, и, смачно жуя, смотрел на сына с сожалением.

— Вот извольте видеть такого анахорета! — ворчал он. — Держится на режиме святого Антония и полагает в этом свое комсомольское предназначение. Спит на власянице, а думает, что блюдет простоту. Эх, ты, горе-постник!

Неизвестно, чего было больше в этих словах — неодобрения или приязни. Голос отца был сердит, глаза же улыбались.

— Ну, я думаю, — возразил Марк, — что таких тамбовских эпикуров и без нас с тобой хватит.

Отец удовлетворенно засмеялся. Впрочем, он все-таки считал, видимо, долгом сделать ему внушение.

— Мудришь ты, Маркушка! — сказал он. — Да я-то тебя не за простоту сужу, а за гордость. Скромник-то ты скромник, а в глубине-то себя Александром Македонским считаешь. Нет в тебе этой самой... доброты к людям. Ты всех саровскими праведниками сделать норовишь!..

Марк, в свою очередь, ухмыльнулся. Оказывается, о старике недаром шла слава, как о прокуроре дотошном и язвительном.

— Ну, уж если сын Александром родился, — пошутил он, — так отец-то, наверное, Филиппом Македонским был.

— Нет, Марк! — просто сказал отец. — Это у тебя, надо полагать, от матери. Покойница и фантазией отличалась, да и упряма немножко, как ты, была. Я человек легкий: и поест вот люблю, и мук себе понапрасну выдумывать не умею. Ну, а она была женщина покудреватей...

Отец замолчал и задумался. Улыбка не просто сходила, а как-то сдвигалась с его лица. Сначала скучнел подбородок и рот, потом опускались щеки, затуманивались глаза и, наконец, на лбу появлялись жесткие складки. За минуту перед тем веселое лицо становилось суровым. И вот тогда-то обнаруживалось сходство с Марком. Он пил чай, закусывал, но мысли его, видимо, блуждали далеко. Затем он резко повернулся к Марку и уставился на него сердитым взглядом.

— Ну, как у вас там с полетом-то? — вдруг и без всякого перехода спросил он. — Когда старт?..

Не совсем понятная строгость и судейская требовательность звучали в вопросе. Марк удивленно посмотрел на отца и пожал плечами.

— Да думаю, что денька через два-три полетим, — сказал он.

— Вот, вот, вот! Так я и знал! — закричал отец, всплыв.

— Что с тобой, старичина? — удивляясь, произнес Марк. — Зачем же здесь в бутылку лезть? Разве ты не зна-

ешь, что у нас еще осенью все было готово? Мы, наоборот, не торопились, а оттягивали дело...

Отец, видимо, сообразил, наконец, что внезапная его вспышка вызывает естественное недоумение,

— Осенью, говоришь, были уже готовы? — переспросил он спокойнее. — Да, но зима-то ведь не осень. Зимой, надо полагать, дело будет потруднее.

— Ну! — убежденно протянул Марк: — неожиданности у нас исключены. Это ведь тебе не Европа. Мы работали не одни. Каждый винтик ошупан у нас десятками людей. Все, брат, проверено, как часы.

Он пошлепал отца по колену и улыбнулся, точно ему было стыдно своего превосходства.

Отец вспыхнул снова.

— Да что ты из себя Архимеда корчишь? — воскликнул он. — Да разве можно в таком деле все предвидеть и предусмотреть? Какой-нибудь винтик там, гаечка, чорт его знает, что может подвести!.. Провисел же Пикар шестнадцать часов из-за веревки? Мало ли что может быть!..

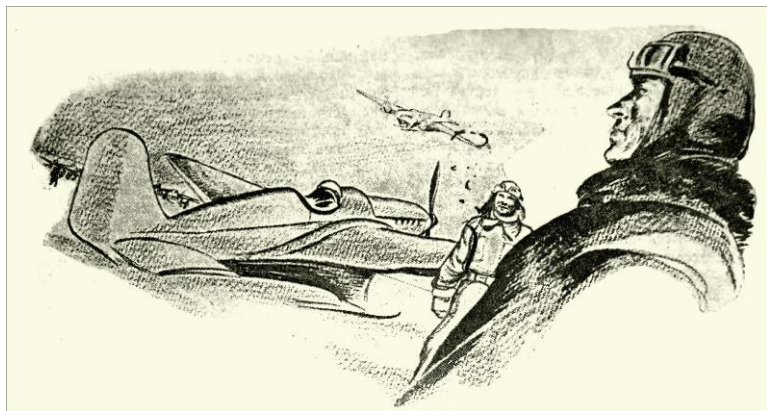
И он с силой развел руками.

«Ба! Да старик-то просто боится за меня», — вдруг догадался Марк. Внезапная нежность прихлынула к нему, и он почувствовал легкое щекотание в горле. И рыжий отцовский пиджак, и складки на лбу, и торчащие в сторону усы — все это показалось неожиданно смешным и до слез умильным. Так вот почему Москва-то оказалась по пути из Воронежа в Свердловск! Так в этом-то причина непонятной отцовской сердитости!

Марк встал и, подойдя к отцу сзади, полуобнял его за плечи,

— Эх, ты, старичина! — сказал он с ласковой укоризной.

В следующую минуту отец и сын сидели бок о бок на сдвинутых стульях и громко хохотали, поглядывая друг на друга. Так смеются люди, когда узнают, что немудрые их хитрости, считавшиеся тайной, давно уже всем известны.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Новенький крытый «форд» стоял у самого подъезда, тихо урча от беспокойства. Хлынов распахнул заиндевшую дверцу и осторожно посадил жену. Морщась от приступов боли, Нина Николаевна прижалась щекой к его плечу.

Хлынов не даром говаривал иногда, что без жены он не жил, а дребезжал, как дребезжит большая машина, лишенная маленького, но нужного винта. В нем и сейчас уже, при одной мысли, что Нина подвергалась некоторой опасности, зозникало тревожное беспокойство, которое иначе, как дребезжаньем, нельзя было и назвать. Пилот вглядывался в знакомое лицо жены, и каждая ее гримаса отзывалась в нем болью. Что же, в конце концов, сулил ему этот давно ожидаемый и все же внезапно явившийся час?..

До женитьбы женщины не играли в жизни Хлынова особо заметной роли. Как человек здоровый и чувственный, он, конечно, не избегал сближений. Однако, он не видел в этой стороне существования ни очень глубоких радостей, ни очень серьезного страдания. В те времена он полагал, что ему зазорно даже заниматься такими пустяками. Но вот однажды пришло то, что должно было прийти.

Это было лет пять назад, на аэродроме, в день большого авиационного праздника. Хлынов, в числе других слушателей Воздушной академии, должен был в качестве летчика поднимать подшефных парашютистов. Сидя в кабине самолета, он смотрел в сторону группы девушек-парашютисток, которые должны были летать с ним.

Хлынов хорошо видел, как от кучки отделилась одна фигурка и направилась к его аппарату. По нежной, не успевшей еще поблекнуть, траве скользило маленькое, двугорбое существо в синем комбинезоне. Между конвертами свернутых парашютов неуверенно возвышалась светловолосая головка с большими серыми глазами. Девушка шла, крепко зажав в руке шлем. Ее волосы свободно струились по ветру. Она сосредоточенно смотрела прямо перед собой, и на лице ее явственно выступала сердитая робость.

Фигурка настолько была лишена какого бы то ни было спортивного ража, что Хлынов не мог сдержать улыбки. Повидимому, это была одна из начинающих, для которой очередной прыжок не стал еще обычным делом.

— Садитесь, садитесь, товарищ! — весело воскликнул пилот. Он даже протянул навстречу пассажирке руку, намереваясь держаться роли галантного парня, готового на все услуги.

— Хватайтесь-ка! Так будет удобнее.

Двугорбое существо мрачно натянуло на голову шлем. Совсем рядом Хлынов увидел свежее, писанное пастелью лицо со строгими глазами. Парашютистка встретила легкомысленное радушие пилота с таким суровым достоинством, что Хлынов осекся, словно в воздушную яму упал. От протянутой руки девушка высокомерно отказалась, даже не заметила ее. От личика ее веяло такими полярными ветрами, что улыбка пилота мгновенно завяла. Чтобы не показать неожиданного для него самого смущения, Хлынов отвернулся и принял озабоченный вид. Поднявшись и описывая над аэродромом положенный круг, летчик все время косился на зеркальце, позволяющее видеть пассажирку. Он рад был бы отметить признаки испуга или нерешительности, но

девушка лишала его подобного удовольствия. Она только с интересом озиралась по сторонам, и на лице ее не отражалось ничего, кроме деловитого любопытства. Не было даже утешения, что она рисуется или позирует, потому что ей, конечно, и в голову не приходило предполагать в данном случае зрителей. Хлынов глянул на высотомер, ориентировался в положении аппарата над аэродромом и сделал пассажирке условленный знак.

Девушка вылезла из кабины и встала ногой на крыло, держась одной рукой за борт. По следующему сигналу она опрокинулась в пустоту, как на перину, спиной и затылком. Через секунду от маленькой синей фигурки отделился стремительный белый хвост, превратившийся затем в купол раскрытого парашюта.

Хлынов резко пошел на снижение.

В тот же день ему случилось столкнуться со своей пассажиркой у выхода с аэродрома. Пилот, кажется, толкнул ее, наступил ей на ногу и в суматохе этого не заметил.

— Плохой же вы летчик, — услышал он насмешливый голос. — Вы и на земле на пятки соседям наступаете. Как же вы будете в строю летать?..

Хлынов повернул голову и увидел давешнюю парашютистку. Невысокая крепкая девушка в светлом платье надменно смотрела на него, ожидая немедленного извинения.

— Ах, простите, пожалуйста! — пышно раскланялся Хлынов. — Бонжур пардон мерси о ревуар! Извините, что я вас потревожил, маркиза! Вы все еще скандалите?..

— То есть как это «все еще»? — удивилась девушка. — Разве мы где-нибудь с вами встречались?

Хлынов видел, что собеседница прекрасно его помнит, но не решился ее изобличать.

— Ну вот видите, — с притворным смирением сказал он, — я, можно сказать, вашим кучером сегодня был, а вы этого и заметить не изволили...

Положив гнев на милость, девушка удовлетворенно усмехнулась.

— Так это вы, значит, руку мне сегодня протягивали? — сказала она. — Впрочем, я вас, пожалуй, должна поблагодарить за это. Из пионерок я уже давно вышла... и когда я сержусь, так у меня все лучше выходит.

Девушка говорила далеко уже не сердито и отходить не торопилась.

Обнаружилось, что зовут ее Ниной, и даже не просто Ниной, а Ниной Николаевной, как она не без уважения себя рекомендовала. Она была студенткой Текстильного института, комсомолкой, физкультурницей, парашютисткой, значкисткой, активисткой, альпинисткой, хоккеисткой и т.д. и т.п. Для перечисления всех ее званий, занятий и обязанностей понадобилось бы, по крайней мере, с час, она же успела сообщить Хлынову обо всем в течение первых минут. Нине, видимо, хотелось внушить пилоту, что она человек занятой, и терять время на пустяки не намерена. Она тотчас же объявила, что не потерпит за собой никаких ухаживаний, хоть летчик пока и не пытался этого делать. Пусть Хлынов не думает, что она зеленая девчонка, у которой нет других занятий, кроме болтовни. Ей вот даже сейчас некогда. Она сядет сейчас на двадцать третий номер, он же пусть садится на тринадцатый, потому что никаких провожатых она не допускает. Словом, новая знакомая с первой же минуты точно очертила Хлынову круг их отношений, словно уже заранее предполагала за ним охоту к нарушению правил.

Впрочем, все это, конечно, было вовсе не таким страшным, как могло показаться. Девушка в самом деле уехала на двадцать третьем, но на прощанье улыбнулась Хлынову такой улыбкой, что поверить ее резонерству не было возможности. Ожидая следующего двадцать третьего номера, потому что именно на нем и нужно было Хлынову ехать, пилот сердился на собственную глупую покорность. Однако, данный на прощанье номер телефона он тщательно записал в книжку.

Несколько дней спустя Хлынов уже звонил Нине в институт. Держа в руках телефонную трубку, он чувствовал

себя в роли просителя, стоящего на пороге высокого учреждения. Он уже заранее приготовился сказать какую-нибудь грубость, если девчонка вздумает заноситься. К его удивлению, разговор был почти приятельский.

— А, Хлынов? — услышал он несколько измененный голос. — Прекрасно! Очень хорошо! Приезжайте сегодня ко мне в общежитие. Пойдем куда-нибудь. Очень рада. О вас я кое-что узнала! Оказывается, вы своего рода знаменитость. Это вы, оказывается, поставили недавно всесоюзный рекорд высоты!? Ишь вы какой!..

В голосе Нины звучало некое ласковое поощрение. Пилот с удовольствием отметил побочные выгоды своего увлечения высотными полетами. Выходя из будки, он не без гордости поправил висящую у него на боку кобуру.

Ближе к вечеру Хлынов и Нина шли по аллее Парка культуры вдоль берега Москва-реки.

— Знаете что, — сказала при встрече Нина, — мы пойдем с вами гулять только при условии: не говорите стандартных фраз, какие все говорят девушкам. А то мне скучно станет и я боюсь, что обругаю вас и уйду.

После такого предупреждения Хлынов из осторожности предпочитал молчать. Закованный в синюю форму летчика, большой, долговязый и неожиданно присмиревший, он шел за своей маленькой спутницей, точно слон за поводырем.

Лето в тот год было не жаркое. Шло много дождей. Парковая зелень еще сохранила всю свежесть и упругость. Со стороны реки тянуло влажным холодком. Мокрый песок дорожки слегка скрипел и пружинил под ногами.

Нина болтала.

Она говорила обо всем одновременно: о том, что сдать зачеты на «отлично» не такое уж простое дело; о том, что на Москва-реке неприятно купаться; что новый роман Тынянова ей не понравился; что на Санковской мануфактуре введена какая-то особенная окраска тканей; что профессор Оршанский — пустобрех, ибо из его нашумевшей теории остаточных величин не следует никакой практической выгоды для производства. В ее мозгу уживалось множество разно-

родных предметов. Обо всем она говорила с одинаковой страстью.

Хлынов с прискорбием установил, что словоохотливая эта девчонка знает куда больше, чем он. Она с одинаковой легкостью вспоминала и цифры предполагаемого в этом году урожая, и цитировала какие-то странные стихи, в которых Хлынов не понимал почти ни слова.

Нина вообще превышала степень его разума.

— Вы читаете Пастернака? — спрашивала она утвердительным тоном, словно речь шла о ежедневной чистке зубов. — Ну так вот, это вам наверно понравится...

Она читала стихи нараспев, вкладывая в них избыток собственного чувства. Слова текли мутным потоком, в котором Хлынов не различал смысла. В ответ он только неопределенно мычал, выражая этим не то восторг, не то порицание. И в конце концов, он начал даже злиться.

Где-то в глубине парка ему пришла в голову мысль схватить эту девчонку и ...поцеловать ее. Наверное, тогда все сразу прояснится, и он перестанет быть болваном, над которым произносят заклинания. Пилот даже и попытался так сделать. На каком-то крутом спуске аллеи он бесцеремонно взял Нину под руку. Девушка поблагодарила, но посмотрела так, что охота к решительным действиям пропала.

Они уселись на одном из холмов на скамейку. В просвете деревьев поблескивала река, виден был противоположный берег. Огромное глянцевое солнце висело над городом, точно бумажный фонарь. Нина постепенно притихла. Прищуриваясь, она смотрела куда-то вверх. То ли это был эффект выгодного освещения, то ли на самом деле, но лицо девушки казалось озаренным. Хлынов видел свежую девичью щеку и нежный пушок на ней. На ресницах Нины, как капельки ртути, дрожал розовый свет. Казалось, вся она, от желтых туфелек до кончиков ушей, сияла и лучилась. Не бог весть какая новость была во всем этом для выдавшего виды пилота, но он чувствовал в эту минуту непонятную благодарность ко всему на свете. Он был доволен, что в мире есть солнце, деревья, посыпанные песком дорожки, реки,

города и... девушки, такие вот, как Нина. Впрочем, такой, наверное, больше не было. Хлынов искоса посмотрел на соседку и вдруг почему-то решил, что настоящая его жизнь начинается только завтра.

То, что было завтра, Хлынов однако вспоминал потом без особого воодушевления. Его бросало в пот при мысли, что он самым глупым образом промолчал всю прогулку с Ниной. В следующий раз он не хотел показаться ей отсталым человеком и потому... натащил к себе в комнату кучу книг со стихами.

Это был странный и темный мир, в котором не так-то легко было освоиться. Хлынов впервые в жизни имел дело с таким количеством слов, лишенных прямого практического смысла. Читая стихи, он смахивал на человека со здоровым аппетитом, который вынужден питаться воспоминаниями от прошлых обедов.

У него была хорошая память. Чтобы щегольнуть перед новой приятельницей, он набил себе в голову, как в чемодан, разного стихотворного тряпья. Правда, у него, как он потом и сам признавался, все эти дни было такое ощущение, словно в голове шуршит солома. Но это можно было с грехом пополам терпеть. Зато при следующей встрече с Ниной он и выпалил в нее целую обойму цитат.

— Хлынов! Что с вами делается? — расхохоталась Нина. — Откуда вы набрались такой дряни? Кто это испортил ваш вкус! Мне придется взяться за вас всерьез!..

При запоминании пилот смешал в одну кучу поэтов разных школ и направлений. Он чувствовал себя в положении школьника, перевравшего на уроке нужную формулу. И эта истязательница смела еще смеяться!

— Знаете что, Хлынов! Я займусь вашим воспитанием. Только это не безвозмездно! За это вы научите меня управлению самолетом. И вообще поспособствуете моей воздушной квалификации.

Потом, наступили трудные, но приятные дни. Нина тормошила Хлынова неустанно. Новые знакомые чуть ли не ежедневно ходили по лекциям, музеям и библиотекам. Од-

нажды обнаружилось близкое знакомство Хлынова с фарфором, и это приятно поразило спутницу. Пилот признался, что питает слабость к вещам. Он знал секреты бывшей гарднеровской фабрики, редкие способы цветной накладки и разные стили в орнаменте. Но тут же рядом открывалось его невежество в живописи, или полная невинность насчет некоторых исторических имен.

— Хлынов! — смеялась Нина. — У вас голова, что новый кооперативный дом: телефон и автоматическая кухня имеются, а вот дверных ручек нет. Вас еще достраивать надо!..

Пилот сам прекрасно понимал это, и старался спешно достраиваться. В том году он окончил Воздушную академию, защитил большую дипломную работу о высотных полетах и поставил несколько новых рекордов. Он глотал недостающие ему знания с жадностью дорвавшегося до пищи человека. На столе его постоянно теснилась теперь целая толпа разноплеменных книг. Как и во время гражданской войны, он отвоевывал здесь все новые и новые территории, опрокидывая препятствия смелым натиском или упрямой осадой. Спустя несколько месяцев пилот настолько изменился, что Нина уже перестала разговаривать с ним покровительственным тоном.

Дружбе Хлынов не раз пытался придать более чувственный характер, но встречал неизменный решительный отпор. В конце концов, пилот был настолько запуган, что потерял всякую надежду. Постепенно он перестал чувствовать в присутствии Нины даже то томящее беспокойство, которое заставляло его играть роль медведя с кольцом в носу. Казалось бы, все это соответствовало интересам его добродетельной приятельницы. Но вот здесь-то и начались странности.

На Нину накатил волна чудачества и капризов. Иногда она звонила Хлынову много раз в день, торопя приехать по какому-то наинужнейшему делу. В голосе ее звучало такое нетерпение, что пилот мчался по городу, вися на подножках трамваев.

Когда же он входил к Нине, то заставлял ее скучающей, холодной, чуть не спящей и, во всяком случае, равнодушной к его появлению. То Нина исчезала на недели и не отвечала на звонки и письма, а то сама писала каждый день. То она хотела видеть его ежевечерне, а то вдруг объявляла, чтобы он не смел показываться.

Будь Нина взрослее или испорченной, Хлынов заподозрил бы в этом преднамеренность. Но он хорошо изучил за год эту сердитую девчонку и знал, что ни обилие знаний, ни суровость чувств не мешали ей быть наивной.

Хлынов решил, что Нина просто заработалась, кончая институт, и основательно растрепала нервы. По праву доброго приятеля он приехал к ней однажды с решительным намерением направить заблудшую душу по истинному пути.

— Собирайся-ка, Нина, да и поезжай в Гурзуф. Путевку завтра достану. А то ты рассохлась и скрипишь, как телега. Терпенья нет!..

Хлынов был даже груб, полагая, что в этом виде его заботливость покажется не такой навязчивой. Нина лежала на диване, и смотрела на летчика с недоумением и почти с враждой. Комнатка была настолько мала, что между нею и Хлыновым оставался лишь метр пространства.

Девушка вскочила с дивана и встала перед гостем в угрожающей позе, почти наступая ему на ноги.

— Ага! — с недобрим спокойствием произнесла она. — Преданный друг жертвует своей путевкой, чтобы спасти приятеля! Добро, добро! Значит, настолько беспокоишься, что хочешь меня сплавить в какой-то инкубатор? Значит...

Губы у Нины внезапно задрожали, и она самым постыдным образом разревелась, повалившись ничком на диван и подетски всхлипывая.

Хлынов нелепо топтался рядом. Перед таким затруднительным случаем он чувствовал себя совершенно беспомощным. Чорт его знает, как следует обходиться с плачущими женщинами. Это вам не самолет, где все точно, как в аптеке.

В конце концов? следовало все-таки как-то вмешаться. Хлынов кашлянул раз-другой и тронул девушку за плечо. Хоть воды, что ли, предложить, да рассказать, какие в Гурзуфе тополя! Или, может, лучше смыться, пока гроза пройдет, да потом по телефону поговорить!..

От прикосновения хлыновской руки Нина вздрогнула, точно от ожога. Она приподнялась и села на диване, не скрывая заплаканных глаз.

— Ладно, Матвей! — с решимостью и почти уже спокойно сказала она. — Ладно, Матвей! Всю эту музыку, в самом деле, кончать нужно. Поезжай, пожалуйста, к себе, и больше ко мне не являйся. Я уеду, но только не в Гурзуф. Тут меня на фабрику в Иваново приглашают. Поеду маркизет раскрашивать.

Нина отвернулась, давая знать, что разговор, по ее мнению, исчерпан. Впрочем, плечи ее снова подозрительно задрожали, и она со злостью крикнула:

— Да ну же! Иди же!

Все это было для Хлынова слишком сложно. Вместо слез он предпочел бы, пожалуй, простую и честную ясность. Еще не находя нужного слова, но чувствуя к вздрагивающим плечам густую припадочную нежность, Хлынов сел рядом с девушкой на диван.

— Знаешь что, Нина? — сказал он. — Знаешь, что мне пришло в голову?..

Хлынов вдруг улыбнулся и повернул девушку к себе лицом:

— Выходи-ка за меня замуж!..

II

Стекла кабины покрывались тончайшим слоем изморози. Навстречу ревущему лаковому комку неслись переулки, улицы и повороты. Машина то резво рвалась вперед, скользя, точно сани, по обледелым асфальтовым полям, а то вдруг тормозила, спотыкаясь о стрелки светофоров.

Хлынов несколько раз порывался постучать шоферу и попросить его ехать осторожнее. Однако, что-то мешало ему это сделать. Не замечая холода и забыв надеть перчатку, он обнимал сидящую рядом жену. Его изумляли шевелящиеся в нем смешные и неизвестные раньше чувства. Он ощущал под рукой полную тяжесть женского тела и живую упругость плодоносного живота. Пальцы его осязали пробивавшееся сквозь беличью шубку тепло. Нечто звериное и неосмысленное поднималось в нем.

Покачиваясь при поворотах машины, Нина прижималась к кожаному плечу мужа. Ей приятны были растерянность и суетливость Хлынова, проявленные после того, как выяснилась необходимость ехать. Путь до акушерской клиники был длинный. Маленькая женщина, на розовом лице которой, как тени, лежали серые пятна беременности, встречала взгляды мужа со снисходительной ласковостью. В ней было нечто от того убежденного самоуважения, какое возникает у людей, занятых большой важности делом.

Живот ее мягко пульсировал, ритмично толкая ладонь Хлынова. Пилоту казалось (а, может быть, это так и было), что он чувствует под рукой бег ее крови. За теплым прикрытием, словно за стеной, происходило тайное движение частиц, создававших новую жизнь.

Вдруг что-то дрогнуло или шелохнулось в недрах этого напряженного лона. Это был глухой и короткий стук, словно кто-то слабо, но требовательно торкнулся в дверь. Торкалось в жизнь новое существо. Ножка или ручка ребенка стучалась в стенку живота.

Если на свете существовало настоящее чувство отцовства, то Хлынов в эту минуту испытал его. Целое море нежности к этой женщине и к бывшей в ней второй жизни захлестывало его. Он уже любил неявившегося на свет человека, заявлявшего о себе подземными толчками. Невольно напрягаясь при рывках и поворотах машины, он крепче прижимал к себе податливое тело жены. Он принимал на себя всю его тяжесть, стараясь смягчить тряску. Окутывая полами шубки колени Нины, Хлынов заглядывал под берет

и встречал обращенный внутрь взгляд. Женщина тоже прислушивалась к бродящей в ней жизни. Лицо ее было сосредоточено и отрешенно.

Некоторое время жена и муж молчали, довольствуясь бессловесным взаимопониманием. Все равно, больше того, что они чувствовали, сказать было нельзя. Оба они, и Нина и Хлынов, давно уже выяснили свое отношение к предстоящему событию.

Наряду с подготовкой к полету, Хлынов давно уже готовился к встрече первенца. То ли говорила в нем древняя крестьянская кровь, то ли любовь к жене, но он ожидал рождения ребенка, как праздника. На растущий живот жены он смотрел с гордостью хлебопашца, видящего, как наполняются закрома зерном. Детские универмаги приобрели нового покупателя. Среди бумаг и чертежей Хлынов начал притаскивать домой пузатые свертки с обновками для будущего человека. Уже давно была куплена корзина, в которой предстояло спать ребенку в первые месяцы. Маленький волосяной тюфяк изготовлялся по всем правилам гигиены. Тальк или распашонки становились в центре ежедневных дискуссий. Нина смотрела на суету мужа с конфузливим умилением.

Она всегда была несколько сдержана в проявлении своих чувств, эта маленькая женщина. Прожив с нею несколько лет, Хлынов все-таки не был уверен, что знает ее в совершенстве.

Она не была женщиной холодной, но на пути ее чувств всегда стоял добрый цензор. Она и мужа обнимала с тем суровым целомудрием, которое лучше всяких слов говорит о чистоте помыслов. Немножко испорченный своей прежней холостяцкой жизнью, Хлынов, однако, легко уступил силе этой победной наивности. Боясь спугнуть очарование ясности, принесенное Ниной, он приближался к ней с осторожностью птицелова.

Машина повернула в сторону и пошла более ровным ходом. По-видимому, выехали уже на загородное шоссе, где движение было свободнее. Хлынов колупнул ногтем заин-

девшее стекло и заглянул на улицу.

— Скоро приедем! — сказал он на вопросительный взгляд жены.

— О чем это вы так шумно дискуссировали с Федором? — неожиданно спросила Нина. — Даже у меня в комнате крик был слышен. Что у вас там стряслось?

Судя по взыскательной пытливости тона, у жены был свой ход мыслей, не вполне совпадавший с мыслями мужа. Хлынов быстро глянул на Нину и немножко замялся:

— Да так, знаешь... о всякой ерунде. Раздражает меня иногда хваленая его любезность... Ты все ли с собой захватила?..

— Ты не увиливай, Матвей! Скажи, всё-таки, о чем вы с Сажиним шумели? Не ладится что-нибудь?

В голосе Нины звучала сдержанная тревога. Лгать перед женой Хлынов не привык, а без лжи в данном случае обойтись было трудно.

— Да что ты ко мне пристала? — всерьез возмутился он. — Да просто мы с Федором насчет Латпарского перевала поспорили: проходим он в марте или нет?

Два года сряду Хлынов и Сажин путешествовали пешком во время отпуска по Сванетии. Прогулки настолько их увлекали, что подробности маршрута обсуждались обычно задолго до поездки. Объяснение казалось правдоподобным, но Нина только недоверчиво улыбнулась.

— Хитришь ты что-то, Мотья! — сказала она. — Уж слишком бурно вы эту тему обсуждали.

Приступ новых схваток заставил ее сморщиться и замолчать. Полуплача, полуулыбаясь, она смотрела на мужа взглядом мучаемого животного.

— Да чорт с ними со всеми! — испугался Хлынов. — Плюнь ты, пожалуйста, на все. Сделай милость! Твоя забота сейчас родить. Понимаешь — родить! Душа у тебя должна быть, как стеклышко, а ты во всякую дрянь лезешь!..

Хлынов засуетился около жены и, бормоча что-то, заглядывал ей в глаза. Не зная, чем помочь ей, он тискал слегка ее плечи и жал руки. На лице его тоже появилась грима-

са, словно то, что ощущала женщина, передавалось по невидимым проводам и ему.

— Ну что? Больно, Нинок? — спрашивал он.

Жена, преодолевая боль, ободряюще улыбнулась.

— Эх, ты, медведушко! — через силу, но ласково произнесла она.

Точно уступая этому усилию нежности, схватки внезапно стихли.

Нина несколько отодвинулась от мужа, как бы желая разглядеть его получше.

— А ведь я люблю тебя! — с искренним изумлением, почти с испугом, весьма серьезно прошептала она. — Очень люблю!

Хлынов поднял брови и рассмеялся. Вот уж поистине открытие после четырехлетнего сожителства! Делать подобные признания на пороге акушерской клиники могла только Нина.

— Так-таки и любишь? — в тон жене, с юмористическим удивлением воскликнул пилот.

Она сообразила, наконец, что сказала глупость, и сердито ткнулась в плечо мужа. Хлынов повернул ее и поцеловал в губы.

Он любил в жене ненамеренное соединение суровости с ребяческой простотой. Женственность в Нине, как и полагалось, состояла наполовину из остатков детства. Она была достаточно умна, чтобы понимать это, а потому-то и смущалась. Ведь, кой грех, муж мог принять ее слова за кокетство!

— Ты не очень-то зазнавайся! — строго говорила она. — Я еще посмотрю, стоит ли тебя любить. Это еще заработать нужно!

Хрипло взревев, авто подлетело к подъезду клиники, и через минуту Хлынов уже вводил жену в вестибюль...

III

Возвращаясь из клиники, Хлынов доехал до Свердловской площади и отпустил машину. Ему захотелось пройтись по улице, да и, кроме того, он просто не знал, как разумнее использовать сегодня время.

Конечно, он бы не спрашивал себя, что делать, если б не эта внезапная отсрочка старта. По данным Бюро погоды, в ближайшие дни можно было ожидать условий, благоприятных для полета. Он поехал бы, как наметил вчера, на аэродром, условился бы насчет подготовки поля, договорился бы о газгольдерах, инструктировал бы людей. При мысли, что дело должно стоять из-за неопределенности положения, Хлынов уже по-прежнему распалялся. Пока он хлопотал около жены, все отступило временно в сторону. Теперь же, наедине с самим собой, он вновь возвращался к исходным мыслям.

Он быстро шел вверх по Петровке, с силой толкая свое тело. Определенной цели у него не было, и он шел, чтобы идти, чтоб что-нибудь делать, а не стоять дураком на перекрестке и не дивить прохожих. Как многие волевые люди, он находил в избытке деятельности некоторое успокоение.

Самое смешное было в том, что Хлынов, в сущности, не знал своих противников. Как шахматист, ведущий разом много партий, он видел только движение фигур, но не распознавал управляющих ими рук. Он угадывал строящийся против него план, но не знал его автора. Среди группы людей, участвующих в подготовке полета, он, по совести говоря, не мог назвать ни одного явного врага. Правда, из всего этого ровного фона назойливо выплывало одно лицо. Пилот ясно представлял себе гладкие бритые щеки и надменную складочку около губ, шевелящую хвостиком, точно холерный вибрион.

Это была война посложнее той, какую он знал в восемнадцатом году. Поди-ка, распознай среди устраивавшихся под новым солнцем пиджаков и гимнастеров истинных своих врагов и друзей!

Теперешнее умонастроение пилота заставляло его замечать в толпе только неприятные лица.

Рыхлое земноводное, в каком-то пятнисто-зеленом пальто, наскочило на него и выпучило глаза, подобно жабе. Остренький носик и частые оглядки молоденькой разносчицы напомнили нечто крысиное или лисье. Проскользнул мимо плеча хищный мужской экземпляр в полосатых меховых сапогах. И уж, конечно, душа бегемота жила вот в этой широкомордой орысине, ломящейся по улице с фырканьем и сопеньем. Город нынче смахивал на джунгли, где все еще царствовали законы крови и коварства.

Пилот пересек улицу и остановился у витрины цветочного магазина. Некоторое время он бессмысленно, ничего не воспринимая, смотрел на бушующие за стеклом краски. Казалось, розовые и белые плевки покрывали пол и прилавки магазина. Багрово сочились рваные раны тюльпанов. Желтые астры, точно чудовищные папиломы, вздувались из бумажных корзин. Пржилки крови проступали на голубоватых лепестках петунии. Витрина вызывала образ мясной лавки или мастерской живописца из «диких».

Мир деформировался у него на глазах, словно подземная ржавчина съедала все его прелести. Вероятно, по контрасту с уличным холодом пилот заметил, наконец, эту, кокетничавшую перед ним, консервированную весну. Томимый каким-то неоформившимся чувством, он задержался здесь на минуту-другую дольше, словно он силился и не мог вспомнить что-то очень важное.

Рядом помещался знакомый магазин, торгующий старыми вещами. В широкое его окно Хлынов заглянул уже по привычке любителя.

Он увидел цветочную вазу, темная поверхность которой была покрыта неразличимым отсюда орнаментом.

Лицо лежащей на койке жены возникло перед пилотом.

Ба! Да ведь ей нужно послать в клинику цветов! Кстати, и вазу можно купить, чтобы букет выглядел попризрадничнее.

И, довольный явившейся мыслью, Хлынов толкнул массивную дверь магазина.

IV

Неизвестно где и когда возникла у Хлынова эта страсть, над которой немало потешались его приятели. В комиссионных и антикварных лавках он топтался по-воровски, за спинами покупателей. Нередко он приценивался к ненужным ему вещам, к пальто, примусу или шляпе, тогда как на самом деле пожирал глазами какую-нибудь старую люстру или причудливый постамент. Если ему доводилось сделать покупку, он просил тщательно ее упаковать, и нес домой чуть ли не под полой, скрывая от взглядов прохожих.

Больше всего Хлынов любил старый фарфор и хрусталь. Он находил непонятное для других удовольствие в разглядывании резьбы на каком-нибудь стакане или оттенке окраски на фарфоровой чашке. В хрустале ему безотчетно нравилась тайная игра света, ясное ледяное сияние его граней. Он чувствовал пальцами гладкую кожу фарфора, отдыхал взглядом на матовой его белизне или следил за хитрым мерцанием накладного рисунка. Его прельщал вид старой вещи, одиноко стоящей где-нибудь на шкафу. Если б у него было побольше средств, он превратил бы свою квартиру в склад старья.

Впервые познакомившись с Хлыновым, Сажин удивился обилию в его комнате бесполезных вещей. Он никак не мог объяснить, зачем попали все эти вазы, статуэтки, графины и сосуды. На столе Хлынова стоял тогда большой бюст Данте. Тонколикий аскет в монашеском клобуке смотрел незрячими глазами куда-то поверх головы сидящего за столом пилота, словно был обижен его соседством.

— Слушайте-ка, Матвей Васильевич! — не удержался от вопроса Сажин. — Где это вы подцепили такую штуку? И зачем вам, собственно, Данте?

Хлынов смутился и неопределенно шмыгнул носом. Это же был фатум: все спрашивали его о недавно приобретенных вещах.

— А я это вместо вешалки, — прогрохотал он, — Видите, у него голова колом, так я на нее фуражку вешаю...

С тех пор Сажин выражал свое удивление осторожнее. Как-то он разговорился об этой хлыновской причуде с доктором Решетовым. Физиолог полушутя, полусерьезно истолковал страсть Хлынова так:

— Бывает, знаете, у людей что-то такое вроде умственного вывиха, — сказал он, — этакая душевная секвестрация. От общей, так сказать, массы человека отщепляется какая-нибудь странность, каприз, совершенно не вяжущийся со складом личности. Вот, например, знаю я одного профессора. Умница, сукин сын! Можно сказать, Ньютон в своей области! Человек тончайших мыслей! А вот подите ж. Каждый вечер играет с кухаркой в дурачки!.. Играет, и на лице, знаете, такое удовольствие написано, словно он небесную амброзию вкушает. Чертовщина, но факт! Так, надо полагать, и с вашим другом...

В знакомой теснине магазина господствовал тот самый полусвет, который почему-то всегда свойственен букинистическим и антикварным лавкам. По задней стене были развешены холсты — большею частью масляные репродукции — в тяжелых золоченых рамах. Вдоль полок и прилавков мерцали различные вещи: стекло, бронза, фарфор. И весь этот пестрый и вкрадчивый хлам, оваянный сумраком и пылью, казался, как всегда, заманчивым и одухотворенным.

Хлынов рассматривал интересовавшую его вазу. По темному фону, покрытому черным лаком, был тонко выскоблен хитроумный орнамент, представлявший дерущихся петухов. Мастерской рисунок схватки поражал реальностью положений. Перья раздувались на петушиных шеях, как жабо. Кратерного типа по форме, ваза была добротной подделкой под красно-фигурный стиль. Хлынов вертел ее, ощущая в пальцах ту самую дрожь, какую будущие психопатологи назовут, вероятно, *pruritus antiquarius profundus*.

Старые вещи волновали его неразгаданностью своих судеб. Они будили его пытливость и раздражали фантазию.

Каждая из них влекла за собой толпу видений. По смутным признакам и деталям мастерства он угадывал их быт и окружение.

Вот эту самую вазу он видел в момент ее рождения, в руках неизвестного мастера. Он мысленно следил за движениями умных рук, выскабливающих хитроумный рисунок. Сколько странствий и приключений мог пережить этот жалкий глиняный комочек?!

Антикварные познания пилота были, однако, невелики, и он затруднялся определить время рождения этой вазы. На помощь, как всегда, пришел знакомый продавец.

— Матвеем Васильевичу привет! — сказал он, подходя и свойски улыбаясь. — Вазочку присматриваете? Советую! Вещичка недурственная!

— Что это за работа, откуда она? — спросил Хлынов, пожимая протянутую руку. Знаток он из себя не корчил и охотно пользовался чужой эрудицией.

Продавец придвинул вазу к своим близоруким глазам. Седенькая его бородка дернулась раз-другой, словно он употреблял ее вместо метелки. Он принадлежал к породе тех добродушных и словоохотливых людей, которые никогда не упускают случая щегольнуть своею ученостью.

— Предмет это довольно тонкий, — важно сказал он, — но я думаю, что это работа одной русской крепостной мастерской, существовавшей этак лет семьдесят назад. Она принадлежала видному дворянчику, который много путешествовал по Италии, хорошо знал античные вещи и завел у себя в имении художественную мастерскую. У Шевырдина в «Русской керамике» записано, что господин этот занимался делом не бескорыстно. Из Италии он привез какого-то очень способного, но забулдыжного мастера, ловкача по античным подделкам. Подделки шли хорошо и даже в некоторые музеи попали. Мастер был, видно, человек веселый. Вместо клейма он ставил на изделиях начальные буквы известного изречения: *errare humanum est*, то есть, что человеку свойственно заблуждаться. Вот видите, эти буквочки и здесь имеются!..

На дне вазы, в самом деле, были вытеснены три мельчайших буквы. Она окутывалась уже дымкой событий, и судьба ее становилась зримой. Пилот видел тесную крепостную лачугу и головы склонившихся над глиной «мастеров». Забудыга итальянец ругался, вероятно, всеми страшнейшими итальянскими ругательствами, подмешивая в них свежее усвоенное российское словцо. Хозяин его был человеком деловым, и сочетал любовь к античности с талантами пройдохи. А ведь, пожалуй, это сочетание полезного с приятным и вообще легко дается людям? Разве такой вот, как Моложаев, упустит когда-нибудь случай урвать у судьбы надлежащий кус?

Незаметно в мирную беседу с продавцом вмешались воинственные заботы дня. С тем большим неудовольствием пилот поймал себя на этом и, встряхнув головой, постарался отвлечься.

— Ведь это же вкус! — убежденно шептал продавец, — Ведь это же мастерство! Посмотрите-ка сюда повнимательнее!..

Ваза вращалась в его руках, точно глобус. Черная ее гладь светилась мрачным светом. Рисунок то мерк, то выступал, как кровь. Окраска здесь и в самом деле напоминала о мастерстве античных изделий.

Ну и смеялся же, наверное, этот ловкач над антикварными простаками, принимавшими его вазы за античные? Работа, надо признать, ловкая! Не подкопаешься! Настоящие жулики всегда были мастерами, чтоб чорт их побрал!

Хлынов, конечно, не мог не заметить, что жар этого мысленного ругательства направлен по какому-то, более близкому адресу. Сегодняшний исторический рейс был полон оглядками на действительность. Мысли шли в голове окольными путями. Тайная работа беспокойства не прекращалась. Вот она-то, вероятно, и мешала безмятежному — созерцанию искусной вазы.

Ну и зачем, спрашивается, вот он, здравомыслящий человек, у которого куча житейских осложнений, и жена родит, к тому же, стоит здесь перед болтливой старикашкой и

лупит глаза, как болван, на какую-то глиняную банку? Эх, Хлынов, Хлынов! Путаная твоя башка! Вот за это, надо полагать, ты и платишься, что в жизни много места пустякам уделяешь. Замыслы-то у тебя прометеевские, а кожа-то простая, человечья. Уж если во всем преуспевать хочешь, так надо на душу себе броню натянуть!..

Впрочем, вазочка-то все-таки была вещицей занимательной. Оценивая достоинства орнамента, продавец разбирал перипетии петушиной драки и посмеивался.

— Мастер-то на помещицьем дворе немало петушиных склок видел, — говорил он, — Видите, как ловко у него этот петушишка грудь-то выпятил? Знает себе цену, драчун красноперый! Ну, а этот-то уж и голову на бок клонит! Этому уж, понятно, несдобровать. Вишь, как его кокают! Так и долбят, так и долбят! То-то, милый, не надо голову набок свертывать!..

Хлынов неожиданно рассмеялся и похлопал продавца по плечу. Между антикварной этой болтовней и его собственным настроением обнаружилась какая-то очень непосредственная связь. И разве это было не так, в самом деле? В его положении совсем не следовало класть голову на бок! Попрямее ее держать надо! Уж коли драться, так драться! И там еще посмотрим, кто кого!

Непонятная веселость покупателя, видимо, озадачила продавца. Седенькая его борода, покрытая, как старая бронза, густой зеленью, обидчиво дернулась и сурово повисла над прилавком.

— Завернуть прикажете? — сразу же переходя на официальный тон, сухо спросил он.

И пилот, чтоб как-нибудь смягчить нанесенную старику обиду, заискивающе его поблагодарил:

— Спасибо, Хрисанф Петрович! Большое спасибо! Вы не очень уж запаковывайте. Все равно сейчас в дело пойдет. Тут у меня жена, знаете, того, в клинике лежит. Надо цветов ей послать!..

VI

Граненое здание ФТИ, пронизанное зимним солнцем, лежало в сугробах двора, точно парфюмерный флакон, обложенный ватой. Привычным напором плеча Марк осилил тяжелые двери подъезда и отдал пальто раздевальщице. В следующий момент он уже бежал по коридорам той подпрыгивающей походкой, по которой его узнавали здесь все сотрудники института.

Перед глазами Марка все еще мельтешила вокзальная суeta. Ну и чудак же был его отец! Стоило же приезжать за тридевять земель, чтобы через час отправиться обратно! Марк шел за только что двинувшимся составом, усердно кивал на прощанье головой. Отец стоял на площадке вагона и хмуро смотрел в сторону. Лицо его было спокойно и равнодушно, но Марку почему-то было очень жаль старика. Вот это тревожное чувство он так и привез с собой в институт, не успев еще его осилить.

Впрочем, в знакомых институтских пролетах, с цепью рассыпавшихся по сторонам дверей, Марк уже чувствовал себя спокойнее. Это был своеобразный рефлекс, действие благодатной привычки. Входя в институт, Марк ощущал прилив делового возбуждения, и будний его день начинался тотчас же, как только он попадал в извилистое коридорное русло.

Через десяток шагов Марка остановила вывернувшаяся из ближайшего кабинета девушка в синем лабораторном халате.

— Слушай, Марк! Это же безобразие! — гневно заговорила она. — Разве мы для того брали ребят под свое шефство? Сегодня мне по секрету сказали, что Генька и Хруст удирать от нас собираются. И вид у них в самом деле аховый! Обязательно уйдут!..

Девушка в возбуждении уцепилась за карман Марковой куртки. Лицо ее было густо забрызгано веснушками. Глаза потемнели от искренней злости.

— И правильно сделают! — говорила она. — Правильно сделают, что уйдут! Разве так людей перевоспитывают? Поместили их в мастерскую, не договорившись как следует с мастером. Он их поставил на такую работу, что даже на кино выработать нельзя. В общежитии их ничем не снабдили... Эх, вы, горе-перевоспитатели! Нужно тебе сегодня этим заняться!..

По мере слов девушки Марк постепенно хмурился.

— Что ты за вздор мелешь, Зина! — возразил он, наконец. — Да разве я не договаривался обо всем?.. И с директором, и с завхозом, и с мастером?

Месяца полтора назад комсомольская ячейка института взяла из приемника под свое шефство двух беспризорных. Их устроили на работу в институтскую мастерскую и поместили в общежитие. Однако, комсомольцы, которым поручена была воспитательная работа с подшефными ребятами, видимо, работали плохо.

— Тут мало было говорить! — почти кричала Зина, тербя Марка. — А ты сам все проверил?.. Сам бы почаще у них бывал... А еще комсоргом считаешься!..

— Ну, ты того... не рви карман-то! — сказал Марк, освобождаясь. — Не впадай, Зинка, в панику! Сегодня я проверну все это дело. Сам схожу, успокойся!..

Спустя минуту он входил в свою лабораторию.

Этим именем называлась небольшая комната, сплошь заставленная разнообразной аппаратурой. Ставни и шторы были сейчас открыты. Пронзительно сияли стеклянные и металлические части, шары, выпуклости, колонки. Центральное место занимал электронограф, укрепленный на тяжелой дубовой подставке. Несколько использованных рентгеновских трубок располагались на специальном стенном штативе. В прозрачном тугоплавком их стекле свет концентрировался жгучими каплями. Казалось, ряд глазных белков с блестящими острыми зрачками смотрел на Марка со стены.

В лаборатории никого не было: двое сотрудников Марка ушли, по-видимому, завтракать. У окна, прикрытая куском

материи, стояла вильсоновская камера. Одного взгляда сюда было достаточно, чтобы установить, что «Физприбор» не прислал еще заказанных деталей, Если бы старт не был отсрочен, пришлось бы, вероятно, использовать только электрометры. Марк выругался сквозь зубы и сел к столу, чтобы набросать по заведенной привычке примерный план задач предстоящего дня.

Чорт побери! Это же была не просто работа, требовавшая лишь известного количества знаний и терпения. Это было важное дело всей страны, и дико казалось, что некоторым людям нужно это усиленно втолковывать. Марк вспомнил свои ссоры с Грудским, который опаздывал или совсем не приходил на назначенные совещания. Марк рассказал об этом Хлынову и послал в партийную организацию возмущенное письмо. Инженер после этого поджимал при виде Марка губы, но зато стал необыкновенно аккуратен. То же было и с директором «Физприбора». Переругиваясь с ним по поводу неправильно понятых на заводе чертежей, он назвал его «шляпой» и устроил крупный «там-тарарам». Марка даже вызывали потом в райком и внушали насчет уважения к старым партийным работникам. По-видимому, требовалось устроить скандал посерьезнее, чтобы заставить его работать как следует.

Первый пункт дневной повестки гласил, поэтому, кратко: распот. Сквор. Это означало — «распотрошить Скворцова», директора «Физприбора». Маленький клочок бумажки быстро покрывался убористыми строчками. Стараясь припомнить, все ли им учтено, Марк тер кулаком висок и кусал карандаш.

...Он был ученым по инстинкту и экспериментатором по призванию. В детстве он, например, вспарывал свои игрушки, услышав в них какое-нибудь побрякивание. Его не смущало, что он находил в картонном чреве лишь ничего не значащий сор. Вещи издавна томили его своим неразгаданным устройством.

Когда он впервые познакомился со строением вещества, мир поразил его множеством подобий. Атом был маленьким

космосом, заключавшим в себе все чудеса вселенной. Вокруг тяжелого и плотного ядра вращались легкие живые электроны. Это было подобно бегу планет вокруг огромного солнца. Легко можно было вообразить, что и настоящие солище и земля, на которой он жил, были лишь ничтожнейшими из атомов мироздания.

Вначале Марк оскорбился совершенством этой картины. Было жалко, что и здесь он родился слишком поздно, и что, по-видимому, нельзя уже создать теории, более могучей. Казалось, что его обокрали, преждевременно раскрыв загадки бытия. Впрочем, отчаяние это держалось недолго. Став студентом, а потом и аспирантом ФТИ, Марк понял, что на его век работы хватит. В совершеннейшей из теорий на его памяти образовывались пустоты, которые нужно было заполнять. В неразличимой вначале массе атомного ядра были открыты протоны, нейтроны, позитроны. Движение вглубь вещества оказывалось столь же бесконечным, как и вширь. Работа исследователя весьма отличалась от того представления, которое Марк о ней создал. Кроме праздников, в науке, как и в строительстве социализма, были свои будни. Кроме удивительных открытий, существовала еще медленная и скромная работа накопления. Нужно было воспитывать в себе добродетели терпения. И Марк занялся этим самовоспитанием с горячностью маниака.

Несколько проделанных под руководством Волженцева работ познакомили его с радостью обыденных дел в науке. Его статья о расположении атомов в кристаллической решетке нашатыря была напечатана в европейских журналах и получила отзывы крупнейших специалистов. Марк познал удовлетворение удачно законченным опытом. Он уже не огорчался неприятностью своих обязанностей и с увлечением возился с утра до ночи с капризничавшим электронографом. Втайне, однако, он мечтал, хотя и едва ли соznался бы в этом, о неожиданной удаче, о счастливом открытии или о головокружительной догадке, которые разом толкнули бы науку вперед. Вот почему представившаяся

ему возможность исследовать в полете космические лучи поднимала в нем все его тайные надежды.

Они поражали его фантазию неимоверной своей силой проникновения, эти загадочные лучи. Скорость движения частиц достигала здесь предела, близкого к скорости света. Теории для описания поведения таких частиц еще не существовало, ибо теория квант была пригодна лишь для электронов с не слишком большими скоростями, а теория относительности имела дело с телами неатомных размеров. Космические лучи давали право предполагать, что там, в глубинах вселенной, происходит гигантский распад вещества. Они несли с собой, быть может, разгадку атомного разложения.

Марк изучал опыты Милликена, искавшего экран для защиты от этих лучей. Космические лучи способностью проникновения далеко превосходили хорошо изученные лучи Рентгена.

Он с детским восторгом прочел отчеты Пикара и советских стратонавтов о результатах наблюдения над космическими лучами во время полета. Он с удовольствием цитировал потом, что «объяснение природы космических лучей, быть может, имеет значение и для практического технического прогресса». В сущности, в глубине души, Марк несколько стыдился своих теоретических страстей. Воспитанный в воинственном духе учения, перестраивающего мир, он признавал настоящий вес лишь за той деятельностью, которая имела практическую ценность. Таким образом, уверенность, что проблема космических лучей есть в то же время проблема использования атомной энергии, как бы успокаивала его комсомольскую совесть. Он мечтал о дешевой энергии будущего и о чудесных машинах, питающихся распадом вещества. Он хотел, чтобы страна его первой овладела этим неисчислимым богатством. Таким хитрым способом ученый и комсомолец в Марке легко уживались и шли по одной дороге.

Марк готовился к полету как к битве. Там, на тридцатикилометровой высоте, он должен был вырвать у природы

ответы на все вопросы. Для измерения интенсивности и проникающей способности космических лучей он подготовил электрометры Кольгерстера и Гесса, и кое-какие новые усовершенствованные приборы. Свинцовый фильтр для одного из них он конструировал так, что в случае нужды фильтр мог быть использован в качестве балласта. Для исследования лучей он соорудил, измененную по его мысли, вильсоновскую камеру. Его интересовало также действие лучей на организмы, и он захватывал пробирки с дрожжами, чтобы проследить изменение мутационного процесса. Он горд был сознанием, что первый советский ракетоплан будет вооружен в научном отношении лучше, чем где бы то ни было.

И следовало ли удивляться, что Марк ненавидел всякого человека, который относился к его делу без должного волнения. Первый пункт намеченной дневной повестки был поэтому осуществлен очень бурно.

— Алло! Алло! Это дирекция «Физприбора»? — говорил Марк по телефону: — Это вы, товарищ Скворцов? Это говорит Оболянов. Где детали для нашей камеры?.. Что?.. Ну, так я должен вам еще раз повторить, что вы «шляпа»... Что?... А я вот сейчас в МК буду звонить, чтобы из вас эту бюрократическую привычку повытрясли!.. Что? Ну, а какой же вы директор, если своих работников организовать не умеете? Да, да, не умеете!.. Ну, это все разговоры! Если сегодня к одиннадцати не пришлете, имейте в виду, что вам не поздоровится! Что? Ну, а почему бы мне и ночью не работать? Конечно, буду. Да, да, прямо в институт!..

В короткое время он позвонил в МК, в ЦС, к Грудскому, к Хлынову. Руганью и напором, настояниями и дипломатией он стремился обеспечить доставку деталей. Он решил, что после совещания ночью можно будет поработать, и, таким образом, камера будет к утру готова. На вернувшихся с завтрака сотрудников он набросился с жадностью. Одного уговорил поехать на завод и ждать до тех пор, пока не вручат детали на руки. Другого тотчас же засадил за проверку магневых свечей, с помощью которых должна была произ-

водиться съемка. Для испытания пластинок он мобилизовал человека из соседней лаборатории. Через полчаса добрый десяток людей в поте лица работали на Марка. Сам же диктатор, склонившись над камерой, по привычке бормотал что-то себе под нос и вслух поддакивал собственным мыслям.

— Этак, Маркуша, этак!... Прравильно!.. Пррекрасно!..
Так, как всегда, начался рядовой лабораторный день.

В пятом часу Марк вышел из лаборатории, чтобы совершить очередной рейс по институту.

Ближайший час его был заселен комсомольскими работами. Марк «поцапался» немножко с институтским завхозом насчет благоустройства буфетной. Потом повздорил с библиотекарем по поводу неудобного для молодых аспирантов порядка выдачи иностранных журналов. Дальше он вел дипломатическую беседу с директором, осторожно проповедуя мысль, что престиж их ученого учреждения вполне совместим с шефством над беспризорниками. Наконец, заручившись на этот счет кое-какими уступками и обещаниями, Марк самолично направился в общежитие, чтобы поговорить с Генькой и Хрустом.

Комната для взятых из приемника ребят была тесна и неудобна. В момент появления Марка здесь разыгрывался бунт вещей. Одна из коек была поставлена «на-попа», сломанный стол служил ей подпоркой. На другой койке, в живописной пестроте были разбросаны объедки, колбасная кожа, стакан и опрокинутая водочная бутылка.

Сидя на кроватной спинке, Хруст наигрывал на гребенке бурный блатной мотив. Сожитель его отплясывал трепака. Оба орали в такт пляски знакомую песню:

Гоп со смыком это буду я!

Да, да!

Здравствуйте, товарищи-друзья!

Да, да!

*Ремеслом я выбрал кражу,
Из тюрьмы я не вылажу
И тюрьма скучает обо мне.*

Ребята как будто намеренно не хотели замечать Марка. Сунув руки в карманы, он некоторое время спокойно созерцал пляску.

— Весело живете! — сказал он, выбрав, наконец, момент. — И порядок у вас образцовый, и занятие примерное. Словом, все как полагается у настоящих рабочих ребят.

— Ба! — с преувеличенным и насмешливым удивлением воскликнул Хруст. — Кого я вижу!..

Он соскочил со спинки кровати и бросился к Марку, манерно и пышно раскланиваясь.

— Перестань ломаться, Хруст! — сказал Марк серьезно. — Я с вами о деле пришел поговорить.

— Да, ну! О деле? — с глумливой радостью восхитился Хруст. — Ну, давай о деле. Внимание!..

Он поднял вверх палец и торжественно оглянулся на сожителя. Генька с явным удовольствием наблюдал разворачивающуюся сцену.

— Перестаньте дурака валять, ребята! — еще раз огорченно попросил Марк. — Давайте уважать друг друга.

Он чувствовал, что прежний контакт с этими парнями утерян. Они, видимо, всерьез решили уйти, и насмешливый их тон был демонстрацией вражды.

— Ну, что ж! — тонко ухмыльнувшись, согласился Хруст. — Давай, садись, и начнем сейчас уважать друг друга.

Воспитателем Марк никогда не был и педагогических теорий не изучал.

— А ну, ставь на место койку, чорт побери! — неожиданно вспылil он. — Безобразничать вам здесь никто не позволит. Уж если вы по-человечески разговаривать не хотите, так...

Ему не хватило слов для выражения возмущения, и мысль споткнулась на полуфразе.

— Ну! — свирепо и выразительно выдохнул он.

— Зачем же в бутылку лезть? — впервые серьезно сказал Хруст. — Не кричи, пожалуйста!

После вспышки переговоры приняли более ровный характер. Выяснилось, что ребята обижены отказом завхоза купить им японский бильярд и решили в виде протеста «дать драпу».

— И вообще... скучно у вас! — простосердечно констатировал Хруст. — Когда звали нас сюда, так всего наобещали, а теперь, выходит, надо на своем горбу выезжать...

— Ну, а по-твоему выходит, — перебил Марк, — что вас надо было под колпак посадить, грелками обложить, да с ложечки кормить? Да на что ж нам такие люди? Дунет на них ветер, и «ваших нет». Нам нужны люди крепкие. То не честь, когда на тебя сто няnek дует. Мы вас потому и из приемника взяли; что за стоящих парней почитали. Ну, а видно, ошиблись. Кишка у вас тонка!..

По возмущенному лицу Хруста Марк догадывался, что слова его в какой-то мере действуют.

Ему еще немало пришлось повозиться с ребятами, но, спустя полчаса, он вышел из общежития, облегченно вздыхая. Ведь это же был бы позор для ячейки — взяться за дело и не довести его до конца! Хотя ребята и не решили еще остаться, но обещали подумать, и в общежитии держать себя по-человечески. Чтоб заинтриговать их, Марк рассказал о предстоящем полете и договорился, что ребята будут ему кое в чем помогать.

Ровно в семь Марк вернулся в лабораторию. Сотрудники уже ушли, да и ему самому до получения деталей делать, собственно, нечего.

Зазвонил телефон.

Марк взял трубку, и в уши его тотчас же ворвался свежий, как ветер, толос.

— Это вы, Марк? Здравствуйте. Это я, Анна! Вы должны сейчас в самом спешном порядке прийти ко мне, и чтобы никаких отговорок! Собирайтесь! У меня до вас очень важное дело. Придете — объясню. Живее!..

Голос странно модулировал. Менялись его тембр, высота, тон. Приветствие переходило в приказание.

— Хорошо, Анна! — охотно согласился Марк, — Только не так грозно, а то я могу испугаться. Я зайду к вам через полчаса... Кстати, мне все равно до совещания делать нечего.

— Ну, вот и прекрасно! — ласково рассмеялся голос. — Хотя и «кстати», но приезжайте, миленький Марк, сейчас же! Жду.

Трубка была, повидимому, повешена далекой его собеседницей, но Марк все еще слушал. На шумном телефонном перекрестке бушевала обычная маловнятная суматоха. Кто-то с кем-то переругивался, кто-то тщетно вызывал молчащий номер и страдающе выкрикивал: «Алло! Алло!» Марк вздохнул, словно сочувствуя этому страданию, и в свою очередь повесил трубку.

Уже в коридоре он столкнулся с идущим ему навстречу профессором Волженцевым.

— Тут к вам Анка моя все натрезвонивает, — сказал старик, устало улыбаясь. — Этакое дитячко: все звонки оборвала! Поезжайте-ка к ней, Марк, коли досуг есть! А через часок, может, и я подъеду.

И Волженцев, точно опасаясь сопротивления, с дружеской грубоватостью подтолкнул Марка в спину.

VII

Марк еще до сих пор помнил первую свою встречу с профессором Волженцевым. Получив аспирантуру, Марк явился однажды в электронный отдел ФТИ под грозное начало известного ученого. Он много уже слышал о необыкновенных свойствах этого человека. Костистый старик, окутанный белой бородой, как туманом, холодно осмотрел невидную фигурку нового сотрудника и нехотя тиснул ему руку.

— Да, да! Хорошо! — отрывисто сказал он, предупреждая всякие объяснения. — Я знаю, что вы назначены в мой

отдел. Можете представить мне свои соображения. Учитесь обходиться без нянек! Напишите, что вам от нас нужно! Да покороче, покороче: лаборатория вам не комсомольский клуб! Для науки мало быть комсомольцем, надо еще знать кой-что!..

Профессор ворчал, точно старая дворняга, потревоженная непрошеным вторжением. Косматые его брови неодобрительно шевелились. Голос был густ и тяжел, как смола. Огромный и, видимо, не очень опрятный, судя по засаленным бортам пиджака, неправдоподобно упрощенный и дубоватый, он походил на прасола или гуртовщика, случайно забредшего в ученое учреждение. Марк слушал его воркотню и обиженно думал, что первая встреча могла быть ласковой.

Впрочем, очень скоро выяснилось, что Волженцев не так уж страшен, как могло показаться сначала. Когда Марк принес чертежи конструктивно измененного им электронографа и план работы по определению атомов в кристаллической решетке нашатыря, положение разом изменилось. Старики очень внимательно выслушали мысли молодого аспиранта, и, в конце концов, начал поглядывать на него с неким приятным изумлением.

— Вот поди ж ты! — прямодушно воскликнул он: — бывают же такие случаи в жизни! А ведь я вас за «нахлебника» считал! Ей-богу — за «нахлебника». Вот умора-то! Ну, и умора!

Волженцев неожиданно затрясся в приступе смеха, какой нападает только на очень бесхитростных людей. Прежней строгости его как ни бывало. Не зная еще, как понять эту непредвиденную веселость, Марк и бледнел, и краснел, и готов уже был возмутиться.

— Я же ведь себя физиогномистом почитаю! — продолжал сквозь смех профессор. — Вы не сердитесь на меня, дорогой! Мне, знаете, по некоторым признакам показалось, что физик из вас будет плохой. Вы ведь до сих пор больше на комсомольском поприще подвизались... да и папаша-то у вас персона видная. Это ведь, кажется, отец ваш в

Верхсуде-то?.. По-моему, знаете, опыту выходит, что людям слишком благополучным в науке не везет. Баловням судьбы лишних усилий тратить незачем... они на подножном корму растут. Ну, а наука — это прорва!

Волженцев запустил в бороду огромную свою пятерню, используя пальцы как гребень.

— Наука — это чрево! — обреченно говорил он. — Ей надо всего себя скормить!.. Вы извините меня, дорогой! Приятно ошибиться! Я думаю, что мы с вами сойдемся. Начинайте работу — мысль у вас правильная.

Волженцев протянул Марку руку. Все это было, пожалуй, немножко старомодно, но искреннее волнение всегда действует на людей подкупающе. Старик начал нравиться Марку.

Войдя в институтскую жизнь поглубже, Марк понял смысл волженцевского словца «нахлебник». Старик называл так породу вертящихся около науки людей, не имеющих к ней ни способностей, ни склонности. Они пробавлялись в институте различной администрацией, и с лабораторной работой сродство имели весьма слабое. Хоть Марк и не разделял лютой убежденности Волженцева, что люди эти вполне бесполезны, но сам походить на них не хотел.

Он взялся за исследовательскую работу даже с излишним, быть может, усердием. Вначале дело не ладилось из-за частой аварийности приборов, и Марк просиживал в институте до глубокой ночи. С заведующим отделом у него установились отношения благожелательного выжидания. Волженцев частенько справлялся о ходе работ, но сам в них, по возможности, не вмешивался. Без ущерба для чувствительного самолюбия Марка он давал дельные советы и лишь иногда философически журил.

— Вы знаете, того этого, — шутил он, — слишком уж много нетерпения проявляете. Вам, чай, все сразу узнать и осилить хочется? Ну, а за наукой, как за красной девицей, поухаживать надо... Уж коли вы к ней вхожи, так горячки не порите и митингов не устраивайте. А то хозяйка обидеться может.

Профессор напрасно ратовал о немногословии и краткости. Сам он оказался человеком весьма разговорчивым. Повидимому, он очень заинтересовался Марком, потому что спустя всего два месяца поразил его как-то неожиданным признанием.

— Знаете что, Марк! — произнес он с усмешкой. — Вы не смотрите, что я старик. Я человек любопытный, а значит, беспокойный. За такими, как вы, мне давно наблюдать интересно. Ведь, в сущности, вы гордец... В будущее вы бочком пролезать не хотите. Оттого вы, вероятно, к жизни-то как к эпитимье и готовитесь. Только постада исповеди не хватает. Вы не сердитесь, что я такие неподходящие слова употребляю. Вот я об вас как-то дочери рассказал, есть у меня этакая дотошная девица. Так она тоже: что, говорит, это за святой отрок в институте вашем подвизается? В вас, знаете, есть что-то таков этакое... изуверское...

К удовольствию старика, Марк рассердился и чуть не наговорил в ответ грубостей.

— Ну, ну! Молчу, молчу! — с веселым смехом замахал рукам Волженцев.— Успокойтесь, уважаемый «не тронь меня». Устыжен! Раскаиваюсь!

Вскоре после этого Марку пришлось по какому-то делу зайти к своему мэтру на дом.

Волженцев жил в небольшом особнячке, затерянном в глубине обильного зелены двора. Посыпанная песком аллея вела к высокому, как у древних теремов, крыльцу. Окруженный зарослью лип и тополей, сухощавый домишка походил на старосветскую помещицу, одетую в светло-зеленый капор. Из раскрытых окон ломился один из тех шопеновских полонезов, которые рвутся из рояля, точно спрятанная в сундук буря.

Марк дернул за ручку звонка.

Дом все еще погромыхивал и бряцал, наподобие ящика с посудой. Пожилая женщина, очевидно, домработница, впустила посетителя в переднюю. Волженцев, как оказалось, еще не приезжал. Марк попросил передать, что зайдет позд-

нее и собрался уже уходить. В эту минуту музыка смолкла, и в переднюю вбежала девушка.

— Вы к папе? — строго спросила она.

Впрочем, взглянув на гостя пристальнее, она неожиданно заулыбалась и гостеприимно протянула руку.

— Ах, так вы, наверно, и есть тот самый Марк! — воскликнула она. — Идите, идите сюда! Папа скоро приедет. Будем с вами знакомиться!

Не отпуская руки Марка, девушка повела его за собой.

— На этот час вы мой гость. Садитесь и давайте разговаривать!

Комната, в которой сели новые знакомые, была, очевидно, и гостиной, и столовой одновременно. Посредине стоял стол. На заднем плане громоздился тяжелый резной буфет, Мебель была старой и, по-видимому, не очень тщательно оберегаемой. Только рояль сиял среди всех этих тусклых потертых вещей. Множество всюду разбросанных нот свидетельствовало о разборчивом неистовстве музыканта. Впрочем, комната в целом имела вполне мирный вид. Все здесь, от древних олеографий до продырявленного кресла, казалось теплым, уютным и прочно обжитым.

Прямо перед Марком стояла рослая девушка в узком шелковом платье. Черные волосы ее были туго зачесаны, и образовывали посредине головы прямой и стремительный пробор. Смуглое лицо было исполнено какой-то горделивой серьезности. Яркие сочные губы горели на этом лице. Глаза смотрели с осторожным, но настойчивым любопытством.

— Звать меня Анна, — говорила девушка, — человек я сердитый и серьезный, а посему прошу не хитрить и не скрываться. Папа мне столько о вас нарасказал, что я уже давно жажду познакомиться с вами поближе. Ну-ка, сядьте сюда, к свету: я вас рассмотрю получше. Да, ну же, садитесь сюда!..

Марк покорно пересел на диванчик, поближе к окну. Он чувствовал себя круглым дураком и расплывался в тихой идиотической улыбке. Обычное для него в обществе женщин смущение сковывало все его движения. Понимая, что

это смешно, Марк, тем не менее, не мог сразу разжать губ и двинуть языком, Он смотрел на женщину взглядом столкнувшегося с хищником зайца. Коченея от стыда, он вертел в руках подвернувшийся книжный нож и тщетно пытался принять позу посвободней.

Он вообще слыл скромником в институте. Когда в его присутствии сотрудники заводили вольный разговор, Марк начинал пыхтеть, точно нес непосильную ношу. В его отношении к женщинам сохранилась еще та мальчишеская полувраждебность, которая является первым признаком проснувшегося влечения. Юношество его явно затянулось. В двадцать три года он был целомудренным, как младенец. Правда, втайне он мечтал быть как все: развязным, всезнающим и смелым. Но на самом деле — робость была сильнее его ума.

Откинувшись в кресле и положив ногу на ногу, Анна непринужденно разглядывала гостя. Во взгляде ее светилась спокойная любознательность оценщика. Она только что не прикидывала его на вес, столь тщателен и бесцеремонен был этот осмотр.

— Ну-с кажется, вы мальчик симпатичный! — установила она, наконец. — Только вот смущаетесь слишком заметно. Впрочем, даже это хорошо. Папа определил вас правильно. Пожалуй, вы мне даже... нравитесь...

Марк крикнул, как это бывало с ним в минуты особого волнения, и, неловко повернувшись, сломал зажатый в руках нож. Искусная костяная ручка, изображавшая резвящуюся дриаду, легко отделилась от медного лезвия, и теперь бесстыдно лежала на Марковых коленях.

— Ну, уж вещей-то, — смеясь, сказала Анна, — вещей-то ломать не следует. Дайте-ка мне нож-то, да и гребенку, вон ту, что рядом с вами на столике. А то вы сейчас и с нею покончите!..

Она придвинулась и протянула руку. Обнаженная до плеча рука ее была смугла, упруга и холодна. От большого этого тела, туго стиснутого шелком, на Марка шло странное оцепенение. В зеркале он видел свое лицо и медленно холо-

дел от ужаса. На губах его липла все та же идиотическая усмешка, которую он силился согнать.

— Что же это вы меня, точно таракана, разглядываете? — нашел он, наконец, силу выдавить из горла. — Что это вам наклепал на меня Алексей Григорьевич?.. Человек я, как человек... И право, вы уж увольте меня, позвольте мне опять там сесть!

Марк отдалился от хозяйки на достаточное, по его понятиям, расстояние, и почувствовал себя несколько свободнее. Первые минуты ошеломления прошли, и знакомство, таким образом, можно было считать состоявшимся.

VIII (IX)^{*)}

С этого лета Марк стал бывать у Волженцевых часто. Институтские его приятели начали уже подшучивать, что молодой физик вдохновляется не только высокоучеными разговорами с мэтром, но и хорошеньким личиком его дочери. Марк свирепел, слыша это, но старался казаться равнодушным.

Чаще он, в самом деле, заставал дома одну Анну, потому что старик Волженцев, кроме заведывания отделом во ФТИ, был еще перегружен лекционной работой.

Марк с первых же встреч почувствовал в Анне некое тайное неустройство.

Два года назад дочь профессора Волженцева окончила консерваторию по композиторскому отделению. Вместо дипломной работы она написала музыку для большой детской постановки в ТЮЗ. Музыка встретили похвальными статьями в журналах. Молодому композитору посыпались многочисленные заказы. Анна начала писать оперу для академического театра. Дело было наполовину закончено, когда что-то вышло с постановкой, и самолюбивый автор неожиданно отказался от договора. Судя по рассказам Анны, с тех пор она вела образ жизни нелепый и рассеянный: ни с кем не встречалась, никуда не выходила, иногда играла

**) В публикации «КН» за главой VII почему-то сразу идет IX.*

и пробовала работать над новыми вещами, чаще же просто валялась на диване с книжкой в руках и с разбродом в мыслях. Марк частенько и заставлял ее теперь в таком положении — небрежно причесанной и одетой, лениво блуждающей по комнатам или рассеянно тренькающей на рояле.

В их отношениях установилась уже традиция. Встречи начинались со стычек, далеко не всегда невинных и дружеских. Возбужденный работой или солнечным днем, настроенный на мажорный лад, Марк вламывался в комнату с припущенными шторами и, задержавшись в дверях, укоризненно качал головой

— Так вы все лежите? — грозно спрашивал он кого-то, незримо гнездящегося в полумраке. — Так, так! Добренькое дело! Скоро вы станете, Анна, нюхать табак или разводить болонок, как это делали старые барыни! Когда это все кончится?..

Следовало длинное патетическое вступление, в котором комсомольские тромбоны вели главную партию. Марк низвергал на Анну запасы гражданского возмущения. Он шумно внушал, что такой, как она, женщине, с умом и талантом, стыдно лежать на боку, когда страна... и т.д. и т.п. Нередко из мрака не раздавалось ни единого звука, и разве только что-то пятнистое и гибкое начинало лениво шевелиться на диване, точно потревоженная нерпа. Впрочем, чаще Анна отзывалась тихой иронической репликой.

— Что же делать? — спрашивала она. — Писать музыку к пьесам, доказывающим преимущества трактора перед сохой?.. Марк, я женщина! Я хочу подождать более лирической темы!

— Ну, что ж! — в тон ей предлагал Марк. — Сочиняйте каприччио об утерянных подвязках или сонаты о действиях лунного света на девиц... Дело-то ведь в том, что вы вообще ни черта не делаете!..

Возвращаясь к жизни, Анна вставала с дивана и отдергивала шторы. Солнце высекало из ее платья желтые искры.

— Трудность, Марк, в том, что меня не привлекает ни то, ни другое. Вы напрасно меня агитируете. По суще-

ству, я человек деятельного типа. Мне никогда не улыбалось мое вынужденное безделье. Суть в том, что я не могу заниматься мелочами, ибо я существо безнадежно тщеславное. Для совершения же дел крупных я не нашла еще той архимедовской точки, которая позволяет повернуть мир.

— Ага! Так! Понимаю! — сатирически восклицал Марк. — Гипертрофия самолюбия — значит! Жить мешает мысль, что мир создан только для поощрения ваших талантов! Да! С такой штукой в самом деле трудно справиться.

Точно прося о снисхождении, Анна дотрагивалась до руки неумолимого оппонента.

— Вы не смейтесь, Марк! — серьезно произносила она. — Здесь даже, пожалуй, не в самолюбии дело. Просто речь идет о моей неприспособленности к жизни. Вы думаете, я не пробовала? Иногда у меня появлялось воодушевление. Я хотела изобразить что-нибудь цельное, ясное: пионерскую песню, впечатление от демонстрации. У меня ничего не получается. Тот регистр, на котором поются сегодняшние песни, мной еще не освоен. Музыку к той детской постановке, что расхвалили, написала я еще девчонкой. Тогда у меня была, по крайней мере, непосредственность. Теперь же...

Анна вздыхала.

— Теперь у меня так; то, что выходит, — получается слишком личным, а то, что я пытаюсь сделать для всех, — кажется или беспомощным, или фальшивым... Здесь уже, Марк, не самолюбие, а несчастье,

— Ну, а причины... причины этого несчастья? — следовал угрюмый и многозначительный вопрос. — Думали ли вы о них?..

— Причины вовсе не в моей враждебности к миропорядку. Наоборот, все существующее представляется мне слишком разумным. Мне не хватает гнева, любви, ненависти. Я смотрю на мир глазами наблюдателя. Временами мне хочется аплодировать бойцам... но не настолько, чтобы самой ввязаться в свалку. Все это, надо полагать, непонятно вашему комсомольскому сердцу.

Да, это было непонятно его комсомольскому сердцу. Мозг Марка был так устроен, что не представлял, как можно быть равнодушным к творящимся вокруг делам. Марк был склонен считать признания Анны просто дурным кокетством. Горячность позволяла ему не замечать соблазнов спора.

— Не валяйте дурака, Анна! Равнодушие не может быть объяснением безделья, потому что оно само лишь форма сопротивления. Вы должны знать все-таки, чем вы недовольны.

Анна пожимала плечами. Шелк ее платья скрипел, точно платье было из кожи.

— Уж если у меня и есть возражения, — беспечно говорила она, — так они не логического, а эстетического свойства. Я ведь все-таки музыкант.

Некоторое время Анна старательно расправляла на груди смятый бант.

— Когда-то, Марк, было утро человечества, — медленно продолжала она, — просторный исторический промежуток, наполненный ростом и предчувствиями. Сознание едва брезжило, и был тот самый «бред овечьих полусонок», о котором обмолвился современный поэт. Мысли человечества и его дела пахли теплом домашнего очага. В созданиях его фантазии витал колыбельный дымок, счастливая сонная слюнка. Мифы и философия были овьяны грезами просонья. Быт был окутан милыми вымыслами, предчувствиями и суеверием. Это было чем-то вроде домашней рухляди, без которой неуютно жить. Теперь мы перевалили время человеческого полдня. Трезвый свет проникает во все углы, серый дневной свет, разрушающий сказки. Все ясно измерено и неотвратимо. Мы знаем даже будущее, глядим в него без мук и сомнений. Вокруг людей и вещей исчезла та дымка тайны, которая рождала раньше сонмы очаровательных видений...

Это были не очень определенные признания, но Марк слушал их внимательно. Его занимал странный ход мыслей Анны, непривычная ее аргументация.

— Я понимаю, — говорил он поэтому примирительно, — старый мир был хорошо обжит, как эта вот комната. Но он был уютен лишь для немногих. Мы сломали тот мир, Анна, а вместе с ним выбросили и всю его внутреннюю рухлядь. Мы выстроили новый дом, в котором чудесно пахнет свежим тесом. И, само собой разумеется — нам нужно обзаводиться новым хозяйством! Вплоть до новых «мифов», если понимать это слово по-своему! Нужно, чтобы всем без исключения стало ясно, как волнующе и интересно у нас жить.

Марк посмотрел в глаза Анны. Выражение их напряженности было ему по душе.

— Я стараюсь, Анна, говорить с вами одним языком, Вы подумайте только, с каким чувством мощи живут в нашей стране наши слесаря, машинисты и бетонщики, руками которых перестраивается мир! Да разве это чувство не овевает лучше всяких сказок каждый их шаг?.. Наш мир, Анна, гол только для тех, кто не принимает участия в его создании.

Марк был доволен выпавшей на его долю удачей. Анна сидела на диване, поджав под себя ноги, и смотрела ему в рот. Она олицетворяла собой то, отрешенное от всего мира, внимание, какое бывает у старательных школьниц во время интересного урока. Ага! Она вовсе уж не была столь рафинированной и умудренной, какой ей хотелось казаться!

— Знаете что, Анна! — как-то предложил Марк. — Давайте работать вместе. Я покажу вам институт и познакомлю вас с приятелями — чудесными парнями. Мы пойдем на завод, где изготавливаются мои приборы. Я помогу вам увидеть таких людей и такие вещи, которые выдуют из вас всякое равнодушие. Вы же будете меня знакомить со своей продукцией, благо я в музыке ничего не понимаю. Идет?

Анна широко улыбнулась и кивнула головой.

— Идет, Марк! — сказала она. — Вы неплохой, Марк, парень! Я хотела бы стать такой же вероспособной, как вы.

— Ну, вот и прекрасно! — заключил он, смеясь. — Вы тоже хорошая девушка, Анна! И я уверен, что дело пойдет у нас в ударном порядке!..

Х

Бывало теперь так.

Марк приходил, деловито здоровался и усаживался поудобней в излюбленное кресло у окна. Анна выволакивала ворох исписанной нотной бумаги. Собственные произведения записывала она неряшливо и небрежно, и нельзя было понять, как эта детская мазня могла превращаться в стройные осмысленные звуки.

С лицом, обреченным и набожным, она опускала руки на клавиши, и рояль вздыхал спросонья, порождая чуть слышное стенанье. Вслед за тем по комнате кралась уже тихая и льстивая мелодия. Хитрые воровские звуки овладевали Марком прежде, чем он успевал это сообразить. Через минуту ему уже казалось, что его несет по тихой волне в огромный бурлящий водоем.

Темп резко менялся. Пальцы Анны начинали метаться по клавишам, и Марк закрывал глаза. В густой слепоте внезапного его восхищения толпились неясные образы. Чудовищные корабли звуков плыли над его головой.

Марк понимал в музыке очень немного. Технические тонкости от него ускользали. Но, подобно всему живущему, он чувствовал сладкий яд ритма, соленый вкус минорной мелодии, раздирающую ярость мажора. В первых же нотах, извлекаемых Анной из инструмента, он узнавал повадку настоящего мастера. Он приходил и начинал слушать с предубеждением, но звуки смиряли его, как хлыст. Не раздумывая больше и не сопротивляясь, он отдавался игре, точно освежающему ветру.

Правда, музыка Анны, как это Марк скоро заметил, была похожа на нее самое. Это был мир странного брожения и постоянного беспокойства. Все в нем было непрочным и неустойчивым. За легкой, чуть слышной мелодией, следовал гневный взрыв. В идиллическую песенку вторгалась буря диссонансов. Спутывалось разом несколько музыкальных фраз, и, пока из этого первозданного хаоса вылуплялся ве-

душий мотив, Марк чувствовал смятение, точно стоял на колеблющейся почве,

Он распалялся, потому что буря эта не рождала ничего законченного, и спадала от внутреннего истощения. За мужским по тону и воинственным гневом следовал приступ женского тоскования. Музыка становилась молящей, даже молитвенной. И тут же рядом зарождался откровенно чувственный мотив. Уже не божницей пахло в комнате, а оргией. Нечто бесстыдное чудилось в звуках. И вдруг все это меркло и отступало перед холодной рассудочной фразой, врывающейся в музыку, точно рассвет к ночным гулякам.

Временами Марк взглядывал на музыканта. Анна сидела за инструментом, странно неподвижная и оцепенелая. Жили только ее руки и пальцы. Пораженные ужасом или предчувствием, они панически метались по клавишам. Лицо Анны было искажено наслаждением. С таким лицом принимают наркотики или отдаются стыдным привычкам. Марк подумал, что Анне едва ли следует выступать публично.

С грохотом отодвигая стул, Анна неожиданно захлопывала крышку рояля. Некоторое время она неподвижно смотрела прямо перед собой, словно где-то, неслышимо для Марка, еще продолжалась беспокойная жизнь звуков. Потом с той же внезапностью Анна повертывалась к слушателю.

— Ну? — спрашивала она чрезмерно повелительно и грозно и, удивленный этим, Марк отвечал не сразу.

— Ну, что же вы молчите, взыскательный юноша? Вот вам весь мой музыкальный гардероб!

В обидчивом тоне Анны слишком откровенно звучала ущемленная гордость. Музыкант, видимо, сердился на собственное любопытство к чужому мнению. Улыбаясь, Марк подходил поближе.

— На меня-то сердиться не за что,— просто говорил он, дотрагиваясь до плеча Анны,— я не виноват. Я не очень много смыслю в этом деле, но мне кажется, что музыка ваша чересчур пахнет истерикой. Откровенно говоря, мне жаль, что талант ваш тратится так неряшливо... Правда, все

это заразительно и слушается с интересом, но тем хуже, тем хуже...

Марк с таким огорчением повторял эти слова, что Анна невольно добрела!

— Ну, вот видите! — восклицала она. — Стало быть, я права. Можно иметь прекрасные намерения, но бороться с собственным вкусом невозможно.

— Я думаю иначе! — возразил Марк. — Вы должны знать, Анна, что вкусы меняются вместе с потребностями. Если у вас есть добрая воля стать иной, то соответствующий вкус придет в свое время. Вот есть ли самая воля?.. Этого я не знаю.

Анна улыбалась.

— Да есть, милый Марк! Есть. Есть она, эта добрая воля! Вот подождите, я вам сейчас ее продемонстрирую!

Из кучи нотной бумаги она выбирала какие-то иероглифические письмена.

— Вот! — торжественно говорила она. — Это называется «Шестая ударная!» Слушайте!

И Анна снова усаживалась за инструмент. Из-под пальцев ее лились спокойные ясные звуки. Марк видел: маршируют колонны, несут знамена, поют песни. Здесь все было упрощенно: и радость, и бодрость, и усилие. Марк не мог не чувствовать легковесности этой музыки. Играя, Анна то и дело оглядывалась и ухмылялась, точно спрашивала, можно ли ей простить этот профессиональный грех.

— Вот, вот! — сердито говорил Марк. — Пассажирам спальных вагонов жизнь всегда представлялась упрощенной и плоской. Одного такого я тут еще кстати вспомнил. Вы его знаете — это Сажин. Человек он способный и честный, но вот на глазах у него, как и у вас, Анна, выросли этикие серые бельма. Вы вдумайтесь-ка в это, Анна. Люди, перестраивающие мир и собственную природу, проявляющие на каждом шагу чудеса доблести, мужества и героизма, люди, глубоко любящие и глубоко ненавидящие, живущие в атмосфере сложнейшего творчества и великих замыслов — люди эти кажутся вам какими-то марширующими обрубка-

ми. Ну, разве не ясно вам, Анна, что в вашей музыке, которой вы хотите осчастливить советских слушателей, больше досады, чем искусства. Вам до тех пор не удастся написать ничего путного, пока вы не подойдете к нашей жизни и к нашей работе вплотную, и пока вы самым серьезным образом не подумаете о своей собственной позиции. Вы же неплохая девушка, Анна! Вам нужно только сделать над собой усилие и проявить добрую волю. И тогда-то вот вам и не нужно будет стыдиться своей музыки! Тогда вы напишите такое, что... чорт знает что!..

Марк возбужденно потрясал в воздухе рукой, всячески желая усилить свое прорицание.

— Ну что ж! — усмехалась Анна; — Попробуем перевоплотиться.

Ее умиляло сочетание в Марке ума и наивности.

С некоторых пор Анна начала захаживать в институт, и Марк знакомил ее со своей работой. Девушка с величайшим любопытством вникала в суматошливую жизнь его беспокойного мозга. На рояли у нее вперемежку с нотами валялись уже специальные книжки по физике из библиотеки отца. Марк же штудировал историю музыкальных форм. Приятели теперь нередко щеголяли друг перед другом знакомством с терминологией.

Марк «сосватал» Анну руководить музыкальным кружком при клубе «Физприбора». Занималась она там не очень прилежно, но когда кружок получил лучшую премию на олимпиаде самодеятельности, сообщила об этом Марку не без удовольствия. Она усиленной начала посещать с ребятами концерты и удивлялась свежести мыслей и восприятия своих учеников. В кружке обнаружились незаурядные музыканты. Анна познакомилась с простой истиной, что так называемая масса состоит из отдельных людей.

Летом Марк и Анна совершили большую поездку по стране. На всем изъезженном ими пространстве, от Днепропетровска до Магнитогорска, не было ни одного не потревоженного клочка земли. То, что Анна знала лишь по газетам, вырастало теперь перед собственными ее глазами.

Страна походила на новый дом, в который вселялись жильцы, Все перестраивалось, сдвигалось с привычных мест и заново рождалось. Неустанную музыку роста Анна слушала в течение всей поездки.

На обратном пути путешественники задержались на день в одном из хорошо знакомых им приволжских городов. Они бродили по городскому откосу, нависшему над рекой, и мирно щурились от солнца.

— Знаете, Марк, — заговорила вдруг Анна, — иногда у меня появляются странные состояния. Это похоже на внезапное пробуждение, когда из темного провала вдруг вылезает на свет целый мир: звуки, формы, движения. Это бывает в минуты, когда я остро осознаю, в какое мы живём время...

Марк искоса посмотрел на спутницу. Она была не очень щедра на признания во время всего путешествия.

— Я, может, не совсем ясно говорю, — продолжала Анна, — но я сейчас поясню. Мы все заняты, понимаешь?.. К нашим глазам вплотную придвинуты личные дела, заботы, ну и вся эта, как ее называют, «трагическая повседневность». Ну, это все равно, как если бы ты жил на верху большой горы с завязанными глазами!.. Вдруг повязка спадает, и становится, как у Гоголя, видно во все концы света! Блещет солнце, цветут луга, розовые туманы ползут в ложине. Внезапно начинаешь чувствовать, как дьявольски хорошо жить! Ты понимаешь?..

В возбуждении Анна перешла на «ты», чего с ней еще не бывало. Она дергала собеседника за рукав и испытующе заглядывала ему в глаза.

По совести говоря, Марк не вполне ее понимал. Чувство чрезвычайности жизни было для него обыденным чувством, и он трудно соображал, о каких повязках может тут идти речь.

Впрочем, дела это не меняло. Он мог обеими руками подписаться под тезисом, что жить на свете неплохо.

Туристы стояли на краю городского косогора, почти отвесно падающего в реку. Внизу, у пристаней, шла повсе-

дневная проезжая сутолока: повизгивали гудки, бегали по сходням грузчики. Посредине Волги огромный буксирный пароход, сопровождаемый выводком мелких барж, медленно плескался под ослепительным иглистым солнцем. На противоположном берегу тянулись в бескрайность нескошенные заливные луга. Разбросанные там и сям озера блестяли на них, как бутылочные осколки.

— Ну, что же, я рад; — сказал Марк серьезно. — Можно, значит, считать, что вы, Анна, приходите, наконец, в себя!..

XI

Вскоре после возвращения из поездки стало, однако, ясно, что все обстоит далеко не так гладко. При внешней податливости, Анна обнаруживала стойкую душевную косность. Временами, и это было непредвиденно, как болезнь, на нее нападала хандра. Она переставала интересоваться и кружком, и собственной работой, становясь раздражительной и угрюмой. О людях в такие минуты она отзывалась с нескрываемым отвращением. Даже в ее отношениях к Марку появлялся оттенок какого-то обидного покровительства.

— Откуда у вас этакое пренебрежение к своим ближним? — спрашивал Марк, выслушав какую-нибудь уничижительную реплику. — Вы говорите о человеке так, словно считаете себя существом особой породы. Можно подумать, что вы всех опытнее и умнее!

Анна нехорошо усмехалась.

— Женщины быстрее живут, Марк! — убежденно говорила она. — Им выпадает на долю уложить целую жизнь в десяток лет. Если к тому же имеешь ум, то жизнь, а стало быть, и страдания, умножаются втрое. Что же касается моего пренебрежения к людям...

Здесь Анна медлила и усмехалась еще более нехорошо.

— Видите ли! — с некоторым затруднением произносила она. — Когда часто бываешь на кухне, то теряешь аппетит. Когда слишком легко разгадываешь людские мысли — становится скучно. Я любопытствую только о тех людях,

которые мне не понятны, а такие встречаются редко. Зачем высказывать человечеству комплименты только потому, что сам к нему принадлежишь, или потому, что с нами не находится охотников спорить? Мне, например, не приходилось еще в жизни встречать мужчину, который спустя три дня не начинал бы говорить об одиночестве. Перед красивой женщиной, милый Марк, даже умные люди становятся дураками. С этим ничего не поделаешь, и я покорно сношу свою судьбу.

Печаль, с какой все это говорилось, была, по-видимому, очень искренней, а потому и казалось Марку смешной.

— Да вы, кажется, в самом деле обижены, что не родились уродом! — восклицал он. — Ах, Анна, Анна! Вы тоже не спасаетесь от повторения задов. Быть разочарованной в двадцать два года, да это же плагиат, переписывание с чужого листа. Как это не претит вашему вкусу!

Анна лениво закрывала глаза, точно подчеркивая, что спор ей уже надоедает.

— Говорят, что ново лишь то, что хорошо позабыто, — вздыхала она. — Считать, как вы, что обладаешь истиной в последней инстанции, тоже совсем не весело.

Неожиданно Анна вскакивала с привычного своего места на диване и делала страдающее лицо.

— Вы меня простите, Марк! — отчужденно бросала она. — Я плохо себя чувствую и могу стать невежливой. Мне надо быть одной.

Не сознавая за собой никакой вины, Марк уходил от Анны со смутным чувством незаслуженного унижения. Она была не глупа, эта высокомерная девчонка, но в ее мире было что-то не вполне ясное и чистое, точно в непротертом стекле.

Случалось, что Анна не звонила к Марку несколько дней. В лаборатории тотчас же обнаруживали, что непогрешимый комсорг имеет все положенные человеку слабости. Он раздражался без надобности, впадал в уныние от пустяков, был рассеян в деловых разговорах и, словом, испытывал все прелести положения «не в своей тарелке». Впрочем,

если бы кто-нибудь намекнул, что Марк скучает по Анне, он бы, вероятно, обиделся. Собственную радость, когда, наконец, звонил телефон, он объяснял простым чувством приятельства, возможностью в ближайший вечер непременно поболтать.

Будучи вообще человеком застенчивым, Марк заметно оживлялся в обществе Анны. С нею он чувствовал странный внутренний подъем: мысли рождались легко и обильно. Это волнение казалось ему следствием того, что девушка лучше других его понимала. В то же время, однако, его не покидало ощущение какой-то необъяснимой неловкости, словно все его встречи с приятельницей, кроме дружбы, имели еще второй тайный смысл.

Анна хорошо чувствовала эту неловкость и пользовалась ею иногда самым злостным образом.

Ей нравилось смущение Марка. Она находила своеобразное удовольствие в том, что этот великовозрастный ученый парень краснел и терялся перед ней как школьник. Бывало так, что среди отвлеченной и жаркой беседы, когда она сама и ее собеседник казались целиком погруженными в спор, Анна внезапно и без всякой связи с предыдущим говорила:

— Посмотрите, Марк, какие у меня руки! Пожалуй, это самое красивое во мне... Я люблю свои руки.

Она отставляла собственную руку и поворачивала к свету, разглядывая ее подробно и с наслаждением, точно художественную модель. Рука в самом деле была красива. Смуглая ее кожа имела тот мягкий оттенок, какой бывает у свежего сафьяна. Нежно очерченное предплечье переходило в маленькую, чуть припухшую кисть. Пальцы были подвижны и нервны. Неиспорченные краской ногти источали розовое мерцанье.

— Ну, что же вы мне ничего не скажете? — с лукавой наивностью спрашивала Анна. — Какой же вы мужчина, когда не можете оценить женских рук!

Марк от неожиданности цепенел. Переход от серьезного разговора к этой пустой болтовне был для него слишком

скор. Он не узнавал Анны в этой кокетливой женщине, которая сидела сейчас перед ним, рассматривая ногти. Умная собеседница превращалась на его глазах в легкомысленнейшую девчонку, думающую невесту о чем. Он не понимал этого превращения.

— Ну, это уже, наконец, невежливо! — смеясь, говорила девушка. — Скажите же что-нибудь!

Придвинувшись, она легонечко ударяла Марка ладонью по губам. Ладонь была мягкой, прохладной и душистой. Прикосновение ее напоминало тонкой выделки плюш. Марк чувствовал, примерно, то же, что жена добродетельного Лота, когда она превращалась в соляной столб.

— Вы что же, Марк? Потеряли дар речи?..

Истязательница прекрасно знала, в чем дело, но хотела продлить удовольствие подольше.

Она вставала и медленно поворачивалась перед Марком с серьезным лицом и заученной грацией, словно живой манекен в ателье дамских мод. В движениях ее появлялось нечто добродушно-бесстыдное.

— Смотрите на меня, Марк! — приказывала она. — Я в самом деле красивая.

Она проводила ладонями по груди, по бокам, по бедрам. Тугой шелк пружинил под ее рукой, точно голое тело. Обнажающий жест подчеркивал все подробности фигуры.

Чуть вытягиваясь, Анна слепо смотрела перед собой. Угрожающе близкая и огромная, она подавляла Марка своей женской силой.

Сидя перед хозяйкой в нелепо напряженной позе, Марк краснел и бледнел попеременно. Шутка была очень похожей на издевательство.

— Ну, ну, ну! Не буду, не буду! — сменяла тон Анна. — Не сердитесь на меня, Марк! Я знаю, что я нехорошая...

Она смотрела при этом так виновато и умоляюще, что Марк невольно остывал и решал положить гнев на милость.

— И что вы за странная женщина, Анна?! — говорил он. — Я совершенно не понимаю, как совмещается в вас умный человек и этакая не очень разборчивая... как ее...

Марк мешкал здесь, не желая произносить намернувшееся слово.

— Ничего, ничего! Выговаривайте! — покорно соглашалась Анна. — Уж замахнулись, так бейте.

Марк только безнадежно качал головой.

— Ладно уж, не будем об этом говорить!

Мысль о том, что между ним и Анной могут быть какие-нибудь иные отношения, кроме дружбы, не только не привлекала, но даже пугала его.

Недели две назад он зашел к Волженцевым в несколько неурочный час. Ему необходимо было посоветоваться со стариком насчет подготовки к старту, да кстати и увидеться с приятельницей.

Несмотря на позднее время, Анны дома не было.

Марк с хозяином сидели в гостиной, мирно обсуждая перспективы полета. В качестве ученого консультанта бригады, Волженцев был хорошо знаком с подробностями дела. Однако, беседа почему-то уже не казалась Марку такой неотложной и важной, как раньше. Мысли мэтра он выслушивал с заметной рассеянностью, в квартире без Анны было непривычно тихо. Покрытый темным чехлом рояль смахивал на гроб.

За неимением других поводов остаться, Марк пил невероятное количество кофе.

В половине первого под окнами послышалось фыркание мотора и шум болтовни. Звонок особняка забился в оглушительной истерике. В передней послышался возбужденный смех Анны.

— Адье, адье! Можете ехать, Борис Николаевич! — прокричала она. — О женском непостоянстве советую поразмышлять на досуге... и не очень пристрастно. Спокойной ночи!

Марк слышал, как резко захлопнулась дверь, прищемив чей-то пробовавший возражать голос.

Спустя минуту в гостиную вошла Анна. Приятельски кивнув Марку и на ходу поцеловав отца в лоб, она исчезла в своей комнате, оставив дверь полуоткрытой.

— Папа, пришли мне кофе! — попросила она оттуда. — Ух, устала. Спать, спать, спать!

Марк как-то вдруг осознал, что засиделся неприлично долго и начал поспешно прощаться. Впрочем, он не успел еще пожать Волженцеву руку, как его позвали.

— Идите-ка сюда, Марк! — крикнула Анна. — Я нуждаюсь в вашей помощи!

Марк вошел в комнату Анны. Широкий турецкий диван, два низеньких столика по его бокам и большое трюмо поглощали здесь все пространство. Анна стояла у зеркала, спиной к Марку, придерживая обеими руками распускающуюся прическу.

— Отстегните-ка мне булавку! Никак не достану... Вот здесь, на спине. Совсем запуталась!

Она попыталась отцепить вуалетку и укрепить шпильками волосы.

— Ох, уж эти мне японские прически!

В дымной глубине трюмо отражалась высокая женщина, с закинутыми за голову руками. Обращенная к Марку улыбка была рассеяна по ее лицу, точно свет.

Только подойдя ближе, Марк понял, что Анна пьяна. От нее пахло духами, вином и еще чем-то, едва осязаемым и непонятно волнующим. Глаза странно блестели, влажные губы залились набрякшими. Марк смотрел на нее почти с непугом, точно впервые замечал сегодня могучую красоту этого большого женского тела. Глядя на пьяную улыбку женщины и на припухшие ее губы, он подходил к ней, деревенея. По-видимому, он дернул за вуалетку слишком сильно. Послышался слабый треск, какая-то кнопка отлетела от платья и покатилась по полу. В следующий момент скользкая материя медленно поползла с плеч Анны.

Марк видел: девушка все еще придерживала прическу, когда темная ткань раздернулась и полезла в стороны, точно занавес. На мгновение блеснула голая спина, оттененная белой полоской рубашки. Анна вскрикнула и, опуская волосы, быстро повернулась к Марку.

Очевидно, на лице комсорга было написано что-то очень смешное, потому что она удивленно приподняла брови и почти тотчас громко рассмеялась. Целая туча волос рассыпалась за ее плечами. Упав на диван, она хохотала, отмахиваясь от Марка обеими руками. Она изнемогала от этого припадочного веселья, и на глазах у нее выступали слезы. Не попрощавшись и не проронив ни слова, Марк сбежал, еле разыскав в темноте передней пальто и галоши.

Морозная свежесть улицы не сразу еще привела его в себя. Шагая по гулким ночным тротуарам, он корчился и, кажется, даже стонал от физически ощутимого стыда. Он все еще видел перед собой обнаженную женскую спину и слышал раздирающе звонкий смех. Не то он сердился на себя, за свою неуклюжесть, не то на Анну. О влажных ее губах и пьяной улыбке он думал со страхом.

Это не помешало ему обрадоваться, когда на следующий день раздался телефонный звонок.

— Приходите сегодня, скромник! — звала Анна. — Я чувствую, что если вы не прочтете мне нотацию, то потеряете сон и аппетит.

Марк пришел и удивился, что в сегодняшней Анне не осталось ничего от вчерашней. Его встретила опять та самая, немножко скужающая и флегматичная, но серьезная, умная девушка, в обществе которой он чувствовал себя, как дома. Ему показалось только, что Анна избегает смотреть ему в глаза.

— Частенько с вами случаются этакие вещи? — неумолимо спросил он. — Мировую скорбь, чтобы она не угасла, нужно, видимо, поливать сильно горячим! Что это, помогает?..

Анна вздохнула и вполне серьезно ответила:

— Знаете, Марк, у меня бывают состояния какого-то внутреннего окостенения. Вероятно, какие-то несчастные железки в моем организме начинают легонечко пошаливать. Частенько у меня застывают мысли, и тогда-то вот нужно или какое-нибудь грубое химическое вмешательство, или острое ощущение, или человек, которого побаиваешься, или

и то, и другое, и третье. После встряски я чувствую себя так, будто мой мозг был вынут из черепа, промыт и вывешен на ночь за форточку для проветривания. Сегодня, например, я очищена от всякой скверны, как новорожденный...

Марк почему-то вспомнил вчерашний, прищемленный дверью голос.

— Вчера, видно, была комбинация всех трех способов, — язвительно произнес он. — Ваши провожатые по части устрашения девиц, как видно, мастера.

В короткую эту реплику было вложено столько неприязни, что Анна посмотрела на Марка с любопытством.

— Вы делаете успехи, уважаемый скромник! — воскликнула она. — Уж если вы начинаете кое-кого ненавидеть, значит, скоро станете и любить. Кой грех, вам даже придет в голову за мной поухаживать!

И на негодующий жест Марка:

— Ну, ну, я пошутила! Знаете, зачем я вас позвала? Я решила, наконец, взяться за ум и за работу. Мне почему-то кажется, что я смогу теперь написать кое-что интересное. Я даже сделала несколько набросков. Знаете, как это будет называться?

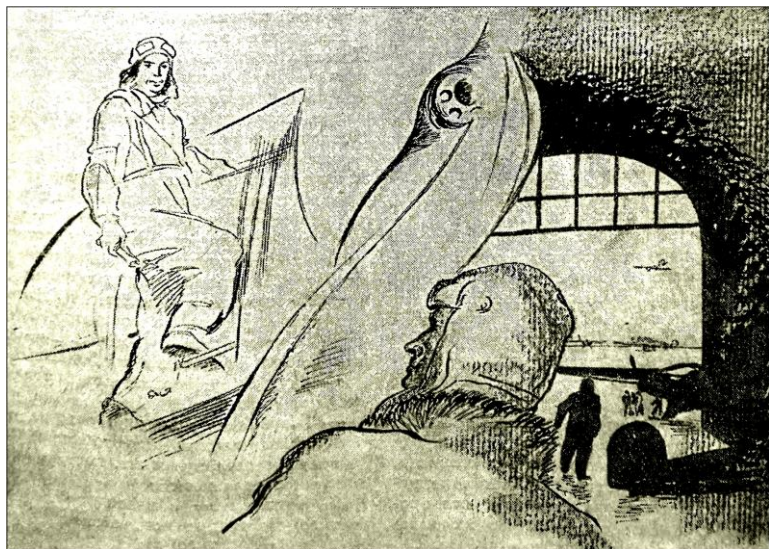
Марк подумал и пожал плечами.

— Я напишу сюиту, которая будет называться «Марк», — с видимым удовольствием сообщила Анна. — И берегитесь! Это превратится в опись всего вашего душевного имущества. Я давно любопытствую о вас.

Она помедлила, словно хотела проверить произведенное новостью впечатление.

— Что же вы молчите? Неужели вам неясно, что из этого следует?

И Анна с комической безнадежностью махнула на Марка рукой.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Он кружил, оказывается, около одного и того же места, точно зверь, привлекаемый запахом приманки. Из антикварной лавки или из цветочного магазина он попадал все на тот же угол, откуда хорошо было видно большое здание ЦС. В конце концов, круто повернувшись, он кинулся к нему с поспешностью человека, решившегося на крайность.

Через две минуты он уже входил в приемную комнату Филина.

Ученый секретарь Авиационного общества, отражая очередное нашествие посетителей, бурно кричал и размахивал руками. Одетый в какой-то мохнатый балахон, он смахивал на птицу, о которой напоминала его фамилия. Ключья волос торчали из его ушей; нос был огромен и крючковат; глаза выпячивались, как у базедовика. Негодуя или смеясь, ругаясь или мирно беседуя, он все равно выбрасывал изо рта что-то схожее с диким лесным уханьем. Дело, требую-

щее десятка слов, он совершал с шумом, достаточным для устрашения целой неприятельской армии.

— Ага, Хлынов! — фамильярно прохрипел он, отпустив, наконец, обступавших его людей. — Ну, что скажешь, сокрушитель твердынь? Чем порадуешь? Садись давай!

Хлынов с некоторой опаской пристроился на одно из хрупких мосдревовских кресел, украшавших комнату ученого секретаря.

— Вот чем вы меня порадуете? — сумрачно произнес он. — Что это вы за новую процедуру еще придумали? Дела у нас — невпроворот, а тут какое-то совещание послов на сегодня назначено, Я что-то в толк не возьму! Объясните-ка мне, товарищ Филин.

На одно мгновение показалось, что ученый секретарь ухмыльнулся и прищурил глаз. Что, мол, свербит сердечко-то? Однако, в следующий момент он уже сердито смотрел куда-то поверх хлыновской головы.

— Ну, вот, вот! Так и знал! — ворчливо захохотал он. — Все требуют здесь справок, словно у меня сыскное бюро или телеграфное агентство. Все хотят, чтобы я всюду поспевал, все знал, во все вмешивался... Что мне, на части для вас разорваться? Лопнуть прикажете?.. Да почему я знаю, что за совещание?! Как и ты, мой милый, я получил повестку, и все. Ты вот лучше Расскажи, каким тебя сыном жена премировать собирается? Наверно, рыженького хочется, чтобы на тебя походил?

Хлынов поморщился. Крикливый этот человек с лицом сыча будил в нем недоброе чувство. Он всегда поражал его какой-то неопрятной скользкостью характера, обилием неведомых друг с другом свойств. Грубость здесь перемешивалась с благодушием, гневливость с добротой, простота с хитростью. Ученый секретарь никогда не давал прямых ответов, опасаясь неведомых козней, хоть и был болтлив. Он внушал подозрения, точно бумажник, набитый разнофамильными документами.

— Бросьте дурака валять, Иван Егорович! — резко сказал пилот. — Кому же знать обо всем этом? Прохожей те-

теньке? Зачем понадобилась эта дискуссия накануне полета? Почему вопрос о старте связывается с этим совещанием? Разве со вчерашнего дня что-нибудь изменилось?

— Ну, ну, ну! Поехал, батенька! — замахал руками Филин. — И что это у тебя за манера такая, прокурорская? Вечно ты точно с обыском являешься! То ему вынь, другое — положи. Чего ты, собственно, рыкаешь? Ну, совещание, ну, дискуссия — что за катастрофа! С нами, что ль, с дураками, лишний раз покалякать не хочешь, или штаны протереть опасаться?

Грубоватая игривость, с какой все это говорилось, казалась пилоту фальшивой. Ученый секретарь или в самом деле ничего не знал, или неумно прикидывался. На большой его рот, откуда, как камни, валились грохочущие слова, Хлынов смотрел с отвращением.

— Да ведь время-то идет? — грозно спросил он. — Да ведь старт-то оттягивается? Какому чорту надо пакостить нам в самый горячий момент?..

Филин самым беспечным образом ухмыльнулся.

— Да куда ж тебе, батенька, торопиться! — тоном увещевания произнес он. — День раньше, день позже — какая разница!..

Хлынов дернулся и вскочил с кресла. Сколько, видно, ни говори с этой дубиной, он все равно будет корчить из себя простака или полоумного. Отсюда, как и следовало ожидать, выжать что-нибудь было невозможно.

— Ну, ладно! До свиданья, ученый муж! Вечером, надо полагать, мы еще с вами схлестнемся! Придется мне, видно, к Ратнеру пойти... Здесь, что ли, он сейчас?

И, получив утвердительный ответ, Хлынов вышел, хлопнув в сердцах дверью.

Ратнера ему пришлось немножко подождать. Председатель Центрального совета авиационного общества совещался с кем-то в своем кабинете. Сидя по соседству, Хлынов слышал мягкие, чуть вкрадчивые, интонации и гортанный оттенок знакомого голоса. Звуки эти действовали на него подмывающе. Когда, наконец, совещание кончилось, пилот,

точно готовясь к смотру, одернул френч и поправил сбившуюся кобуру. В кабинет он шагнул, как в пропасть, разом решив покончить со всеми недомолвками.

Человек, одетый в простую заношенную гимнастерку, сидел за столом. Пышная ассирийская шевелюра, пронзительно черная и густая, возвышалась над бугроватым его лбом, подчеркивая восковидную бледность кожи. Тонкий нос, тонкие губы, жестковатый рельеф щек — все это было очерчено резкими точными линиями. Лицо Ратнера походило на карандашный набросок и, казалось, состояло из одних теней.

Некоторое время Ратнер, как это бывает с сосредоточенными людьми, совсем не замечал посетителя. Он быстро записывал что-то в блокнот, и взгляд его был отсутствующим и слепым. Лишь поставив последнюю точку и как бы проверив, все ли покончено с минувшими делами, он повернулся к пилоту.

— А, это вы, Хлынов, — радушно произнес он. — Мне как раз нужно с вами говорить.

Глядя на пилота, Ратнер делал странные движения лбом, собирая и расправляя на нем складки. Вместе с кожей лба двигались кожа головы, волосы, уши. В гримасе было что-то интимное и звериное, точно в собачьей стойке. Было похоже, что Ратнер утрясает в голове мысли, чтобы дать место новой их порции. Хлынову это показалось немножко смешным, и потому он почувствовал себя проще и свободнее.

— Я т о ж е пришел с вами к р у п н о потолковать, — с подчеркиванием сказал он. — Что еще за новое заседание выдумали вы, Лев Маркович? Долго ли вообще придется нам находиться в этой поганой неопределенности? Ведь вы же сегодня обещали получить разрешение на старт, а вместо этого опять какая-то заводиловка начинается. И в чем тут дело — я никак не пойму?!

Ратнер подождал, не скажет ли Хлынов чего-нибудь еще.

— Санкция на полет будет нам дана немедленно, — сказал он, наконец, — но мы сами задержали вопрос. Вчера

меня познакомили с соображениями, которые заставляют еще раз подумать сообща.

— Ага! — воскликнул Хлынов. — Кто-то, значит, усиденно печется, чтобы мы не поспешили! Кому-то нужно, чтобы старт состоялся... как можно позже! Понятно!..

Какая-то складочка на лбу председателя ЦС стала отчетливей.

— Что вы хотите этим сказать, товарищ Хлынов?..

Пилот сорвался со стула, на котором было уселся, и возбужденно взмахнул рукой. У него был вид человека, собравшегося кинуться в воду.

— А бросим-ка всякую дипломатию, чорт бы ее побрал! Я для того и пришел к вам, Лев Маркович, чтобы начистоту потолковать! Мы одной с вами партией воспитаны, хоть вес-то у нас и разный. Давайте-ка поговорим запросто да прямо, как большевикам полагается!..

В голосе пилота появилась чуть заметная хрипотца.

— Только вы мне сперва на один вопросик ответьте. Ответите?

— Почему же нет? Охотно!

— Ну, так скажите мне, верно ли, что наш ракетоплан передается в ведение Экспериментальной группы? И верно ли, что в связи с этим будет поставлен вопрос о реорганизации полетной бригады?..

Опершись руками о край стола, Хлынов подался к Ратнеру грудью. Огромное тело его заслоняло теперь сидящему за столом человеку свет.

— Сядьте, Матвей! — мягко сказал Ратнер. — Никакого вопроса о передаче ракетоплана не возбуждалось. Правда, руководители Экспериментальной группы хотят, чтобы вся работа по освоению стратосферы концентрировалась в их руках, но ведь это вопрос организационный... Я не понимаю, почему вы говорите об этом с таким ажиотажем?

Хлынов послушно сел.

— Ну, это все равно! — устало произнес он. — Сегодня речь идет о концентрации работы, а завтра пойдет о смене людей. Уж раз кто-то поднимает всю эту ведомственную

канитель, значит, делу не поздоровится! Я так это и понимаю. Нынче старт задерживается из-за какой-то нелепой дискуссии, а завтра, может, придумают что-нибудь похитрее. Ах, как мне все это надоело!..

Страдальчески поморщиваясь, пилот даже закрыл глаза. Лицо Ратнера было строгим и осуждающим.

— Слушайте, мой милый! — холодно прозвучал голос, за секунду перед тем бывший теплым и дружеским. — Ведь выходит, что вы кого-то в чем-то подозреваете! Надо полагать, у вас есть для этого веские основания? Изложите-ка их пояснее!

Вместе с креслом Хлынов придвинулся к собеседнику. Ему показалось, что вот сейчас-то он и сообщит все то важное и значительное, ради чего пришел к Ратнеру. Кровь медленно прилиwała к его лицу. Отступать уже было невозможно! Недаром же, в конце концов, пришел он к этому человеку.

— Сами знаете, Лев Маркович, — выдавил из себя пилот, — есть вещи, так сказать, верткие: за хвост их не ухватишь! Я к вам не по службе, а по товариществу пришел. Помоему, тут у нас этакие людишки есть, которым дело наше как отхожий промысел. Вот они и тычут палки во все колеса, где кучерами-то не им сесть довелось!..

Хлынов явно затруднялся в подборе слов. Мысли приходили какие-то окольные и неясные.

— Да вы без аллегорий! — неожиданно подбодрил Ратнер. — Катайте прямо!

Пилот вздохнул, точно лошадь, которой предстояло вытянуть в гору тяжелый воз.

— У меня язык не поворачивается о всех этих мерзопакостях говорить! Ведь гнусно, Лев Маркович, сознавать, что у нас еще частенько вокруг всякого большого дела целая заваруха поднимается. Такие и у нас здесь водятся. Я, ведь, очень хорошо знаю, кто мне пакостит чуть ли не с самого начала! Ведомо мне, конечно, кто вас и на сегодняшнюю говорильню спровоцировал...

— Хорошо! Скажите же, кто это?

С некоторым усилием, точно преодолевая отвращение, Хлынов бросил вертящееся на губах имя:

— Моложаев, вот кто это! Я думаю, что и вам это в голову приходило!

Торопясь освободиться от подступивших к горлу слов, пилот возбужденно перечислил все случаи, которые были, по его мнению, ясным доказательством моложаевской вины. Но чем больше он говорил, переводя подозрения на язык фактов, тем яснее ему становилась их легковесность. Достовернейшее из убеждений, основанное на тысяче разительных догадок, в передаче превращалось в нелепый бред. Хлынов был в положении композитора, который вынужден передавать свою музыку с помощью знаков или мимики. Сила его ненависти была велика, но так как поэтом он никогда не был, рассказ казался для чужих ушей неубедительным.

Он видел это по глазам Ратнера. Черные, с оливковым оттенком, немножко усталые, они скучали, уставившись в одну точку. Председатель Авиационного общества немало, вероятно, слышал таких откровений. Среди подначального ему скопища инженеров и пилотов каждый, надо полагать, считал себя когда-нибудь и кем-нибудь обиженным или обойденным.

Хлынову стало неловко, и он оборвал жалобы на полуслове. Он уже пожалел о своей затее и готов был считать разговор с Ратнером непростительным для себя легкомыслием.

Впрочем, человек этот вел себя не совсем обыкновенно. Выслушав торопливый рассказ, он встал и, обойдя стол, медленно приблизился к пилоту. Как врач, желающий смягчить свое сообщение, он слегка полуобнял посетителя и дружески склонился к самому его уху.

— Вы симпатичный парень, Матвей! — ласково сказал он. — Много в вас этакой человеческой непосредственности. И вы не умеете хитрить, как другие... Но вы устали, мой милый, вы нервничаете! И это нехорошо!..

Ратнер присел рядом с Хлыновым на широкую боковую спинку кресла.

— Вы же сами понимаете, дорогой, как все это субъективно! Моложаев хорошо нам известен. Работник он безупречный. Вспомните хотя бы его прошлое.

Известные из рассказов и официальных бумаг подробности моложаевской биографии Хлынов знал хорошо. Этот человек, конечно, имел полное право на доверие!

— Вы, вероятно, принимаете за грех, — продолжал Ратнер, — личную заинтересованность Моложаева, его желание играть всюду роль первой скрипки? Это, конечно, не тайна!.. Но, ведь, наша страна, дорогой товарищ Хлынов, не монастырь, а мы не аскеты и не подвижники! Мы воюем за общее дело потому, что оно есть в то же время личное дело каждого из нас в отдельности. И мы вовсе не запрещаем соревнования... Мы не были бы большевиками, если бы думали, что коммунизм есть дело добродетельных одинок.

Унылый вид пилота заставил Ратнера улыбнуться.

— Ну, а потом, представьте себе на минуточку, Матвей, что ваши подозрения справедливы! Пока у вас нет достаточных доказательств, вы должны приглядываться и ловить промахи врага. На то ведь мы и о бдительности говорим. Излишней горячностью тут не поможешь. Тут нужно бить наверняка... Впрочем, вы, кой грех, подумаете, что я с вами соглашаюсь! К данному случаю это едва ли приложимо. Вы устали, Матвей. Вам отдохнуть бы, что ли!..

Это уж было слишком. Хлынову только сейчас стало ясно, в какое смешное положение он сам себя поставил. И хорошо еще, что его извиняют и сочувствуют его усталости. Могло же быть и хуже!

— Ну, что ж! — сказал он не без горечи. — Может, вы и правы, что в таких делах надо действовать позакovskyристей. Только я думаю — не зря нам и нюх большевистский дан. Душок-то во всем этом я носом чувствую. Уж если Моложаев добился от вас накануне старта назначения этой бессмысленной дискуссии, так тут, знаете, не просто все обстоит!..

— Да вот чуть-то вам и изменяет,— возразил Ратнер.— Моложаев здесь совершенно не при чем. И вы напрасно мешаете его в эту дискуссию!

Порывшись в кучке лежавших на столе бумаг, Ратнер протянул пилоту перепечатанное на машинке заявление. Едва взглянув на него, Хлынов уже понял, в чем дело. Ученый консультант бригады Мамонтов — авторитетный специалист возражал против зимнего полета и настаивал на необходимости еще раз обстоятельно продискуссировать вопрос.

— Вот видите, как трудно полагаться на обоняние? — говорил Хлынову его собеседник.— Моложаев даже не знает об этом заявлении. И вы, конечно, понимаете, что мы не можем не считаться с мнением столь почтенного специалиста. Мы будем, само собой разумеется, отстаивать свою точку зрения, но обсудить все еще раз необходимо!

Сомневаться тут было невозможно. Ясная подпись разрушала всю концепцию пилота.

— Ну, ладно! — сказал Ратнер, избавляя его от лишней неловкости. — Я вижу, что вы человек рассудительный. Идите-ка себе потихоньку и делайте свое дело. Хладнокровие — лучшая добродетель летчика, да и вообще, для строительства социализма нужны крепкие нервы...

Ратнер ободряюще потрепал Хлынова по плечу.

— Веселей смотреть надо, товарищ пилот! Я уверен, что скоро вас можно будет поздравить с новым советским рекордом. Уж если на то пошло, я вам тоже на ушко признаюсь: мое слово с вами, Матвей! Вы парень крепкий, и я вам доверяю больше, чем кому-либо! Идите и провертывайте это дело. Старичок, я думаю, упорствовать особенно не будет.

И, коснувшись рукой до виска, пилот пошел к выходу, провожаемый внимательным и озабоченным взглядом.

II

В коридорах ЦС, ветвящихся, точно речная дельта, господствовала обычная толкотня. Хлопали двери, стучали машинки, шептались десятки торопливых подошв. По светлым паркетным ручьям скользили защитные гимнастерки и штатские пиджаки. Делать здесь, собственно, больше было нечего, но Хлынов двинулся почему-то не вниз, к выходу, а влево и вверх, туда, где находились помещения Экспериментальной группы. Кажется, он захотел справиться о штурмовских газгольдерах, но узнав, что Моложаев у себя и не занят, решил зайти и к нему.

Огромная моложаевская комната служила одновременно и кабинетом, и своего рода лабораторией. Стены ее были увешаны множеством чертежей и карт, испещренных пометками, флажками и жирными росчерками карандашей. Половину свободного пространства занимали витрины. В витринах поблескивали модели новейших авиационных конструкций, картонные макеты, мелкие металлические части, серии магнето, пирамидки роликовых и шариковых подшипников.

Все это имело отнюдь не выставочный вид, не лежало мертвым грузом, а по надобности двигалось по комнате, как по сборочному цеху. Модели торчали и на стульях, и на специальных подставках, и даже на подоконниках. Полуразобранные части выглядывали из выдвинутых ящичков. В центре стоял гигантский стол, заваленный толстыми справочниками, журналами и чертежными принадлежностями. На вещах здесь лежал налет некоего вдохновенного небрежения. Судьбой их управлял лирический произвол. Комната в целом смахивала на верстак азартного кустаря. В ней царствовал свой собственный неписанный церемониал работы.

Впрочем, в упитанном этом беспорядке Хлынову чудился тонкий расчет. Пестрота комнаты казалась ему намеренной. Оттенок какого-то нечистого позерства чувствовал он в

ее деловитом неряшестве. Недаром же, чорт побери, все входящие сюда люди проникались почтением вот к этому склонившемуся над столом рачительному лицу!

— Здравствуйте, Хлынов, здравствуйте! — ласково улыбалось лицо. — Заходите, пожалуйста, садитесь! Очень рад вас видеть!

Пилот с ненужным рвением захлопнул за собою дверь. Так было, к сожалению, всегда! Все, что касалось Моложаева, представлялось ему в удвоенном виде. И даже вот в этом, обращенном к нему, простом приветствии он слышал скрытые иронические нотки. Молча и строго поклонившись, он сели оперся руками о колени.

Во внешности Моложаева совершенно не было ничего антипатичного. Это был спокойный человек, типично интеллигентского обличья. По виду ему было лет около сорока, но округлый и гладко выбритый подбородок, с ямкой посредине, придавал его лицу выражение молодой и ласковой мягкости. Он встречал посетителя обязательной хозяйской улыбкой. Во взгляде его светилось вежливое, но убежденное достоинство. Белая рука неторопливо перебирала лежащие на столе бумаги, и беспокойной была разве только некая нервическая складочка около губ, шевелящая хвостиком, точно холерный вибрион.

Вот эта-то складочка и рассеивала все мысли, навеянные разговором с Ратнером. Сидя против Моложаева, Хлынов тщательно пытался подавить приступ непонятого омерзения, подступавшего к горлу, как тошнота. Это было выше его сил, Он ни в чем не мог упрекнуть этого человека, но ему противно было в нем все: спокойное думающее лицо, обязательная улыбка, белые руки, каждое движение пальцев. Чтобы чем-нибудь заполнить наплывающую минуту неловкости, Хлынов вынул платок, кашлянул и вытер за чем-то сухие губы.

— Вы извините меня! — сказал в это время Моложаев, вставая. — Одну минуточку!..

Словно желая прийти пилоту на помощь, он отвернулся и начал что-то разыскивать в стоящем позади шкафу. Он

совсем не торопился при этом и благодушно посвистывал, перекладывая одну за другой толстые папки. Нежное пощелкивание сочилось из его рта. Сложенные в трубочку губы выбивали дробную чечетку. В горле трепыхалась хрустальная горошина. Приятные, в сущности, звуки возбуждали у Хлынова то же самое чувство, какое у нервных людей возникает от скрипа ножа по тарелке. Гладкая моложаевская спина вызывала в нем содрогание.

Человек насвистывал тихий меланхолический мотивчик. Обращенные к Хлынову вполоборота тугие и сочные губы его вздувались и лопались, наподобие дождевых пузырей. Пилот мысленно видел провал моложаевской глотки, потоки густой слюны, толстый язык, ворочающийся в неопрятном стойле рта. Человек запрокидывал голову, пытаясь заглянуть на верхнюю полку шкафа. Хлынову бросался в глаза твердый его кадык, выпирающий из-под кожи, точно чудовищный карбункул. Человек просто повертывался, но Хлынову казалось, что упитанное тело его переливается и дрожит под одеждой, как студень.

У его ненависти были свой возраст и свои пороки. Чуть ли не от первой встречи с Моложаевым терзал пилота глухой зуд неприязни, но оснований к этому, по совести говоря, даже сейчас, спустя три года, не было никаких. Как ни мало был способен Хлынов к так называемому «самокопанию», но он не мог не чувствовать некоторой двойственности. Содрогаясь от ненависти, он в то же время внутренне спорил с самим собой.

Что бы там ни думалось, но надо признать, что Моложаев был достаточно цельным человеком. Во всяком случае, он никогда не походил на приживальщика или на приспособленца. Не было в нем ни наигранной той простоты, ни грубоватого панибратства, которыми имитируют обычно стиль «своего в доску парня». Он не скрывал ни интеллигентских своих склонностей, ни привычек прежнего воспитания. Накрахмаленные его воротнички и равнодушная любезность держали окружающих людей на некотором отдалении. Быть может, он даже немножко утрировал свое не-

сходство с армией бывших слесарей и бетонщиков, ставших теперь командирами и инженерами от авиации.

Было, однако, в Моложаеве кое-что подкупающее. В работе он держался со спокойной уверенностью человека, убежденного в собственной безупречности. В деловых спорах он имел свои мысли и упорство их отстаивать. Способности у него были. За три года работы в ЦС он быстро прошел нуть от рядового инструктора до одного из руководителей Экспериментальной группы.

Анкетная его биография была не лишена романтических подробностей. Несколько дней он был летчиком старой царской армии. Летный его дебют, знаменовавшийся уничтожением трех германских аппаратов, был в свое время предметом газетной сенсации. После Октябрьской революции он одним из первых был послан в Институт гражданского воздухоплавания. Семь лет уже прошло с тех пор, как Моложаев окончил Институт и работал на ответственных постах.

В конце концов, это было, в самом деле, смешно — подзревать в нем-то подобного человека! Хлынов немало видел на своем веку тихих людских пакостей, но ему всегда доставляло удовольствие думать о ближних лучше, чем они заслуживали. Как и полагалось по неистребимому его оптимизму, он населял мир счастливыми оговорками и легко переходил от гнева к умиротворению.

Надо же было, наконец, начать разговаривать! Пилот спрятал зажатый в кулаке платок и с шумом, словно прочищая для слов горло, выдохнул из себя воздух.

— Знаете, зачем я к вам забрел, Борис Николаевич?

Он с удовольствием отметил, что голос его звучал вполне благоприятельски, и оттого подобрел еще больше.

— Вам же, наверно, известно, что тут наш старичок учинить собирается?

— Догадываюсь, Матвей Васильевич! — не отрываясь от шкафа, ответил Моложаев. — Немножко догадываюсь! Старичок, как вы его называете, очень резонно хочет оградить себя от возможных недоразумений.

— То есть?..

— То есть, он, не без основания хочет лишний раз напомнить, что зимний полет — дело трудное и ответственнейшее, тем паче, что прошлый опыт понуждает к осторожности.

Судя по меланхолическому тону последних слов, Моложаев намекал, очевидно, на гибель советского стратостата.

— Открытие, можно сказать, гениальное! — усмехнулся Хлынов. — Полет наш во всякое время — дело ответственное. Меня интересует, почему молчал он раньше, когда вопрос о зимнем старте специально обговаривался? Ведь ваш Мамонтов тогда не возражал. У вас ведь сохранились протоколы того совещания?

В этот самый момент Моложаев повернулся к пилоту. В руках его была знакомая протокольная папка.

— Конечно, Матвей Васильевич, — сказал он, — конечно, сохранились! Я уже их приготовил. Вот они. Ведь следовало, конечно, ожидать, что они вам понадобятся. Вот тут и против меня, так сказать, обличительный материал имеется...

Жестом почти торжественным Моложаев протянул собеседнику пачку исписанной бумаги. Он подавлял Хлынова своим великодушием. В протоколах синим карандашом были даже отчеркнуты нужные места.

— Рад быть вам полезным! — улыбаясь, говорил он. — Можете уличить своих оппонентов в непоследовательности. Хоть мне и придется с вами спорить, но я желаю вам всяческой удачи!..

Он улыбался той самой, обычной для него, равнодушно-вежливой улыбкой, которая пригодна для выражения любых чувств. Только складочка около губ еще быстрее шевелила своим ядовитым хвостиком.

— Какая ж, однако, предусмотрительность! — иронически удивился Хлынов. — Как же вы собственных-то мыслей согласовать не могли? Ведь в этом протоколе и вы за зимний старт высказывались! Вы-то почему свое мнение изменили?

— Я поступил бы наперекор своей совести, — произнес Моложаев, — если бы этого не сделал. Я призываю честно признавать ошибки. Мы верим в ваши личные доблести, товарищ Хлынов, но кроме них, надо все-таки учитывать и многие объективные обстоятельства. Я полагаю, что вам нужно дождаться весны. Впрочем, сегодня мы с вами будем иметь возможность говорить об этом очень подробно.

Выходило, что Моложаев как бы намекал на полную бесполезность этой частной беседы или даже на ее неприличие. Не садясь, он стоял у стола, выжидательно барабанил по нему пальцами. В голосе его звучали уже некие новые прохладные интонации, точно у строгого начальника при разговоре с мелким просителем.

Против воли Хлынов не выдержал и рассердился.

— Ну что ж! — воскликнул он. — Поговорим, так поговорим. Только какому же чорту пришло в голову назначать созещение так поздно? О чем мы можем договориться в какие-нибудь два часа?

— Тем яснее придется изъясняться! — галантно шаркался Моложаев.

Чувствуя, как растет в нем волна неосмысленного раздражения, Хлынов сдернул со стола кожаную свою сумку и с треском шлепнул ею по колену. Теперь он уже не усовещивал себя и не старался бороться со свежим приливом ненависти. Следовало только поскорее отсюда убратся, чтобы не наговорить или не наделать глупостей.

— Ну, ладно, до свиданья — с трудом выговорил он. — Мне надо спешить! Благодарствуем, так сказать, за сочувствие. Извините за беспокойство!..

Вполне сознавая, что делать этого совсем не нужно, он раскланялся перед Моложаевым с шутовской пышностью. Он глупел здесь, рядом с этим благовоспитанным манекеном. Мучительно краснея; он резко повернулся и пошел по скользкому паркету, слегка сгорбившись, словно боялся неожиданного нападения. Вежливое молчание за его спиной звучало обиднее откровенного хохота.

III

Они пили кофе, придвинув к дивану маленький столик. Немножко развинченный, но учтивый гость устроился уютно, как в гнезде, а хозяйка и вовсе полулежала, окруженная множеством пестрых подушек. На своего собеседника, отделенного от нее протяжением одной руки, она поглядывала исподлобья, с ленивым и мрачным любопытством.

Это был рослый мужчина, одетый в полувоенную форму, сидящую на нем, быть может, слишком для военного человека ловко и кокетливо. Ничем не замечательное лицо его, сдержанное, корректное и разве только чуточку насмешливое, тем не менее, казалось выразительным. Был на нем какой-то странный отпечаток не то изношенности, не то усталости, какой одинаково встречается и у распутников, и у работающих сверх меры людей. Вокруг глаз лежали тонкие сероватые тени. Скорбная складочка (впрочем, для скорби слишком, пожалуй, подвижная) извивалась около губ. Вообще, вся эта немножко размягченная физиономия была сейчас зыбкой и изменчивой, точно занавес на неприкрытом окне.

На столике, кроме кофейника и сахарницы, стояла коньячная бутылка. Наливая соседу кофе, хозяйка вопросительно бралась за нее и получала в ответ неизменный кивок согласия. Гость осторожно втягивал в себя острую обжигающую смесь, и в промежутках между глотками бросал медленные фразы.

— Вы видите: я ваш раб! — говорил он, насмешливо при этом улыбаясь. — Я являюсь к вам по первому требованию, бросая все свои дела и обязанности. Я знаю вашу вздорную природу и полную неспособность к благодарности, но, тем не менее, жертвую для вас всем. Ну, разве вам не известно, мисс, сколько мне предстоит сегодня хлопот? И, несмотря на это, вы заставляете меня терять время и пить эту дьявольскую жидкость? Да это же злодейство, мисс Анна! Вы злоупотребляете своей властью!

Человек сделал паузу, пристально посмотрев на собеседницу. Хищноватая искорка промелькнула в его драгированных глазах. К шутливости примешивалась подлинная досада.

— Когда-нибудь вы попадетесь мне в лапы, мисс! И уж тогда я возьму вас за все тиранство! Ну, что вы от меня сегодня хотите?

Удобнее устраиваясь среди подушек, женщина вяло пошевелилась.

— Мне скучно, сударь! — сказала она, вздохнув. — У вас есть способность действовать на меня раздражающе. Я позвала вас, чтобы вы что-нибудь болтали. Развлекайте меня, а то у меня такое состояние, какое, вероятно, бывает у пьяниц перед запоем!

— Ну, так я и знал! — с искусственным ужасом воскликнул гость. — Анна, вы издеваетесь надо мной! Я думал, что вы зовете меня, чтобы, по крайней мере, ответить на мой меморандум! Ведь, нельзя же, черт побери, отрывать человека среди рабочего дня, чтобы только сказать, что вам скучно! И я, как идиот, слушаю вас? Анна, я взбунтуюсь!

Человек вскочил и, огибая столик, угрожающе шагнул к хозяйке.

— Сядьте! — лениво приказала Анна.

По-видимому, в тоне ее было что-то внушающее. Человек с шутливой безнадежностью развел руками и возвратился на свое место.

— Вам нравится измываться надо мной! — сказал он серьезно. — Но вы ведете опасную игру. Я никогда не был домашним животным, и однажды...

Гость поднял палец и выразительно помахал им в воздухе.

— Ну, и однажды?..

— Однажды я слопаю своего укротителя!

Анна усмехнулась.

— Когда придет ваш час, можете мстить. Пока же подчиняйтесь. У меня тоже твердый характер. Да и к тому вы, кажется, сильно преувеличиваете свои жертвы. Что вам Ге-

куба и что вы Гекубе?.. Ведь летите-то не вы, а Хлынов! Я плохо верю в вашу заинтересованность в этом деле...

— Вы знаете не все, а потому и ошибаетесь! — холодно возразил гость.

— Тогда расскажите «все». Может быть, это любопытно. Человек неожиданно расхохотался.

— Вы большая шутница, Анна! И вы меня умиляете! Рассказать «все»?! Вы думаете, это очень просто?

Смех, впрочем, быстро слинял с его лица. Он сдвинул брови и медленно провел тылом руки по лбу.

— Впрочем, почему бы и нет? — раздумчиво произнес он. — Мое «всё» может, пожалуй, вас развлечь.

В следующую минуту гость сидел на диване, перекинув ногу за ногу, и курил толстую папиросу. Ароматический дымок кудрявым облаком вылетал из его рта и постепенно застилал комнату. За неимением пепельницы гость стряхивал пепел на блюдце своей чашки. Налет некоей залихватской развязности появлялся в его позе и жестах.

— Кто я и что я? — вопрошал он. — Может быть, вы мне это скажете, Анна? Вы ведь не раз хвастались, что знаете меня хорошо.

— Могу! — равнодушно — согласилась Анна. — Вы фальсификатор и мелкий мошенник, человек, проживающий по чужому паспорту! Не слишком смелый и не слишком трусливый, не лишенный способностей, но и не блестящий талантами, дьявольски самолюбивый, но понимающий самолюбие слишком мелко. Вы довольствуетесь средней тактикой и остерегаетесь резких поворотов. Очень вероятно, что вы проживете на свете без особых потрясений и умрете, в конце концов, так и не распознанным, с некрупным, но приличным положением в обществе. Да, да! Не смотрите на меня так сатирически! Единственное свойство, которое может быть названо в вас творческим, это тщеславие. В сущности, вы человек ничтожный. И если я еще вожусь с вами, так просто из дурного любопытства. Меня всегда занимал вид крысы, силящейся прогрызть глиняной горшок.

Все это Анна произнесла скучающе, без всякого воодушевления.

Лишь взгляд ее, незаметно наблюдавший собеседника, стал несколько острее. Гость не выражал ничего, кроме любезного внимания.

— Вы слишком упрощаете дело, — сказал он. — Как и полагается женщине, вы усматриваете только то, что бросается в глаза, и упускаете все существенное. У некоторых музыкантов Бетховен звучит как Оффенбах. Но разве вы можете их смешивать? Я думал, что вы проницательнее.

Анна засмеялась: видимо, ей стало смешно, что они оба употребляли один и тот же прием уничтожения.

— Ну, ладно! — оживленно воскликнула она. — Перестанем играть в прятки. Будем говорить начистоту!

— Будем говорить начистоту! — галантно поклонился гость. — Но для этого надо уважать собеседника и не употреблять мелких хитростей.

Серия искусных кольчиков дыма сошла с его губ.

— Я человек дела! — продолжал он после некоторого молчания. — Крепче всего усвоил я мысль, что людьми управляют простейшие потребности. Как любой комсомолец, я охотно подпишусь под тезисом, что бытие извечно тяготеет над человеческим сознанием. Наш разум лишь прихвостень в этом мире и приживальщик, но отнюдь не хозяин. Он похож на мелкого маклера, на долю которого при всех сделках с жизнью выпадают лишь крохи настоящей добычи. Что толку в словах и мыслях? Истина идей — как уж кем-то сказано, — заключается в их ничтожестве. Борьба, власть, делание вещей — вот наши боги! Каждый хочет напасть на свою золотиносную жилу и втайне разработать её, чтобы от нищей судьбы перейти к счастливому изобилию. Мы жадны, завистливы и хищны по природе, Анна, вот в чем вопрос!..

— Вы запоздали, сударь, с этой мрачной увертюрой! — прервала гостя хозяйка. — Опера, к которой она могла бы подойти, в нашей стране снята уже с репертуара.

— Не торопитесь, Анна! Я должен пользоваться кустарной терминологией, ибо теория еще не создана и не я, конечно, буду ее создателем. Один умный философ сказал, что миром движут противоречия. Мне кажется, что я разгадал самое важное из них.

— Поделитесь же своим открытием!

— Видите ли!.. Я понял простую истину, что жизнь человеческого стада движется противоречием личного интереса общему. Так как в истории действуют законы больших чисел, то борьба личных интересов общественно выражается как борьба классов. Но, ведь, класс это среднее арифметическое. Внутри класса всегда ведется война групп, семейств, объединений. И, в конце концов, на самом основании копошится взрывчатое вещество этого деления: некая социальная амeba, один человек, личность, индивидуум. И вот я открыл, что война амeb неистребима, при всех общественных устройствах!

— Ого! — воскликнула Анна.

— Противоречие между родом и личностью неустранимо. Род — это круг. Личность же — спираль. Их интересы никогда не совпадают друг с другом. Род — это копилка приобретенных признаков. Косная сила массы и традиции. Личность же — активное начало жизни, расточительное стремление к многообразию форм и качеств. Там, где над личностью нет закона, род гибнет от анархии или произвола. Там же, где законы рода слишком жестки, личность сеет и отцветает. Война этих двух начал и делает так называемую «историю». Каждый человек, хочет он того или нет, выступает или как исполнитель велений рода, или как поборник личного самоутверждения. Чтобы не утомлять вас, скажу кратко: я защищаю начало личное.

— Ну и что же из этого следует?

— Я не хочу быть навозом, на котором расцветает мак будущего. Я хочу получить от жизни свою долю удачи.

— Что же вам мешает? — пожала плечами Анна. — Возьмите ее.

— Мешают размеры моих желаний. Мне мало того пайка счастья, который может отпустить время. Я считаю себя сильнее, талантливее, умнее многих. Я не хочу равняться с ними по добыче. Я имею право на большее.

— Для осуществления этого права,— усмехнулась Анна, вам недостает лишь его признания. Законы того мира, в котором вы теперь живете, не признают права давить своего соседа. Этика революции требует сочетания общей и личной цели.

— Всякая этика лжива! — сказал гость. — И представьте себе на минуту, что мне нет дела до этики. Я эгоист, и жертвовать собой ради других не желаю.

— Пусть будет так! — последовал кивок.

— Стало быть, моя тактика — это тактика хищника! — подчеркнул гость. Я хочу взять все, что смогу. Мои лапы жадны. Я хочу многого!

— За чем же дело?

— Сейчас, пожалуй, только за временем. Но была в моей жизни эпоха, когда передо мной встало крупное препятствие.

— Что же это за препятствие, позвольте поинтересоваться?

— Это препятствие — осуществляемый в стране социализм!

— Ну что ж! — снисходительно предложила Анна.— Вам остается его отменить!

Гость даже не улыбнулся.

— Было время, — хмуро продолжал он,— когда мне в самом деле стало страшно. Я ощутил однажды несвоевременность своего существования. Мир вместе с революцией вступал в новую эру, более длительную, чем эра христианства. Что же было делать мне, человеку хищных инстинктов, среди этих повальных грез о всеобщем счастье? Человеческая масса, перекочевывавшая к теплым морям социализма, была сильна своим множеством. Мне стала ясной неотвратимость ее победы... Разве это не страшно, милейшая мисс?

— Да, но совсем не оригинально — зевнула Анна.— Вы, кажется, обязались меня развлекать, а вместо этого говорите банальные вещи. Не заставляйте меня скучать, сударь! Выдумайте что-нибудь любопытнее!

— Любопытное начинается как раз с этого момента! произнес гость. — Когда я встал перед неизбежностью, во мне заговорил инстинкт. И что же, собственно, оставалось мне? Бороться с судьбой и расколоть лоб о стену? Смирить свою фантазию или попасть в сумасшедший дом? Я предпочел выбрать лучшее, Анна, и пришел к оригинальному выводу!

— Поведайте же мне его! Может быть, я тоже захочу воспользоваться вашим чудесным изобретением.

Гость вынул из портсигара новую папиросу и постучал мундштуком по крышке.

— Извольте, мисс! — покорно наклонил он голову. Рад быть вам полезным!

IV

— Каждый личный поступок имеет свой общественный смысл, — начал он. — Смысл этот не зависит от добрых или дурных намерений отдельного человека. Тиран может хотеть превратить своих подданных в рабов, и воспитывает, благодаря этому, мятежников. Ученый трудится всю жизнь над благодетельным открытием и дарит человечеству иприт. Выражаясь образно, плоды добра и зла растут на одном и том же навозе. Общество использует любое действие личности на свой лад.

Раскуривая папиросу, он помолчал.

— Теперь можно перевернуть вопрос на голову. Каждое общественное событие личность использует в своих целях. Массы произвели французскую революцию, плодами же ее воспользовались лавочники и ростовщики. Головокружительная карьера Наполеона построена на обломках послереволюционного брожения Европы. Борьба папства и абсолютизма была источником успехов Лютера. В мутной воде, как

известно, легче ловится рыбка. Почему бы и мне нельзя было посмотреть точно так же на свое время?

— То есть, что же вы решили?

— Я решил поступить к революции на службу!

— Но почему же именно к революции?

— Да просто потому, почему наемный солдат предпочитает служить на стороне сильнейшего. Я давно уже понял, что мир время от времени впадает в длительное безумие. Таким безумием было, например, христианство. Призрак всеобщего счастья должен иногда вставать перед человечеством, иначе оно не сдвинется с места. Учения, конечно, меняются, становясь наукообразными. Но роль их остается прежней. Манить в даль простотой и величием цели, вдыхать в опускающиеся руки свежую энергию, нужную для сооружения новых вавилонских башен!.. Учения, как и люди, Анна, пожирают друг друга. Мы присутствуем с вами при смене вер.

— Или, выражаясь менее торжественно, — сказала Анна, — вы решили стать приспособленцем?

— Вы опять совершаете ту же ошибку, — поморщился гость. — Из самой хитроумной теории вы способны усвоить только общие места. А ведь тут дело гораздо сложнее...

В этом месте гость выпил в чашку остатки коньяка и выпил его двумя глотками.

— В сущности, я допускаю, что возратить старый мир, с его законами войны сильных со слабыми, сильных с сильными — дело очень трудное, и, может быть, в ближайшее время, даже безнадежное. Ведь безумие, как я уже сказал, длительно. А у меня никогда не было охоты скормить себя историческим ракам. Я уже давно встал по эту сторону баррикад и имею уже кое-какие заслуги. Мои таланты, знания, ум — я все отдал на службу новому веку. Я участвую в осуществлении всех его замыслов

— Но разница, разница! — гневно вскричала Анна.

— Разница, если хотите, только в том, что, одновременно я не забываю о себе. Впрочем, пожалуй, даже и в этом нет разницы. Ведь даже признанные социалистические пра-

ведники не отказываются от увеличения своей доли счастья. Разница в том, что я делаю это сознательно. И я не намерен мириться с тем, что мне изволят дать. Я сам хочу быть для себя мерой той цены, которую должны получать способные солдаты. Я хочу, чтобы каждая капля моего ума или крови была надлежащим образом оплачена!

— То есть, иными словами, кроме обычной честной зарплаты, вы хотите еще получать на чай? Только и всего? Но, кстати, вы забыли, сударь, что при социализме не только получать, но и давать на чай считается зазорным!

— Нет, не только и всего! — продолжал гость. — Однажды я сделал открытие, что, в сущности, ничего не изменилось. Для личного преуспеяния у нас еще осталось достаточно простора. Ведь принцип социализма гласит: от каждого по способностям и каждому по его труду. Стало быть, ежели я сильнее, хитрее или гибче, то я и сделаю и получу больше другого. Мера человеческого счастья, как и всегда, осталась неравной. От жалкой участи мелкого неудачника до блистательной карьеры героического пилота или государственного деятеля лежит еще огромное пространство. Место для соревнования и борьбы сохранилось, а стало быть, сохранилось оно и для хищных моих инстинктов. Стало быть, нажимай и дерись, если можешь, кусайся и оттесняй своего соседа, чтобы на новой шкале счастья твоя судьба показывала самый высокий градус!..

— Вы упускаете из виду важный пустячок, — вставила Анна. — Во всяком соревновании у нас должен господствовать общий, а не частный интерес.

— Аппарат для различения этих интересов еще не изобретен, — ухмыльнулся гость. — Тем более, что некоторые права за личным интересом признаются. Недаром же, чорт побери, у нас в таком ходу система наград и премирований!

— Да, но мы признаем личный интерес только до той черты, пока он не угрожает интересам общим.

— Кем же, спрашивается, эта черта устанавливается? — надменно спросил гость.

— Советским законом! — раздельно произнесла Анна.

— Ну, это не так-то страшно. Ведь, если вам не везет в открытой игре, — то всегда можно попытаться передернуть карту. Правила века жестоки и честны, но их можно повернуть в свою пользу. Закон, дорогая Анна, как кожа, покрывает только поверхность общества. Внутри остается живое незащищенное мясо. Можно действовать вполне законно, и тем не менее, в спорах интересов общих и частных всегда решать в свою пользу. Красть, например, или совершать подлоги нельзя, но вовремя польстить начальству, послать удачный доносик, выставить в розовом свете свою особу или добиться лишней премии искусным маневром — вполне возможно. Человек, делающий свою судьбу в серых перчатках, имеет тысячи средств, чтобы перегнать своего соседа. И как же, скажите мне, кто может разрешить эту забавную загадку, какую всегда представлял собой пресловутый личный интерес?

— Существует еще советская этика и советская совесть, — сказала Анна, — то, что называют классовым чутьем. Человеку в серых перчатках опасно подвергаться проверке этим тонким инструментом!

— Можно не противоречить даже этой совести, — возразил гость. — Предположите, пожалуйста, что двое одинаково совестливых советских людей претендуют на выполнение какого-нибудь важного и большого дела. За делом, само собой разумеется, должно последовать некое приятное поощрение. Предположите, что один из этих людей умнее, талантливее и ловчее другого. Он может выполнить задачу лучше и скорее. Скажите, разве он поступит в ущерб делу, если ототрет своего соперника всеми доступными ему средствами? Таким образом он соблюдет и свой, и общий интерес, и советская его совесть останется чистой, как стеклышко!

— Нечего сказать, удобная теория! — воскликнула Анна. — Да, с такой философией можно делать на дне сто подлостей, и одновременно спать по ночам сном праведника! Я начинаю признавать за вами если не оригинальность, то чувство юмора.

— Ну, вот видите, наконец-то и я нахожу признание! — кисло покривился гость. — Таким образом, вы понимаете теперь мою позицию? Я ничем не отличаюсь от самого честного советского человека. Я только не хочу быть подковой на пяте нового века.

— Просто вы человек очень болтливый, — с гримасой сказала Анна. — Вы разновидность того самого интеллигента знакомой российской формации, который всегда имел склонность к умствованиям, и все свои мелкие страстишки прикрывал шумом великих принципов.

— Откуда вы заимствовали эту терминологию, Анна? Уж нет ли, кой грех, среди ваших знакомых какого-нибудь пророка комсомольского возраста? Вы пользуетесь очень поверхностной аналогией. Я существо самое что ни есть современное! Я похерил весь тот сентиментальный вздор, которым жили мои интеллигентские предки. Меньше всего меня привлекают долгие раздумья. Век влил в меня жар своей крови. Я деятелен, цепок и зубаст, Анна! Меня нельзя, как пыль, стереть с лица земли. Я ее сок, представитель жадного волевого начала!..

— Но вам уж не поможет никакая воля. Индизидуалистическими жабрами нельзя дышать в атмосфере социализма. Уж если вас пощадит уголовный кодекс, так доконает чутье подлинных людей. Скажите, почему вы рассчитываете получить от жизни больше, чем другие? Ведь нынче прославляют только настоящих героев, совершающих чудеса храбрости или трудового энтузиазма.

— Героизм может быть ремеслом! — угрюмо проговорил гость. — Мы все кандидаты в герои. Героизм стал чем-то вроде видового признака, по которому узнают чистоту советской крови. Я давно уж понял, что хапнуть солидный кус счастья можно только на этом поприще. Ну, что ж, я так и хочу поступить! Я тоже учусь ремеслу геройства. Оно ведь и хорошо у нас котируется! Я учусь искусству терпения, упрощаю приемы энтузиазма, разрабатываю технику преданности. Глубоко уверен, что и на этом пути я окажусь способнее многих!..

— Не обольщайтесь, сударь! — молвила Анна.— В геройстве, как в любви, для успеха, кроме ума, нужно еще и чувство. Ибо если геройство и ремесло, то ремесло высокое! Оно требует талантов самоотречения, восторгов верности, мужества. А вот их-то вам и негде взять. Ведь вся ваша жизнь, если верить словам, сплошная фальсификация. Как можно питаться одними суррогатами? Вы просчитаетесь, уважаемый циник, и на каком-нибудь простеньком мотивчике, требующем искреннего чувства, сорветесь с голоса!

Гость поднял плечи.

— У вас кустарные представления об искусстве, Анна, хоть вы и музыкант. Опытные актеры говорят, что чем горячее роль, тем холоднее должен быть исполнитель,

— Но где же та пьеса, в которой вы пробуете себя на ампула героя?

— Она уже готова к постановке.

— Что же это такое будет, если не секрет?

— Это будет полет в стратосферу. В ближайшее время я поднимусь на высоту в тридцать километров и поставлю первый советский мировой рекорд скорости и высоты.

— Но на чем же вы, собственно, полетите?— удивилась Анна.— Ведь второй ракетоплан, насколько мне известно, еще не построен, а на аппарате Рп-1 летит Хлынов?!

— Хлынов не полетит! — сказал гость.— Полечу я.

V

Анна вскинула брови и посмотрела на гостя с недоумением.

— Слушайте, Моложаев! — впервые назвала она его по имени. — Я совершенно ничего не понимаю! Вы так спутали все карты, что мне остается поверить в ваш ум. Разве в организации полета что-нибудь изменилось? Разве Хлынов уже отстранен от этого дела? Или, может быть, вы заменяете кого-нибудь из других членов бригады? Я что-то не слышала ни о каких переменах!

— Занавес еще закрыт! — произнес Моложаев с усмешкой — Но актеры уже на своих местах, и великолепный Принц Датский приготовился декламировать над черепом Иорика. Перемен еще нет, но они будут. Хлынов еще командир ракетоплана, но его отстранят. Я не из тех горе-импровизаторов, которые заглядывают в тетрадку перед самым действием. Трагикомедия моей жизни разыгрывается по твердому тексту. Все давно взвешено, изучено и рассчитано.

— Но разве вы можете приказывать Центральному совету и управлять людьми по собственному произволу?

— Да, могу.

— Что же это за чудесное оружие, которым вы побеждаете все препятствия?

— Это оружие психологическое! — важно вымолвил Моложаев. — Это знание той самой невидимой материи мелких страстишек, слабостей, привычек и инстинктов, которые управляют каждым человеком. Люди, в сущности, не так-то уж сложно устроены, как льстиво уверяют философы и поэты. Разница между средней человеческой особью и раскрашенным паяцем из папье-маше сильно преувеличена. И там и тут, дергая за подходящие ниточки, можно вызывать любое действие механизма.

— Ну, и какие же механизмы привели вы в действие в данном случае?

— О! Я двинул здесь в ход все человеческие чувства. Я сталкивал самолюбия, щекотал чужую гордость, возбуждал тщеславие, использовал горячность, опирался на доверчивость или корысть, пускал в атаку лесть или насмешку и не гнушался ни хитростью, ни простотой. Весь букет человеческой глупости благоухал для меня. Я утилизировал остатки чинопочитания, пристрастие к форме и страх перед казенным клеймом. Я вызвал себе на помощь целую преисподнюю тех хищных человеческих свойств, о которых не принято говорить в благородном советском обществе. И то, что мною задумано, близко уже к осуществлению!

— И вы полагаете, что добыча не станет сопротивляться? Да как же вы справитесь хотя бы с одним Хлыновым?

Вас он и не глупей и не бесталанней. Об этот крепкий орешек вы можете поломать все свои зубы.

— Жаркое уже на вертеле, — процедил гость, — остается взять вилки и сесть за стол. Хлынов уже подготовлен. Это человек способный, не буду с вами спорить. Но он еще не выделан, как колхозная овчина. В нем нет ни блеска, ни мягкости, которые даются высокой культурной обработкой. Ум его слишком прямолинеен. Партийный устав — его бог. Самое же главное, он слишком горяч и честен, чтобы иметь успех.

— Так вы на это рассчитываете?

— Да, я на это рассчитываю. Хлынов, как кокс, способен погибнуть от самовозгорания. Упорным и методическим противодействием его можно довести до того состояния, когда он вспыхнет и выйдет из строя.

— Увы, у вас для этого нет уже ни времени, ни возможности. Ведь старт уже назначен?

— Старт не будет назначен, — сказал Моложаев, — и в этом-то состоит весь фокус. Хлынов уже приготовился лететь, и вырвать старт у него из-под носа — это все равно, что отнять у кошки пойманную мышь. Это испытание на выдержку. Хлынов хочет лететь именно сейчас. Это стало уже для него чем-то вроде мании. Он полон партийного ража, и был бы счастлив выразить этим полетом свою преданность. Если у него тихонечко потянуть теперь эту мышку, он вцепится в нее зубами. Если отнять у него полет, он придет в бешенство. Как и полагается, он вскипит и перессорится и с товарищами и с начальством. И вот тогда-то достаточно будет малейшего толчка, чтобы он сошел со сцены. И это еще не самый плохой конец, потому что он еще раньше может попросту хлопнуть дверью.

— Да, но кто же вам позволит задерживать старт?

— Обстоятельства, милейшая мисс Анна, объективные обстоятельства! Время сейчас зимнее, студеное! Люди сердитые! У одного из консультантов бригады вообще появляются сомнения, стоит ли лететь в эту пору!

— Но, ведь, если вы будете слишком настаивать на этих сомнениях, так кто-нибудь может вас и заподозрить?

— Режиссеру марионеточного театра, дорогая Анна, нет надобности выходить из-за кулис. Сомневаются за меня другие. Два дня назад я встретил академика Мамонтова и только намекнул ему, что Хлынов ни в грош не ставит его теорию высотных оледенений. Сегодня почтенный специалист подал в ЦС формальное требование назначить дискуссию о зимнем старте. И уж можно быть уверенным, что академик разделяет Хлынова под орех!

— Позвольте, но разве в Центральном совете сидят дураки или невежды? Что скажет по этому поводу Ратнер?

— Ратнер, конечно, умница, — согласился гость. — Председатель ЦС не может руководствоваться субъективными своими взглядами. Он не рискнет разрешить старт, пока не будет достигнуто какое-то единомыслие. К тому же он, кажется, настолько физически связан работой по совещанию, что едва ли будет в силах вникнуть в дело.

— Но вы сами-то, сами-то как вы смотрите на это? Вы в самом деле думаете, что ракетоплан не готов к зимнему полету?

— Сам я полетел бы на нем хоть сегодня.

— Значит, вы просто вредите?

— Не употребляйте страшных слов! — сказал Моложаев. — Просто я считаю, что выполню задачу лучше. Я талантливее, культурнее, умнее. Зачем этому баловню судьбы лишняя удача? Он и так доволен и счастлив. Я хочу исправить ошибку случайностей. И я добьюсь, чтобы вместо Хлынова полетел Моложаев.

— Да, вы действительно карьерист, не брезгующий никакими средствами.

— Назовите меня лучше человеком, сознающим свое право убирать препятствия. Я давно уже не употребляю прописных выражений и вам советую то же. Дураки рождаются для того, чтобы их запрягали в ярмо. Общественный пирог испечен именно так, чтобы людям смелым и неглу-

пым доставались самые жирные куски. Мораль — слишком постная пища для рта с крепкими зубами.

— Моложаев, вы циничны! — воскликнула Анна, вскакивая со своего ложа.

— В качестве женщины чувственной, милейшая мисс, вы должны понимать привлекательность цинизма.

— Моложаев, вы отвратительны!

— Ну вот, наконец-то я узнаю вас, Анна!

Они стояли теперь друг против друга, точно два крупных зверя, столкнувшихся на лесной тропе. Анна морщилась, произнося слова отвращения, и вместе с тем улыбалась, как может улыбаться женщина, желающая нравиться.

— Моложаев, вы дьявол!

Гость кланялся с преувеличенной скромностью эстрадного куплетиста, только что исполнявшего доходчивый «номер».

— Вы льстите мне, прекрасная ведьма! — отвечал он. — Я в самом деле почитал бы себя дьяволом, если бы мог справиться с вами. И когда-нибудь вы все-таки попадетесь, хоть вы и увертливы, словно угорь!

Говоря это, Моложаев шагнул к Анне и протянул руку. В голосе его гоаявилась странная дрожь. В глазах опять проскочила некая плотоядная искра.

— Анна! Послушайте меня, Анна! — повторял он. — Вы же понимаете меня! У вас добротный женский инстинкт. Человек, как я, вам подходит! Скажите, когда вы ответите на мой меморандум? Когда вы решитесь на тот или иной ответ? Ну, дайте ж мне руку. Перестаньте измываться надо мной!

Он взял руку Анны повыше локтя и осторожно потянул к себе. Обычно бледное лицо его было красно и потно.

— Цыц! — повела плечом Анна. — Цыц, уважаемый демон! Пока вы не совершили ни одного подвига и не заработали еще моей души! Ведите себя прилично. Вы слишком много выпили коньяку.

И после того, как Моложаев сел:

— Ну, а скажите-ка, любезнейший Борис Николаевич! Почему вы мне все это рассказали? Почему вы так откровенны со мной?

— Я считаю вас сообщницей! — улыбнулся гость. — Вы тоже хищница, Анна, потому что вы способный человек и красивая женщина. Вы не можете мне не сочувствовать.

Анна гордо подняла голову. Глаза ее потемнели.

— Ну, а если вы все-таки ошиблись, и я вздумаю вас разоблачить?

Моложаев насмешливо поднял плечи.

— В чем разоблачить, Анна? В недозволительном философствовании? В отсутствии нравственных задатков или в странном сходстве с дьяволом? Анна, я опять повторяю вам! Я не дурак, и за все время моей советской жизни не совершил еще ни одного поступка, за который нужно отвечать перед лицом закона или высокой администрации!

— Но если я просто повторю все то, что вы мне рассказали?

— Вам никто не поверит, потому что все знают меня за вполне советского человека, да к тому же еще, совсем не болтливому!

— Но если я расскажу это близкому приятелю, который мне доверяет и симпатизирует?

— Я не советую вам делать этого, если вы ему тоже симпатизируете. Ведь я скажу, что вы мне просто по-женски мстите за недостаток мужской верности.

— Ну, а если это такой человек, на которого не действуют ваши уловки? Если он другой, новый...

— Таких людей нет, Анна! Я не карточный шулер, чтобы меня можно было поймать таким наивным приемом!

— Так вы, значит, уверены, что я этого не сделаю?! — сердито изумилась Анна. — Напрасно! Сейчас я вызову сюда Марка, Обольянова Марка, вы знаете его, это член хлыновской бригады. Я передам ему в вашем присутствии, если вы не струсите и не сбежите, все, что вы мне наговорили! И тогда-то вот посмотрим, уважаемый циник, что с вами станется!

Резким толчком она отодвинула от дивана столик, чтобы освободить себе проход. Звякнули и задребезжали чашки. Коньячная бутылка, медленно качнувшись, повалилась на бок. Смуглое лицо Анны было искажено злостью. Сочные губы, как рана, дымились на этом лице.

— Не шутите с огнем, Анна! — преградил ей дорогу Моложаев. — Неужели вы не понимаете, что ставите себя в смешное положение?

Анна шла на него, как на пустое место, и в последний момент, чтобы не столкнуться с ней грудь с грудью, он должен был отступить.

VI

Иногда Анна теряла вкус к жизни и работе.

Это не была обыкновенная «девичья скорбь», исчезающая при первой улыбке солнца. Давно уже были пережиты и смерть матери, и бурные радости тюзовского триумфа, и следующая за тем катастрофа с оперной постановкой. Анна могла уже почитать себя взрослым человеком, и тем досадней были для нее эти приступы неоправданной тоски.

Это приближалось упорно и неотстранимо, словно предчувствие смерти. Это накатывало, как падучая. Внезапно все меркло и тускнело, будто на мир напознала незримая грозная туча. И солнце, и небо, и вся жизнь казались блеклыми, как вылинявший ситец. Анна не узнавала вкуса в пище, в музыке, в книгах. Странное беспокойство охватывало ее. Она тревожно прислушивалась к звонкам, хоть и никто не должен был прийти. Ее тянуло из дому, хоть она и не знала куда. И вот в один из таких дней случился с нею казус, имевший в ее истории особое значение.

Летом прошлого года, убивая бессонницу, Анна брела вдоль набережной Москва-реки. Ночь была теплой, влажной и чуть туманной. Справа мерцали огни Замоскворечья, тысячу раз умноженные в реке. Слева белелась зубчатая стена Китай-города, и тлели бульварные фонарики. Мокрый асфальт шоссе блистал и вонзался во тьму, как клинок.

Анна шла вдоль гранитного парапета без дум и намерений, изредка останавливаясь, чтобы заглянуть в плещущуюся внизу воду.

...Ей пришло в голову зайти в ночной ресторанчик, расположенный в нижнем этаже туристского отеля.

Она давно уже заметила, что ночная жизнь большого города возбуждает ее любопытство. Ей нравилась атмосфера дешевого бара: звон рюмок и звуки легкой чувственной музыки. Подвыпившие люди вообще казались ей более занятыми, чем трезвые их собраты. И странное дело: ее не оскорбляли даже те откровенные взгляды, какими смотрели на нее завсегдатаи кабачков.

Анна отдала служителю шарф и прошла в переполненный зал. В его глубине, на заменявшем эстраду возвышении, метался шумный, как рынок, джаз. Несколько пар фокстротировали между столиками. Пьяный азарт танцоров подчеркивал скрытую непристойность пляски. Розовые и зеленые, возбужденные и вялые, веселые и хмурые лица маячили в сизой табачной дымке. Смесь говора, музыки и звяканья посуды — низкий волнующий «зум» стоял в ресторане.

Отыскивая незанятый столик, Анна маневрировала между гостями. Одета она была с той изысканной простотой, которая недоступна обычным посетительницам этих мест. Но так как она все-таки была одна, ее встречали шутками и двумысленными замечаниями.

— Садитесь, Нюрочка, — пропел за ее спиной чей-то сипловатый голос. — Мы рады вам!

Анна вздрогнула и оглянулась, удивленная, что ее называют по имени. Это была, конечно, случайность. Глаза комунхозовского сатира смотрели на нее, пьяные, слезящиеся и плотоядные. Анна вскинула голову и прошла мимо. Она ничего не имела против того, что ее принимают за «легкую» женщину. Ей даже представилось забавным разыграть такую роль.

За неимением других мест, она под села к уединенному столику какого-то сумрачного человека. Решительно гро-

мыхнув стулом, закинув ногу на ногу, она приняла смелую позу. Из висящего против нее зеркала выглядывали теперь вызывающая улыбка и томное лицо гетеры.

Анна очень живо представила себе, что находится сейчас далеко от дома, где-нибудь «там», за рубежом, в каком-нибудь среднего качества ресторанчике на Монмартре или на Бульварах. Впрочем, такое сближение давалось не без труда. Надо полагать, официанты не имели «там» этого вида достоинства и независимости, с каким они обслуживали гостей здесь. Да и публика, вероятно, была «там» шумнее. Анна заказала ужин и принялась рассматривать своего ближайшего соседа.

Это занятие вообще доставляло ей удовольствие. Она любила отгадывать по чертам лица характер, привычки и странности человека. На физиономии соседа застыла некая высокомерная, не ищущая сочувствия скука. Он лениво ковырял вилкой в поданном кушанье и медленно пил вино. Может быть, это был один из тех заезженных жизнью людей, которым даже веселый ресторанный ужин не кажется вкусным. Впрочем, это мог быть и баловень судьбы, руководитель какого-нибудь почтенного учреждения, крупный работник, неусыпные государственные заботы которого накладывали печать солидности даже на игривые радости ночного времяпрепровождения. Нестарое еще и энергичное лицо его казалось приятным. Происходящее вокруг нимало его не интересовало. Он допивал свою бутылку, но был трезв, как судебный заседатель. Таким образом, Анне сразу попался на глаза предмет, подстрекающий работу воображения.

— Дайте мне папиросу! — обратилась она к соседу. — И не будьте букой! А то у вас вид факельщика.

Это было сказано соответствующим месту и случаю, намеренно задиристым и заигрывающим тоном. Человек, лениво прищурившись, впервые поднял на Анну глаза. Впрочем, на лице его тотчас же мелькнуло чистосердечное удивление, словно он узнавал в соседке добрую знакомую, которую не ожидал здесь встретить.

— Извините, пожалуйста! — очень любезно произнес он, протягивая портсигар.— Я и не подозревал, что рядом со мной сидит такая очаровательная женщина!

— Ой, ой, ой! — воскликнула Анна, закуривая.— Вы начинаете с такого бородатого комплимента, что я по молодости лет могу испугаться и сбежать!

Человек все с тем же выражением удивления на лице придвинулся к ней ближе.

— Будем пить? — неожиданно грубо и многозначительно спросил он.

— Будем пить, — улыбнулась Анна,

И чтобы у человека совсем не осталось сомнений, с кем он имеет дело, она потрепала его по щеке.

Через полчаса они уже болтали, как давние приятели. Анна старалась, как подобало в ее роли, держаться и говорить возможно развязнее и вольнее. Однако, актриса из нее вышла бы неважная. Человек смотрел все подозрительнее и стремился её подпоить.

— Пейте, — то и дело приказывал он. — *In vino veritas*, говорили прежде. Самое же главное, что вино освобождает. Ведь человек, в сущности, многоэтажен. Верхние этажи всегда угнетают подвальных обитателей. Опыянение — это восстание низов. Пьяницы грубы, но зато и прямодушны, как животные. Они не лгут.

Они пили, танцевали, болтали и снова пили, потеряв ощущение меры и времени. Анна вливала в себя обжигающую жидкость, и к сердцу ее подступала теплая муть. Все окружающее становилось странно близким, благожелательным и доступным.

— И вы тоже пейте! — требовала она. — Вино не только освобождает. Оно поет. Недаром один мой знакомый говорит, что без кабаков он не мог бы выдавить из себя ни одной ноты.

Она забывала уже о своей роли, и сосед ловил ее на обмолвках.

— Кто вы? — спрашивал он.— Какой ветер занес вас в эту трущобу? Вы не похожи на тех, что часто здесь бывают.

Вы Незнакомка. Вы бред. Зачем переселились вы из блоковых стихов в этот штопанный москвошвеевский мир?

Анна только смеялась.

Она была пьяна так сильно первый раз в жизни. Мир расплзался в ее глазах, как ноги пьяницы. Свет ламп становился расплывчатым и неровным. Лица людей, столики, скатерти, бутылки — все это теряло отчетливость очертаний. В зеркалах колыхался стеклянный дым. Стены ресторана пропадали в бесконечности. Призрачные и неправдоподобно огромные кружились танцующие пары. Музыка, точно воспоминание, звучала из непостижимого далека.

Она смотрела на своего соседа, и ей казалось, что все это уже было однажды: и музыка, и танцы, и дым в зеркалах, и даже вот эта, растекшаяся по скатерти, винная лужа, в которой купался ее локоть. Ей было необъяснимо грустно. Шершавый ком подкатывался к ее горлу. Где-то на полуслове она вдруг вскрикнула без всякой к тому причины, потом рассмеялась, потом опять вскрикнула, и, положив голову на край стола, беспомощно проговорила:

— Я пьяна... совсем пьяна!.. Уведите меня!

Человек тотчас же встал и, расплатившись с официантом, повел Анну к выходу. Сквозь гам и непонятное мельканье они продирались по залу, как через заросли, то и дело наталкиваясь на чьи-то ноги, стулья, столики. Человек усадил Анну в такси, сел с нею рядом и, сказав что-то шоферу, с треском захлопнул дверцу.

Авто с ревом летело по темным улицам, Анну подбрасывало на упругом сиденье, точно на качелях. Она не удивлялась в тот момент ни странному этому путешествию в неизвестность, ни близости незнакомого человека. Казалось очень естественным, что сильная мужская рука придерживала ее за талию и крепко обнимала на поворотах. Хищноватое сумрачное лицо приближалось к ней, и она улыбалась ему, не чувствуя ни отвращения, ни страха,

— Одиночество — это судьба сильных! — бормотал сосед. — Одиночество — это ад, от которого нет спасенья ни

одному праведнику. Будем же обманывать свое одиночество!..

Человек поцеловал Анну в ослабевшие покорные ее губы, и она не имела ни сил, ни желания этому помешать. Непонятное онемение охватывало все ее тело. Мысли путались, голова пустела. Нечто всесильное и сковывающее, как сон, надвигалось на нее.

Здесь в воспоминаниях Анны сохранилось только что-то очень похожее на остатки вырванной из книги страницы. Она не помнила больше, как и куда они приехали. Она уже видела себя снова только в комнате того человека.

Чужие неразличимые вещи темнели в глухом квартирном ущелье. Мертвенно сияла под потолком синяя ночная лампа. Ковровая скатерть сползала с опрокинутого на бок стола. Прижавшись спиной к стене, Анна отбивалась от наступающего на нее человека.

— Нет, нет, нет! — шептала она, отталкивая его руки. — Вы ошиблись, вы ошиблись! — нелепо повторяла она. — Я не та, я другая... Вы не смеете!.. Пустите! Я буду кричать!

Она вырвалась, наконец, и отбежала к противоположной стене комнаты. С внезапной гадливостью и омерзением она увидела свою обнаженную ногу и судорожно натянула сползший чулок. Человек приближался к ней снова. Гнев и удивление были написаны на его лице. Он смотрел на девушку глазами кошки, готовящейся к последнему прыжку.

— Слушай, черноглазая! — говорил он. — Тебе не удастся меня обмануть. Ты уже не уйдешь от меня так... Кто бы ты ни была: проститутка, сильфида, искательница приключений, святая или безумная — ты не уйдешь от меня!.. О такой, как ты, я мечтал всю жизнь! Ведь это же издевательство: прийти, раздражить и уйти!.. Нет, ты не убежишь теперь от меня!..

Он бормотал, приближаясь, и, как слепой, протягивал вперед трясущиеся руки. Изуродованный желанием, он не шел, а крался, по-звериному пригнувшись и втянув голову в плечи. Хищное безумие было в каждом его движении.

Молниеносно трезвея, Анна содрогалась от страха. Ей было ясно, насколько абсурдным должно казаться ее сопротивление после того, как она зашла так далеко. Она чувствовала себя в положении школьницы, глупая шалость которой привела к большому несчастью. Мысль о том, что могло сейчас произойти, точно судорогой стягивала все ее члены.

Расточная этим жестом остатки воли и сознания, Анна потянулась к звонку. Рванувшись к ней, человек поскользнулся и упал, стаскивая на себя с письменного столика какие-то книги и предметы. И в следующий момент наступило неожиданное превращение.

По лицу человека потекли фиолетовые потоки. Белая его сорочка, часть шеи, упитанный подбородок и щека — все это было залито опрокинутыми чернилами. Человек поднимался с пола на четвереньки, бормоча сквозь зубы проклятия.

Это было похоже на ту негаданную случайность, когда во время трагической сцены с юного Париса сваливается золотокудлый парик, и все узнают под ним пятнистую лысину престарелого тенора. Драма негаданно превращалась в фарс, и Анна расхохоталась, чувствуя, как разом рассеиваются ее отчаяние и страх. Все происходящее вдруг представилось ей с нелепой и смешной стороны. Человек внушал теперь не ужас, а презрение.

— Посмотрите-ка на себя! — говорила она ему, указывая на зеркало. — Ну, разве вы годитесь сейчас для роли Тарквиния?... Бедная Лукреция может превратиться в ваших руках в промокательную бумагу. Вам нужно сначала вымыться и отрезветь!

И она, улыбаясь, спокойно прошла мимо него к незащищенной теперь двери. Уже приоткрыв ее, она оглянулась. Размазывая чернила, человек проводил ладонью по щеке. В глазах у него были злоба и унижение.

— Адье, мон шер! — бросила Анна напоследок. — Считайте, что все это вам приснилось!

Это был, по-видимому, огромный и многоэтажный дом,

где они находились. Прежде чем выбраться из него, Анна добрую четверть часа блуждала по лестницам и коридорам. Внизу, в полуосвещенном вестибюле, сидя на скамье, мирно спала дворничиха, отмахиваясь во сне от ранней утренней мухи. Через минуту, облегченно дыша, Анна шла по залитым сизым рассветом улицам, дивясь непривычной их пустынности и молчанию.

Проснувшись наутро дома, она и сама была склонна считать события вечера сном. К ее изумлению, она думала о них без особого сожаления. Человека она вспоминала даже не без некоторого благорасположения. Впрочем, поразмыслив, она решила, что с нее хватит экспериментов и что в следующий раз она будет обращаться с людьми осторожнее.

Пять дней спустя, когда, возвращаясь откуда-то, она звонила у крыльца своего дома, ее ждало новое испытание.

Чья-то настойчивая рука дотронулась до ее плеча. Анна резко повернулась и близко, у самого своего лица, увидела сумрачную усмешку ночного спутника.

— Я все-таки выследил вас, — сказал он. — Я знаю, кто вы и как вас зовут. Но вам не надо меня пугаться. Я пришел, чтобы стать смирным и хоть изредка видаться с вами. Вы существо не вполне для меня понятное, и я не могу спать спокойно, не узнав вас лучше.

Анна заносчиво вскинула голову, собираясь возмутиться, но вместо этого почему-то рассмеялась и пригласила человека в дом. Так в списке ее знакомых появилась новая фамилия — Моложаев.

...Обстоятельства этого пестрого знакомства и предстали перед нею в тот день, когда, выполняя свою угрозу, она вышла в соседнюю комнату, чтобы позвонить Марку. Взявшись за трубку, она, однако, еще не снимала ее. Густая тишина стояла в пустынном их доме. Оставленный в одиночестве гость не подавал никаких признаков жизни.

Насколько Анна помнила, Моложаев всегда действовал на нее раздражающе, как горчичник. Он был занимательным собеседником, он умел так повертывать разговор, что с ним никогда не хотелось соглашаться. Намеренный его ци-

низм и двусмысленная откровенность были слишком явно рассчитаны на эффект. В течение всего года знакомства он не скрывал, что смотрит на Анну как на крепость, которая должна рано или поздно пасть! И странное дело: грубое это упорство немножко интриговало ее и будило какие-то тайные, чуточку стыдные, мысли.

Марк и Моложаев были не просто ближайшими ее знакомыми. Они были воплощением ее двойственности. С Марком, казалось ей, она становилась умней и яснее, с Моложаевым же — больше чувствовала себя женщиной. Вероятно, ей хотелось того и другого, потому что с обоими она встречалась не без удовольствия.

Не случайно также подшучивала она над мальчишеским Марковым смущением или придумывала скептические испытания его уму. Она считала себя опытнее и взрослее. Моложаевская развязность, однако, порождала в ней приступы отвращения. Она сопротивлялась и мыслям и желаниям этого человека без особого труда, но, вместе с тем, чувствовала оскорбительную зависимость от него.

Услышав позади себя шорох, Анна оглянулась. Гость стоял в дверях за ее спиной и беспечно играл бахромой портьеры.

— Ну что ж, Анна?— спрашивал он. — Как видно, вы все еще раздумываете, стоит ли предавать меня анафеме? Я думаю, что, в конце концов, верх возьмет благоразумие. Ибо ведь в случае катастрофы вам не найти уже такого другого любопытного экземпляра!..

Склонив голову на бочок, он насмешливо насвистывал какой-то бравурный опереточный мотивчик. Анна сорвала с телефона трубку и начала названивать в Институт.

Это и был тот самый бурный трезвон, который настиг Марка в лаборатории.

VII

Около семи Марк переступил порог хорошо известного ему особняка. Он начал меркнуть еще в передней, когда, раздеваясь, неожиданно услышал звуки мужского голоса.

Значит, у Анны кто-то был, и, значит, она звала его не потому, что соскучилась, а просто по какому-то деловому поводу. Топчась у вешалки и снимая пальто, он прислушивался к доносившемуся до него разговору безо всякого удовольствия. Невидимый Аннин гость казался по всем признакам человеком бывалым. Ему, вероятно, нравилось слушать самого себя, потому что после каждой фразы он не громко, но щедро посмеивался. Наслаждаясь игрой собственного горла, он дарил слова, как рубли, и Марк почему-то уже заранее чувствовал неприязнь к еще неусвоенному их смыслу.

— Ну, что ж вы, Марк? — кричала через комнаты Анна. — Раздевайтесь скорее и идите! Мы ждем вас с нетерпением.

Он вошел и остановился у притолоки, озирая слабо освещенную комнату. Китайский фонарик под потолком, кофейный столик, опрокинутая коньячная бутылка и уютная поза гостя — все говорило о короткой встрече и приятельских отношениях.

— Надо полагать, вы знакомы? — с возбуждением заговорила Анна. — Моложаев — Обольянов. Прошу любить и жаловать. Впрочем, одного можно запросто звать Марком. Правда, ведь, Марк?..

Она дотронулась до его руки необычайно горячей ладонью. Изображая учтивый поклон, Марк перевалился с боку на бок. Возлежавший на диване человек встречал его насмешливым блеском глаз. Марк дивился, что не узнал его сразу.

— Да, мы знакомы, — подтвердил он. — В некотором роде соработниками даже являемся!

Он, конечно, преувеличивал свое знакомство с Моложаевым, потому что встречался с ним только на заседаниях стратосферной бригады, и больше знал о нем понаслышке из уст Хлынова.

— И, оказывается, у нас не только общая работа, — произнес Аннин гость, — но и общие знакомые. Так сложно пересекаются человеческие пути.

Ироническая многозначительность этой реплики показала Марку почему-то оскорбительной. Ничего не ответив, он сел и деловито повернулся к хозяйке:

— Ну, чем я могу быть полезным, Анна?

Девушка всплеснула руками и укоризненно покачала головой.

— Что с вами со всеми делается сегодня? Что это за тон, Марк? Я, можно сказать, ждала вашей дружеской поддержки, а вы являетесь, точно фининспектор...

Следовала быстрая разоружающая улыбка.

— Мы тут много спорили без вас,— продолжала она.— Вот товарищ Моложаев утверждает, что я слишком женщиной и что он не верит в мое мужество!

Она так и сказала — «товарищ Моложаев», вложив в обращение вызов и угрозу. Закинув голову, она смотрела на гостя как расшалившаяся школьница, собирающаяся бросить в него снежком. Человек комфортно покачал закинутой на ногу ногой.

— Вас несколько неточно информируют,— говорил он Марку, не глядя на него. — Просто я считаю, что Анна достаточно умна, чтобы не делать глупостей. Красивой женщине опасно становиться смешной!

Что-то в его тоне напоминало Марку тот вечер, когда Марк сбежал от Анны. Может быть, Моложаев и был тем галантным спутником, который привез ее тогда в авто? Марк рассматривал этого человека с обновленным любопытством, словно в нем обнаружилось нечто лично до него относящееся. Ему было интересно, как он сидит, как двигает белыми руками, как кладет ногу на ногу, закуривает и улыбается. С таким же интересом он смотрел бы на спортсмена, назначенного бежать с ним в паре на соревнованиях.

— Но, все-таки, в чем же дело? — недоуменно спрашивал он. — Я ничего не понимаю!

Из этой игры в намеки и полуслова нельзя было угадать ничего путного. Марку становилось неловко, словно он присутствовал при семейной ссоре или чужом интимном объяснении.

— Расскажите же, Анна, в чем дело! — настаивал он.

— Ну, что ж, уважаемый Борис Николаевич! — медленно протянула Анна, — Придется, видно, приступить к изложению темы. Вы напрасно рассчитываете на мое великодушие! Сегодня я зла!

Моложаев снисходительно шевельнул бровями.

— Я рассчитывал не на великодушие, а на ваш вкус. Я думаю, что вы не рискнете уподобиться пресловутой офицерской жене, которая сама себя высекла. И потом... вы слишком долго тянете, уж если решили действовать направо... Ваш приятель нервничает и волнуется.

Нотки превосходства и фамильярности, звучавшие в разговоре Моложаева с Анной, казались Марку кошунством.

«Что он ломается, этот пшют? — с неожиданной ненавистью подумал он. — Кто дал ему право говорить здесь тоном бреттера, находящегося в гостях у любовницы?».

Случайное это сближение, мимолетно мелькнувшее в голове, тем не менее заставило Марка окостенеть. Омерзительный холодок пробежал по его внутренностям, точно он прикоснулся нечаянно к какой-то скользкой и отвратительной гадине. Все в нем замерло в предчувствии стыдной догадки. Мысль о том, что Анна и Моложаев связаны больше чем простым знакомством, казалась ему совершенно нестерпимой.

— Однако ж, я совсем было позабыл об этом! — засуетился он, вскакивая со стула. — Ведь мне же еще по делам надо! Уж как-нибудь я к вам, Анна Алексеевна, в другой раз... Совсем забыл!..

Он протягивал Анне руку и одновременно застегивал пуговицы куртки. Девушка созерцала эту суету с просто-душным удивлением.

— Что с вами, Марк? Куда это вам так понадобилось топориться? И когда это я стала для вас Анной Алексеевной?

Они стояли друг против друга, одинаково растерянные и смущенные. Не находя удобного выхода из положения, Марк только упрямо повторял одну фразу:

— Мне тут по делу! Никак нельзя!..

Он слышал за своей спиной благовоспитанный смешок Аннинного гостя и не знал, куда девать вдруг отросшие и окоченевшие руки.

— Так времени же еще хватит! — сквозь смех восклицал Моложаев. — Вы можете, Анна, рассказать все молодому человеку в двух словах! Торопитесь!

— Вы этого, в самом деле, хотите? — с угрозой повернулась к нему Анна.

Гость оборвал смех на самой высокой ноте, и с неурочной суровостью в голосе сказал:

— Я хочу, чтобы вы перестали, наконец, себя морочить! Пора стать взрослой!

Это был приказ человека, облеченного властью. Анна заносчиво выпрямилась и тряхнула головой. Впрочем, в следующую минуту она уже опустилась на диван и, неестественно улыбаясь, закрыла глаза ладонью.

— Он прав! — покорно произнесла она. — Я пошутила, Марк! Все это вздор и чепуха!.. Мне все привиделось!.. И, наконец, спора у нас нет. Просто мне захотелось вас увидеть!

Это неожиданное смирение только окончательно взбесило Марка. Он чувствовал себя в положении простака, над которым устраивают непонятные ему эксперименты. Контроль над собственными чувствами и действиями уже уплывал из его рук.

— Вы напрасно выбрали меня объектом своих шуток! — с неожиданной для самого себя злостью закричал он. — Я не давал вам права обращаться со мной как с мальчишкой! Ни вам, и ни вашим... приятелям, чтобы чорт их побрал!

Почти тотчас же осознав ненужность этой вспышки, он быстро вышел из комнаты, как куль, повалив подвернувшийся под ноги стул. Казалось, потолки рушились над его головой, а стены и пол качались, как на море в штормовую погоду. Кое-как втиснув ноги в галоши и еле славив с пальто, он выскочил на улицу и побежал по тротуару. Ему хотелось врезаться головой в первый трамвайный столб.

В комнате Анны большой человек с дрессированными глазами преувеличенно громко хохотал, катаясь по дивану.

— И как же вам не везет, Анна! — выкрикивал он в промежутках. — Концерт ваш, увы, провалился! Первая скрипка сбежала по причине несварения желудка, и дирижеру придется, видно, извиняться перед публикой. Впрочем, пожалуй, получилось бы еще смешней, если вы вздумали бы всерьез осуществить свою угрозу! Ведь этот взбесившийся мальчишка заварил бы по вашему внушению такую кашу, что вы сами были бы не рады.

— Замолчите! — прервала его Анна, сделав резкий жест. — Замолчите! Никто не разрешал вам так говорить о моих друзьях! Вы напрасно полагаете, что я испугалась. Просто я решила, что в ту комедию, которую вы со мной разыграли, в самом деле, нелепо замешивать серьезных людей. Жаль только, что я обидела Марка!..

— Еще легче вы можете его утешить! — вновь захохотал Моложаев. — Он же влюблен в вас, этот чувствительный юноша! Как вы не понимаете этого? Он же ревнует вас и лезет на стену, хоть это и неприлично для комсомольского его звания!.. Он осыпает, вероятно, сейчас весь мир грозными филиппиками и прокликает тот час, когда родился!..

— Вы думаете? — со строгим изумлением переспросила Анна. — Вы думаете? — повторила она секундой позже, уже улыбаясь. — Ну, тогда тем хуже для вас!

— Однако, хуже или нет, — сказал гость, вставая, — но вы на сегодня проиграли... И, стало быть, должны платить!

Он подошел к ней и взял ее за руку.

— Вы должны, наконец, дать мне ответ. Зачем скрывать?.. Мне и так, конечно, известно, что я любопытен для вас, может быть, просто как бульварный роман со сложной интригой. Но сегодня у меня вообще решительный день, и я хочу себя подкрепить стаканом хорошего вина, Этим вином должно быть ваше слово!

Анна стояла перед гостем с отсутствующим лицом. Некая невяжущаяся с положением мечтательность отража-

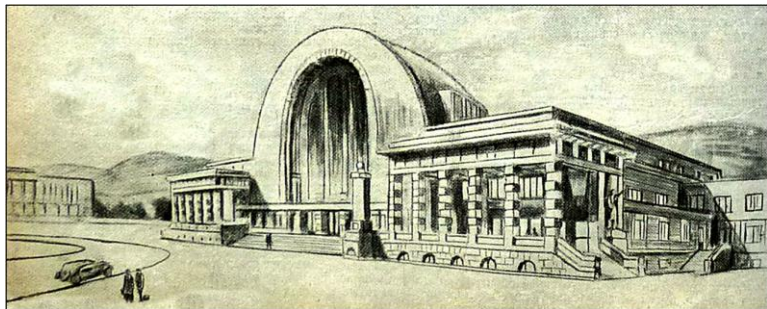
лась в ее глазах, словно она умом путешествовала уже в других широтах.

— Убирайтесь!— тихо приказала она, освобождая руку.
— Убирайтесь, Борис Николаевич, я устала!..

Это было сказано достаточно властно, и Моложаев тотчас же отступил к двери.

— Но когда же, Анна? — спросил он последний раз. —
Когда же? Я не могу больше ждать!

— Убирайтесь! — повторила Анна вместо ответа —
Убирайтесь! Я хочу остаться одна.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Заседание было назначено ровно в девять.

За четверть часа до срока Хлынов ввалился в вестибюль ЦС и, проходя мимо зеркала, случайно посмотрел на свое лицо. Ему показалось, что в глазах его сквозила та самая вызывающая решимость, с какой отчаянный жокей берег последнее препятствие на скачках.

Как нарочно, у вешалок он столкнулся с Моложаевым. По покровительственной нежности его тона, по подчеркнутому спокойствию и ненужной общительности Хлынов понял, что противник не сомневается в исходе предстоящей схватки.

— Ну, как обстоят дела, Матвей Васильевич?— следовал отечески ласковый вопрос.— Сегодня мы, кажется, решаем тяжбу окончательно? Смотрите ж, готовьтесь к бою по-настоящему. Мамонтов распален, как зверь, и намерен драться до издыхания.

Моложаев говорил так, словно все его симпатии давно уже были на стороне Хлынова. С видом заговорщика, предупреждающего об опасности, он склонялся почти к самому уху пилота и ободряюще трепал его по плечу.

— Ничего! Вы человек стреляный! Отгрызетесь!

Собственную коробку с папиросами он раскрывал перед Хлыновым с такой помрачительной готовностью, с какой

швейцары дореволюционной марки раскрывали двери перед высоким начальством.

— Ну что ж, пойдемте, пойдемте! — дружески поторапливал он. — А то ведь Ратнер у нас как аптекарь, любит точность и сотые деления!

Впрочем, ждать пилота он всё-таки не стал и быстро умчался вверх по лестнице, шагая через ступеньки. Гладкую его спину, туго затянутую в хаки, Хлынов проводил брезгливым взглядом.

Когда, несколько минут спустя, он поднялся в зал заседаний, почти все участники были уже в сборе. Рука об руку с имевшим похоронный вид Марком прохаживался вдоль стены профессор Волженцев. Окруженные кучкой молчаливых зрителей, Мамонтов и Кушнарев доигрывали в уголке очередную шахматную партию. Озадаченный ловким выпадом, Кушнарев нерешительно брался то за одну, то за другую фигуру и думал над ходом так, точно ему предстояло кинуться в воду. Рядом со щупленьким его тельцем родство Мамонтова казалось вдвое внушительней и грозней.

Хлынов вошел, бросил на стол распухшую свою сумку и медленно обозрел собравшихся. В дальнем конце зала, подобный брандмейстеру на пожаре, грохотал среди цеэсовских инженеров ученый секретарь Филин. Мирно похрапывал в кресле, прикрывшись газетой, старик Ложкин. Дух расторопности и деликатного обхождения — Моложаев уже крутился тут и любезно жужжал, перепархивая от человека к человеку.

— Ну, как с женой, Матвей? — спросил пилота незаметно подошедший Сажин. — Отвез? Устроил?... Ну, вот и превосходно! Будем, значит, скоро октябрины справлять!

Приятель с несвойственной ему игривостью заговорил о посторонних вещах. Он шутил и преувеличенно громко смеялся, словно хотел убедить кого-то, что все обстоит благополучно. «Эх ты, Геркулес! — добродушно подумал пилот, глядя на темные круги под глазами инженера. — Тебя самого-то на костыли ставить надо» Он понимал назначе-

ние неожиданного сажинского оптимизма, и его умиляла эта простосердечная дружеская хитрость.

— Ничего, Федор! — сказал он, не желая лукавить. — Нас голыми руками взять трудно!

Однако он не мог не видеть, что общее положение с самого начала складывается невыгодно. Ратнер, в связи с предстоящим завтра открытием слета передовиков промышленности, на заседание не приехал и позвонил только, чтобы ему прислали стенограмму. Председателем дискуссии выдвигался Филин, и, стало быть, на предполагаемую раньше поддержку рассчитывать уже было нельзя.

Ученый секретарь ЦС с достоинством занял свое место и, точно дирижер перед вступлением оркестра, постучал карандашом.

— Ну-с, начнем хотя бы с вас, Сергей Анисимович! — прохрипел он в сторону Мамонтова — Выкладывайте ваши соображения!

И еще не уgomонились звуки покашливания, обрывки разговоров и треск сдвигаемых стульев, когда над зеленым полем стола выросла крона большой мамонтовской головы.

Он потрясал пышной своей гривой и запрокидывал голову, этот красивый седеющий человек. Розовый желвак на его горле приплясывал, точно швейный челнок. Как артист, исполняющий соло, он нежно скандировал и закруглял слова. Уверенный и солидный речитатив быстро овладевал общим вниманием.

Мамонтов говорил об опасностях зимнего полета и метеорологическом коварстве слоистых облаков, особенно частых в это время года. Он напоминал о преобладании южных ветров и температуре минус десять градусов, при которых, по его мнению, было почти неизбежным обледенение ракетоплана при подъеме. Спокойным тоном исследователя он нагромождал перед слушателями груды цифр, сводок, сообщений и цитировал статьи крупных специалистов, якобы подтверждавших его точку зрения. В общем выходило, что полет представлялся Мамонтову сущей нелепицей, и каждая его фраза звучала, как приговор.

— Я не вижу необходимости торопиться с таким важным и ответственным делом,— сказал он в заключение. — Почему нужно лететь сейчас, когда можно с успехом дожидаться весны или лета? Правда, — ушипнул-таки он под конец противника, — товарищ Хлынов и его сподвижники всегда отличались похвальной быстротой действий, но эта тактика хороша далеко не во всех случаях. Иногда лучше меньше, но лучше.

С видом хирурга, окончившего трудную операцию, он сел и отбросил свой торс на спинку стула. Лицо его выражало некое филантропическое удовлетворение, словно он только что совершил акт благородного самопожертвования. На Хлынова он не смотрел, но пилот и без того чувствовал скрытую злобу его щегольского бесстрастия. Он догадывался, что академик мог мстить ему за прошлое пренебрежение к теории обледенения. Нельзя было не понимать, что время для реванша выбрано весьма удачно.

Хлынов подчеркнул сделанную им запись и отодвинул блокнот. Он давно уже отмечал за Мамонтовым эту склонность примешивать к науке собственные обиды, и его подмывало на дерзость или насмешку. Впрочем, его пора еще не настала.

Профессор Ложкин полусонно заявил, что вопрос нуждается в дополнительной проработке. Спор развивался по заранее намеченным путям; среди открытых сторонников Хлынова, как и следовало ожидать, оказались профессора Чумкин и Грудский. Добродушнейшая физиономия Чумкина, более похожего на водолива, чем на профессора аэрологии, тотчас же приняла тот оттенок смешливой серьезности, с которой он всегда подготовлял свои выпады.

— Мой уважаемый коллега, — начал он, поглаживая кержацкую бородку, — очень поэтично живописал опасности слоистых облаков и неустойчивой температуры. Но мой уважаемый коллега упустил из виду прозаическое соображение, что подъем предполагается совершить при наиболее благоприятствующих метеорологических условиях. Самый же полет в стратосфере от этих усло-

вий не зависит. Наша служба погоды внесет, вероятно, свои деловые поправки в его высокоавторитетные, но слишком теоретические соображения. Мне нечего, конечно, возразить против общепризнанных фигур, употребленных в выступлении, но что касается существа дела, так тут надо подумать...

Чукмин юмористически прищуривал серый мохнатый глаз и делал многозначительную паузу, выжидая, чтобы каждый настроился на соответствующий лад. Слова «мой уважаемый коллега» он произносил как титул, вкладывая в них слегка обидный и шутовской смысл. Деловой разговор на его языке становился немножко драчливым и вызывающим.

Хлынов слушал одного за другим выступавших людей и постепенно скучнел все больше и больше. Ему казалось, что все они, и сторонники его, и его противник Мамонтов, и не желающий ни с кем портить отношений Ложкин, говорят совсем не о том и совсем не так, как следовало. Он и без них прекрасно знал об опасностях полета, но ведь было важнее думать о том, как следует их преодолеть. К тому же, он видел, что спор совершенно бесполезен, Мамонтов не мог совершенно искренно считать старт невозможным, так как знал солидную подготовленность дела, но он не мог и отказаться от удовольствия отплатить за прежнее поражение. И все, наверное, прекрасно это знали, но делали вид, что не знают, и слушали спор с глубокомысленно скучающими лицами.

Вот это всегдашнее вмешательство в дело личных пристрастий и мелкой межчеловеческой дипломатии и возмущало Хлынова. Он не понимал, как можно строить социализм с нечистой совестью или с задними мыслями. Спесивая важность Филина, вороватые плечи Ложкина или презрительный аристократизм Мамонтова — все это в одинаковой мере казалось ему противным. Теперь у него совсем не было оснований подозревать в чем-нибудь Моложаева, но вид добродетельной скромности, с каким тот слушал выступающих, пробуждал в нем раздражение.

Он посмотрел на другие, приятельские лица, и должен был невольно улыбнуться, встретившись с недоумевающим и возмущенным взглядом Марка. Молодой физик не скрывал своих чувств и с ненавистью заглядывал в рот профессора Ложкина, бормочущего что-то о целесообразности отложить свое решение. Пилот поймал бодрящий кивок Волженцева, сочувственную мину Грудского и порадовался решительной осанке Сажина. Нет, чорт побери, он далеко не один здесь со своим намерением добиться полета! И не они, эти людишки с повадкой крыс, а он и ему подобные — хозяева на этой земле!

С этим-то волнующим ощущением он и встал, когда пришел его черед говорить.

— Давайте, товарищи, перестанем понапрасну убивать время! — резко сказал он. — Времени у нас немного, и надо его ценить. Я долго слушал, что здесь говорилось, но, право же, ничего нового не услышал. Что зимний полет опасней — никто не спорит! О трудностях взлета и посадки я сам бы мог немало наговорить! Но дело-то ведь не в трудностях, а в нашем уменьи их видеть и устранять. Высотная и скоростная авиация — это вопрос для нас неотложный и важный. Ракетоплан нами построен, и, стало быть, ни ждать, ни бояться риска не следует.

Как и всегда в ответственные минуты, он чувствовал себя уверенным и спокойным. Больше всего его пугала неопределенность. Чувство бодрости и свободы, как и у всякого здорового человека, было у него связано с действием. Один за другим он опрокидывал доводы Мамонтова, иронизировал над нерешительностью Ложкина и намечал средства для предупреждения действительных опасностей. Обнаруживалось, что академический жаргон его отнюдь не затрудняет, и что он легко делает с него перевод на обычный человеческий язык. То, что казалось таким изысканным, сложным и непреодолимым в устах Мамонтова или путаным у Ложкина, становилось у него сурово ясным и простым.

Он сел и, еще не остыв от возбуждения, излишне резвым

движением отодвинул локтем свою сумку. Только сейчас он понял, что устал и что с утра еще ничего не ел. Уборщица разносила чай, и пилот с удовольствием поставил перед собой стакан и тарелку с бутербродами. Он видел, что его выступление было не напрасным.

Перевес теперь не клонился ни к тому, ни к другому полюсу. После Хлынова Марк сердито заявил, что физики к полету давно готовы и недоумевают, о чем идет спор. Сажин подробно остановился на конструктивной готовности аппарата и язвительно напомнил, что Мамонтов раньше держался другой позиции. Еще раз выступал Грудский, благоприятными были заявления Ведерникова и Острогина. Филин несколько неуверенно выразил ряд опасений, но, видимо, еще не пришел к окончательному решению. Большинство участников совещания начало явно колебаться в сторону Хлынова, когда в потасовку вмешался до того молчавший Моложаев.

Он прежде всего попросил извинения за то, что после столь авторитетных выступлений едва ли скажет что-нибудь новое. Он, так сказать, только в качестве беспристрастного наблюдателя попробует подвести итоги, ибо говорено уже (в этом он совершенно согласен с многоуважаемым товарищем Хлыновым!) достаточно. Он не хочет делать торопливых выводов и не думает, что зимний старт совершенно невозможен, но ему абсолютно ясно, что возражения Мамонтова и Ложкина очень серьезны...

Он говорил с той самой неопределенностью выражений, которая часто слывет за многосторонность ума или за похвальную осторожность. Он всем умел сказать что-нибудь приятное и, в сущности, никому не возражал. У него даже грубость звучала похвалой, а осуждение — комплиментом. Искусство говорить много и не сказать ничего было усвоено им в совершенстве. Впрочем, из речи его в конце концов вытекало с несомненностью, что со стартом нужно подождать. Следует немножко отложить дискуссию до окончания слета, тогда и Ратнер сможет принять непосредственное участие, а его мнение, конечно, весьма важно.

Не нужно проявлять излишней нервности, и все будет хорошо.

Он говорил, и всем становилось ясно, что найдена та самая средняя формула, которая удобна для большинства. Люди начинали посматривать на большие цезовские часы, и в их рядах уже возникало смутное шевеление, предваряющее обычно конец заседания. Формула избавляла от необходимости немедленно думать, решать и брать только на себя без участия Ратнера груз ответственности. Ход был сделан мастерски, а время близилось уже к полуночи.

Хлынов слушал и ел бутерброды, совсем забыв об этом и механически засовывая в рот кусок за куском. Он смотрел на повиливающую хвостиком складочку около губ Моложаева, и все в нем дрожало от злобы и возмущения. Слишком понятно было, куда клонит этот ловкий человек с причесанными мыслями. Любезная эта уступчивость была опасней откровенной мамонтовской вражды. Не замечая того, пилот пихал в рот жирные куски и яростно жевал их, работая челюстями, как автомат. Бутерброды не убирались во рту, но он вколачивал их и глотал насильно, давясь и краснея от напряжения.

Тарелка уже опустела. Сомнамбулически глядя на Моложаева, Хлынов все еще шарил рукой по гладкому фарфору и не видел, как улыбались его соседи.

II

Хлынов бежал по улице, не избрав еще как следует направления, стремясь только побыстрее уйти от хмурого здания ЦС и от стыдливого сочувствия приятелей. Час был поздний, и Москва уже засыпала. Большой и тяжелый, как слон, пилот ломился в пустынное пространство, и шаги его гулко звенели по обледелому тротуару. Временами запоздалый трамвай или лихое авто с шумом обгоняли его, но он бежал, не огля дываясь и ничего перед собой не видя, точно по его пятам гналась смерть.

Ах, сволочи! Ах, гады! Ведь они же бросились к дверям, как бараны к корму, и торопились улепетнуть, чтобы завалиться спать! Они обрадовались этому решению — отложить дискуссию, и Моложаев мог по праву считать себя благодетелем. Недаром же Филин так поспешил закрыть заседание, не подсчитав, как следует, голосов и не исчерпав прений. Продали, сукины дети! Как пить дать, продали!

Он вынырнул из Дмитровки на Свердловскую площадь и остановился тут на минуту, чтобы решить, куда идти. Возвращаться в свою опустевшую квартиру ему не хотелось. Нужно же было, чорт побери, так некстати подкатиться родам жены! Перед ней он мог бы вылить всю подстывшую к горлу досаду.

Площадь, на которой он стоял, была празднично принаряженной. Колонны ГАБТа перечеркивал длинный плакат с приветствием слету. Вверху, над подъездом, рвались в ночь бронзовые кони. В ближайшем к театру сквере пестрело искусно освещенное декоративное сооружение. Казалось, целое полчище гигантов стояло там, подняв к небу флаги. Красные лоскуты лизали тьму как пламя. И дальше, на фоне неубранной вышки, в макете метрополитена каждую минуту показывались игрушечные поезда.

Праздничная эта обстановка сейчас только раздражала Хлынова. Торжественный отсвет знамен резал ему глаза. Он не определил бы, пожалуй, на кого больше досадует: на других или на себя. Положение представлялось ему совершенно нелепым. Всего, чего угодно, но только не такого конца ожидал он от сегодняшнего заседания.

Это была самая заправская мышеловка, Прутья, прутья и прутья — всюду прутья, и нигде нет выхода! Ему не запрещали старта, но и не разрешали его. Как будто все были заинтересованы в успехе полета и, тем не менее, дело не двигалось с места. Ракетоплан был готов, и люди готовы, но весь этот запал материальной энергии и человеческой воли должен был почему-то бездействовать?! Хлынов охотно боролся бы с любым реальным препятствием, но перед тайным сопротивлением чувствовал себя беспомощным.

Вот он весь тут, без выдумки: живой, осязаемый, весомый, твердо стоящий на собственных ногах! Он мог бы при случае рубить дрова или носить тяжести, держать штурвал или сидеть в кабине самолета. Вот его руки, спина, все тело — сгусток тепла и желания работать! Он мог бы решать дифференциальные уравнения, выдумывать, изобретать, конструировать, потому что вот здесь на плечах у него не зря, черт побери, сидит голова! Ни один явный враг не посмел бы при нем высунуть свое жало, ибо он не даром носил оружие и партбилет. Но воевать с канцелярскими призраками, не ведая, кто тебе пакостит и подставляет ножку, не пригонять каждый свой шаг к последнему циркуляру, ужом ползти к делу, юлить, упражняться в науке угождения или валить противника ударом из-за угла — этого он не мог, не знал, не хотел, чтобы дьявол их всех забрал!

Он плюнул и еще раз вслух скверно выругался. Огромный и никогда не засыпающий город глухо погромыхивал вокруг него. Среди этих гулких каменных ущелий пилот чувствовал себя ничтожным и затерянным. Холод медленно пробирался под кожаное его пальто, и он поеживался, шевеля плечами. Какой-то подвыпивший человек вывернулся из-за угла и, наткнувшись на молчаливую фигуру, дружелюбно ухмыльнулся.

— Стоишь, брат?— общительно спросил он. — Ну, стой, стой!.. Прохолодись малость!

И, проходя мимо, приветливо помахал рукой:

— Кланяйся супруге!

Хлынову представилось лицо его жены, искаженное болью, с широко раскрытыми, удивленными и страдающими глазами. Охваченный внезапной тревогой, он двинулся к ближайшей телефонной будке, чтобы позвонить в клинику.

Недовольный и заспанный голос сообщил ему, что жена еще не родила, что вообще все обстоит благополучно, что трезвонить по ночам нет никакой необходимости, и Хлынов поспешил повесить трубку. Минуту спустя, пересекая площадь, он чувствовал себя незадачливым бродягой, который тщетно стучится у запертых дверей.

Он свернул на Неглинный и только тогда осознал цель своего позднего путешествия, когда остановился у сварзовского дома. Окно в комнате Балабана было ярко освещено. Пользуясь предвыходным днем, он, видимо, возился со своим «радио-барахлом» и совершал очередную прогулку по эфиру. Хлынов нырнул в подъезд и, взобравшись на нужный этаж, дернул за ручку знакомого звонка.

...Пилот познакомился с Балабаном года полтора назад, когда впервые пришел в цех, где изготавливалась кабина ракетоплана.

Ответственный заказ занимал в Цеху особую площадку. Несколько рабочих ползали по металлическим плитам, занимаясь выколоткой обоочки. Тонкие листы антимагнитной стали заметно принимали сферическую форму. Тут же, на подмостках, возвышался сваренный уже каркас, готовый обрести стальной скорлупой.

Работа шла дружно и без перебоев. С лязгом летали по плитам стальные листы и лихо плясали по ним тяжелые молотки. Здесь, среди цехового шума, Хлынов чувствовал себя как дома. Хотя и давно уже оставил он прежнюю свою слесарную профессию, но, глядя сейчас на быстрое мелькание ловких рук, ощущал в своих мышцах зуд. Они сам бы, пожалуй, с наслаждением вооружился молотком, чтобы тряхнуть стариной и вспомнить забытую сноровку.

Вывернувшись из-за спины пилота, на площадке появился толстый присадистый человек с бритым затылком. Покрывая гул хриплым своим криком, он шел между рабочими, вытирая лоб красным платком. На Хлынова он глянул вначале с неодобрительным равнодушием, но, узрев на его кожаном рукаве летный знак, заинтересованно улыбнулся.

— Это не ты ли, кой грех, летишь на этой штуке? — спросил он, и, получив утвердительный ответ, приятельски протянул руку: — А ну-ка, ну-ка, я тебя посмотрю!

Он обошел пилота кругом, как обходят облепленный афишами киоск, и в заключение удовлетворенно крикнул:

— Вот ты какой?!

Восклицание выражало нечто вроде почтительного удив-

ления или зависти. Короткий и толстый человек, с необыкновенно красными руками, напоминал Хлынову кусок кузнечной болванки с неостывшими еще концами. От пылающего его лба и затылка при первом прикосновении могли отлетать искры.

— Пойдем-ка, товарищ летчик, я тебя со своей бригадой познакомлю!

Это и был будущий приятель Хлынова, потомственный сварщик и мастер Балабан.

Пилот частенько бывал потом в цеху во время изготовления кабины. Быть может, он иногда задерживался здесь сверх надобности, потому что ему было приятно вспомнить прежние свои привычки. Во время перерыва, в курилке, в столовой или в цеху, он балагурил с рабочими, рассказывая им о задачах полета или советуясь с ними о лучшем способе сварки листов. Присутствие в цеху кожаного его пальто сделалось, в конце концов, для всех незаметным. Он был тут своим человеком, не отличавшимся от других ни по языку, ни по мыслям. С Балабаном же у него с первого раза установилась некая симпатическая связь.

Хлынову приятна была неистребимая дотошность этого человека и упрямое его стремление во всем «доходить до точки». Неизвестно, как сложилось у мастера убеждение, что полет в стратосферу есть самое нужное дело, но из всех цеховых заказов он ближе всего принимал к сердцу постройку кабины. Он находился на площадке и дни и ночи, собственными руками ощупывал каждый сваренный шов. Малейшая неточность в работе приводила его в возбуждение.

— Ну, ты подумай-ка, голова садовая! — внушал он частенько какому-нибудь из сварщиков. — Что мы с тобой делаем? Тут от нашей дурости жизнь, может, человечья зависит. Знаешь, чай, куда эта штука лететь собирается!

Он принадлежал к числу тех старых мастеров, которые даже к новейшей технике ухитрялись применять секреты личной сноровки. И пилот до сих пор помнил веселый вечер первого испытания кабины.

Торопясь обзреть готовую работу, он пришел раньше всех других членов комиссии. В глубине опустевшего цеха покоился на возвышении стальной цилиндр, окутанный падавшим из верхнего фонаря светом. Не наделенный еще ни крыльями, ни оперением цилиндр, казалось, висел в воздухе без поддержки и походил на артиллерийский снаряд, выпущенный из гигантской пушки. Угластые тени ложились на гладкую его поверхность. Спереди поблескивали стекла, сложным своим строением напоминавшие фасетчатые глаза какого-то фантастического насекомого.

Хлынов впервые видел свое детище в этом виде. Ощущая в себе неосвоенный еще трепет отцовства, и приглядываясь к деталям сооружения, он двинулся в обход его, и только тут заметил Балабана.

Надувшийся и красный, как клещ, мастер ползал по матовой сфере цилиндра, натирая швы каким-то мыльным составом. Он бормотал про себя и посвистывал, увлеченный сложным занятием. Черный его ноготь со скрежетом скользил по металлу, прощупывая линии соединения. Лицо Балабана было набожно и сурово, словно он совершал никому не известное таинство. Хлынов не мог сдержать наплыва благожелательной веселости, и приятельски шлепнул мастера пониже спины. Как оказалось, Балабан, не слишком доверяя показаниям точных приборов, употреблял для проверки герметичности кабины какой-то испытанный кустарный способ. Так, в секрете от других членов комиссии, они и провели это дополнительное испытание. И мастер, и пилот были безмерно довольны, что между последним словом науки и стародавней рабочей смекалкой никакого разрыва не получилось.

Как во время, так и после постройки ракетоплана Хлынов захаживал к Балабану запросто на квартиру. Не старый еще сварщик был убежденным холостяком, и весь жар упитанного своего тела употреблял на войну с приемниками и всяческой радио-аппаратурой. Комната его была сплошь заставлена предметами разорительного увлечения и служила источником вечных недовольств. Соседи не понимали

потребностей балабановской души и упрямо протестовали против воя репродукторов.

Хлынов появлялся у мастера в самое разнообразное время. На стол всегда водружался неизменный самовар. Балабан не признавал чайников или ухищрений электрической кухни, и утверждал, что неосамоваренный кипяток — это все равно, что не выбродившее пиво. Здесь, под тихое пенье тульской меди и хрипловатое бормотанье громкоговорителей, приятели вели свои беседы. Натура сварщика действовала на пилота угнетающе. Здесь он обретал ту самую свободу выражений, какой он не чувствовал даже в разговорах с Сажиним. На это он рассчитывал и сейчас.

Балабан ловил за границу, и спать еще совсем не собирався. Гостю он, видимо, был сердечно рад.

— Ну, каковы дела-то, полетчик? — спрашивал он, вешая хлыновское пальто. — Скоро ли на небо архангелов пугать полетишь?

Хлынов махнул рукой и уныло вздохнул. Случалось это не так-то уж часто, и Балабан воззрился на него с простодушным недоумением.

На столе тотчас же появилась закуска и штофчик зубровки. Балабан сел против пилота, придерживая руками объемистый свой живот, и сочувственно крикнул.

— На-ка,хвати малость! — сказал он, вручая гостю солидный стаканчик. — Сам настаивал.

Хлынов выпил и торопливо закусил селедкой. Доморощенная зубровка была крепка, как спирт, и действовала оглушительно. Казалось, кусок расплавленного металла провалился сквозь внутренности пилота. В ноги и в мозги его разом вступила приятная теплота. Ожесточенно тряхнув головой, он бросил на стол свой локоть и подпер кулаком щеку.

— Так-то вот, Максимыч, честят нас! — произнес он со злостью.

Внезапно положение представилось ему в непереносимо обидном виде, и он грохнул кулачищем по столу, подняв звон и стенание всей балабановской посуды.

— Не разрешают, Максимыч, нам полета,— прорычал он.— Рылом, говорят, не вышли!..

Сейчас он совершенно искренне думал, что ему кто-то, в самом деле, говорил насчет «рыла». Ему хотелось жаловаться и упрекать.

Балабан, только что выплеснувший в рот зубровку, от удивления поперхнулся.

— Как то есть не разрешают? — растерянно спросил он. — Это тебе-то не разрешают?!

В словах мастера звучало столь убежденное неверие в возможность такой несправедливости, что пилоту сразу стало немножко легче.

— Да, Максимыч! — именно мне-то и не разрешают! — подтвердил он, — другой бы, половчее, может, и спроворил бы, а вот мне, как Макару — ни пару, ни вару!

Степень душевного томления Хлынова достигла уже предела. Новая порция зубровки растворила последнюю преграду словам. Балабан был для него сейчас единственно близким человеком, которому он мог без хитростей рассказать обо всем.

— Много еще на нашей советской земле, Максимыч, всякой сволочи водится и людей до нашей доли холодных!.. Может, я всю жизнь этого часа ждал, чтобы все, что умею, в одно дело для партии и рабочего класса вложить? А тут тебе и затор!..

Вместе с обидой в пилоте поднимались все боли его прошлого, но, казалось, никакая человеческая речь не могла их оформить и передать. Он в возбуждении придвинулся к приятелю ближе.

III

...Эх, Максимыч! Мою жизнь коли на ноты положить, так никакой персимфанс не сыграет. Тут тебе всякой твари по паре и всем Дуням по шуням!

Да, и что там говорить, сам знаешь, чем мы до семнадцатого годка дышали! У нас во Лбищенске на гвоздилке побаска такая была, что бедному жить, как слесарю шить —

сноровка есть, да струмент неподходящий. Из ситцевой-то судьбишки молотком счастья не скуешь.

Помню, был я парнем большим, а нескладным. Силы было много, а девать ее куда, не знал. Пробовал я быть и гончаром, и жестянщиком, и грузчиком, и слесарем — только проку из всего этого получалось немного. Ремесло мне, правда, легко давалось, но характером я был тяжел, и нигде подолгу не держался. Либо с хозяином поругаюсь, либо мастеру в морду съезжу, либо так просто — скука возьмет. Да и какая ж тогда была веселость в работе? День потеешь, ночь обсыхаешь. Что заработал, то и съел. Вшей в ту пору водилось у меня много, а удачи ни одной. Отец, бывало, посмотрит-посмотрит на меня, да и вздохнет:

— Эх, Матвей, Матвей! Материалу на тебя потрачено воз, а толку нету. Костыли бы, что ли, из тебя делать?..

И хоть, положим, пилить-то он меня пилил, но сам так и умер, не нашедши секрета жизни.

Квартировали мы тогда на Гребешихе, и дом наш гудел с утра до ночи, как шарманка. Внизу громыхали под нами ведерники. За стеной же пищало Ануфриево семейство (почтальон там такой жил). Детей у него было столько, что по нашим временам для целого бы детского дома хватило... Ну, и известное дело, чтобы горло им заткнуть, сил у Ануфрия не хватало.

Так и жил я меж двух ям. На работу пойдешь — ад, и с работы — тоже. Парень я был молодой, и никак не мог взять в толк, почему один трудится до поту, а другой пузо на солнышке греет; почему одному жрать нечего, а другому все по шучьему веленью является. Жизнь, словом, топилась у нас до семнадцатого годка по-черному. Потому-то хоть я и родился в январе, но именины свои с Октября считаю.

Был у меня, Максимыч, час такой. Кончал я Воздушную академию в двадцать восьмом и стоял на эстраде в большом нашем зале. Начальник читал список отличников и раздавал окончившим награды. Слушал я, пока обо мне говорили, и всю свою жизнь вспомнил от точки до точки, чем я был и чем стал. Посмотрел я на портреты, что в зале висели, на

людей, на плакаты, на люстры, и сделался у меня в голове такой ералаш, какой только раз в жизни может приключиться. Я рапортовать должен был, а язык мой, как цемент, заостенел. Мне диплом передавали, а у меня руки и ноги, как у припадочного, тряслись. Вышел я в тот вечер из Академии, и с каждым трамвайным кондуктором обниматься хотел.

Вот тогда-то и дал я себе великий наказ. Все, что я имел и имею, Максимыч, дала мне революция и, стало быть, перед ней я неоплатный должник. Стало быть, и дни, и ночи должен я был с тех пор о том думать, чтобы долг этот с лихвой возвернуть. Чтобы никто не посмел сказать, что корм этот не в коня был!

И вот, владею я теперь своей жизнью, как хозяин, а не жмусь по-бывалому в стороне. Облечен я большим, Максимыч, званием командира Красной нашей армии и, стало быть, человек я в советской стране не последний. Иду иногда вот по улице, и словно на меня что нахлынет. Трамвай мимо идет, а внутри у меня: мой трамвай! Дом на перекрестке строят: мой дом! Самолет в небе увижу: мой самолет! Я живу на своей земле, хожу по замощенным мной улицам, пашу сделанным мной плугом и ем свой, честно заработанный, хлеб. Кажется, оскаль кто зубы на наше добро — руками разорву и ногтями царапаться буду! Потому что не гоже, мой милый, зариться на правое наше счастье!

Только жаль, Максимыч, что не всех мы еще гадов перевели! Они ползают между нами и травят, как могут, нашу радость. Они портят нам воздух и исподтишка плюют в наши тарелки. И, ох, как скользки, Максимыч, как жабы скользки! Они приятно улыбаются нам и ужами проползают в наши дома, чтобы пить молоко из наших блюдцев. И какая-нибудь мокрица, а может еще подчас любому из нас испакостить всю жизнь!

Вот хотя бы, к примеру, какого чиновного бюрократа взять. В девятнадцатом-то годочке мы, можно сказать, из одного дома в другой переезжали, так что у нас весь мусор человеческий на виду был. Ну, а теперь вот, когда пообжились мы на новом месте, грязца-то вся по запечкам припряталась.

Один революции-то служит — как песню поет, всем сердцем своим и всей кровью, а для другого социализм-то делать — как сапоги тачать — ремесло, можно сказать, и работка поштучная! Один во всякое дело, раз оно нужно, душу вкладывает, а другой — прежде барыши разочтет, стоит ли, мол, для меня овчинка выделки.

Честный советский человек, что думает, то и говорит. Подлюга же язык свой всегда на запоре держит или словословия сочиняет. Так вот я и спрашиваю себя, Максимыч: неужели в нашем новом-то доме да с грязной душонкой жить можно?..

...Хлынов говорил все быстрее и быстрее, торопясь вылить накопившееся волнение. Он не выбирал приходящих к нему слов и мыслей, и потому без особой последовательности перескакивал с предмета на предмет.

Балабан молча и сосредоточенно слушал. Наливая вино и чокаясь с пилотом, он подолгу смотрел на содержимое своего стаканчика, словно находил в нем дополнительные пояснения в беседе. Выплеснув жидкость в рот, он тихо кричал и делал страдальческое лицо, тогда как глаза его и вкусное шевеление губ выражали явное удовольствие. Затем он нанизывал на вилку кусок селедки, но, прежде чем отправить его по назначению, снова погружался в созерцание.

— Дда! — вставлял он изредка и с надлежащим смыслом. — Дда, эт-то дело сурьезное!..

Хлынов вспоминал далекие эпизоды своей жизни: гражданскую войну, годы учения и разные случаи из летного своего быта. Он с гордостью перечислял те трудности, которые пришлось преодолеть во время постройки ракетоплана, с ненавистью и гневом обрушивался на тех, кого считал причиной задержки старта. Зубровка, видимо, не оставалась без действия, и воображение пилота разыгрывалось до размеров бреда.

— И вот они портят мне жизнь и радость! — шептал он сварщику, таинственно озираясь. — Они ходят и шепчут за моей спиной! Они сыплют песок в мою машину! Им завидно на наше счастье, и они хотят сжевать нас, как ржа!

Он вскакивал вдруг со стула и, повернувшись к окну, грозил кому-то рыжим своим кулачищем.

— Но мы свое вырвем! — почти кричал он. — Мы до наркома дойдем, коли надо будет! Кронштадт брали, Перекоп брали, так неужели ж эту тлю человечью не раздавим?..

Балабан при этих словах медленно поднялся со своего места и подошел к пилоту.

— Полно, полно, Матвей! — ласково и убежденно сказал он. — Да разве есть где такая сила, которую бы мы перетянуть не могли!? Да разве уж мы с тобой первый годок свое дело робим?! Ну, куснут тебя раз, ну, ножку подставят — на то она и жизнь, чтобы дремать не давать! Только нашего брата теперь уже свалить с ног никак невозможно. Крепко стоим — на всей ступне! А что касается тли человеческой, — заключил он, — так на то мы, товарищ дорогой, и дело все начинали, чтобы от тли этой всю нашу землю начисто освободить! Ты себя-то, мой друг, не теряй, а уже путь к нашей правде сыщется!

И Балабан стиснул своей лапищей плечо Хлынова, вкладывая в это движение и укор, и сочувствие, и ободрение.

IV

Утро следующего дня пришло не по-зимнему светлым и ясным. Вломившись сквозь голубые прямоугольники стекол, оно наводнило комнату Марка сиянием и блеском.

Солнце хлестало в глаза точно через пробоины. Лоснилось и горел схожий с растопленным маслом паркет. И даже в захватанной меди дверных ручек плясали разнузданные брызги света.

Хмуро и неласково шурясь, Марк отвернулся к стене и долго еще возился на своем механизированном ложе. После неудачи вчерашней дискуссии и отсрочки старта, все это солнечное изобилие утра казалось обидным.

Впрочем, чувство похмельного недовольства, с которым он проснулся, быть может, объяснялось еще коечем и другим. Обещанные «Физприбором» части так и не были вчера

присланы, и, стало быть, день нужно было начинать с новой ругни и неприятных разговоров. Да и к тому же эта самая... нелепая история с Анной.

Лежа с закрытыми глазами, Марк отчетливо видел маленькую комнату, освещенную прикрытой цветным абажуром лампой, и сидящую на диване женщину с поджатыми ногами. Он помнил сосредоточенное и верующее выражение ее лица, но никак не мог представить сейчас ее улыбки. А ведь, наверное, она и этот прилизанный фрукт потешались над вчерашним его смущением? И как же, чорт побери, он был смешон со своими бреднями о дружбе! И как же ему так долго было неясно, что самонадеянная эта девчонка совсем не его поля ягода?!

Марк поднялся, наконец, со своей дивано-кровати и начал торопливо одеваться. Однако спешить-то было совершенно некуда, потому что институт по выходным дням не работал. Прибраться, проделать, как обычно, утреннюю зарядку и позавтракать было делом каких-нибудь двадцати минут. За всем этим вдруг обнаруживалась целая прорва времени, и Марк должен был думать, куда его девать.

Он с неприязнью окинул взглядом стены своей комнаты и, быть может, впервые удивился ее оголенности и пустоте. Наводненное светом пространство разделялось лишь жесткими ребрами геометрической мебели. Почему-то подумалось, что за пределами сна и работы такой вот голой и неуютной может стать у человека вся жизнь. Он с раздражением захлопнул ногой квадратную дверцу диковинного своего стола и отбросил неизвестно зачем попавший ему в руки пресс.

Вышагивая по жирному паркету, Марк убеждал себя, что на свете немало ещё осталось интересных и стоящих внимания людей. Он сам виноват, что над ним вздумали, как над мальчишкой, производить какие-то эксперименты. И хорошо, наконец, что все кончилось и никогда не повторится.

Но все же он напрасно настраивал себя на мажорный лад. Вид у него был далеко не воинственный и не веселый...

Он спохватился, что тратил время не слишком разумно, когда стенные часы укоризненно простукали двенадцать.

Наверстывая упущенное, Марк бурно засуетился. Он позвонил на «Физприбор» и сразился еще раз со Скворцовым. Оказалось, что детали были готовы уже вчера, но не высланы по вине стола заказов. Условившись с заводом, Марк вызвал по телефону институтское общежитие и попросил Хруста и Геньку прийти вечером в лабораторию, чтобы помочь в окончательной сборке. Затем он уселся за разработку предстоящих в полете исследований, чтобы, по крайней мере, со своей стороны не задерживать старта ни на секунду. Но что бы он ни делал и над чем бы ни размышлял, ко всему примешивался аккомпанемент мыслей об Анне. Марк был упрям, сосредоточен и деловит. Однако это была деловитость запойного пьяницы, решившегося на радикальное исправление, но не одолевшего еще тайного влечения к водке.

Впрочем, был такой момент, когда Марку усилием воли удалось овладеть своей головой целиком. Он забылся, делая свои расчеты, и механически сказал «войдите!», когда кто-то торкнулся в его дверь. И только потому, что вошедший ничего не говорил, Марк с неудовольствием оглянулся.

Это была Анна.

Девушка в плюшевом жакете и такой же шапочке, посаженной чуть-чуть на бочок, стояла у притолоки и лукаво улыбалась. Круглый, как яблоко, румянец сиял на ее щеках. От темного плюша тянуло, точно из форточки, холодком. В одной ее руке сверкали лезвия новеньких коньков, другой же она поправляла выбившиеся волосы.

Лишенный способности действовать и соображать, Марк смотрел на внезапное это видение почти с испугом. Так смотрят на непонятно начертанный знак или на появление кометы.

— Трепещите, Марк! — смеясь, говорила Анна. — Я пришла наказать вас за вчерашнее!

Она теснила хозяина, наступая на него от двери. Дружелюбно и ласково ухмыляясь, она протягивала ему розовую

от холода руку. На мягкой ее коже сохранился еще след вязаной перчатки, и кисть руки смахивала на подрумяненный вафельный лист.

— Плохо же вы встречаете доротих гостей! — восклицала она. — Я, можно сказать, в первый раз к вам прийти решилась, и вдруг этакое равнодушие! Ай-яй-яй! Какой позор!

Марк хотел было сделать строгое лицо, но губы его сами собой растянулись в стороны, и он стиснул протянутую руку с непозволительной (как ему сразу показалось) поспешностью. Все его мрачные мысли и вчерашний инцидент с Анной вдруг представились ничего не значащим пустяком, которому, в самом деле, смешно было придавать значение. И, повидимому, в глазах его красноречиво отображались все внутренние метаморфозы.

— Ну, ладно! — удовлетворенно констатировала Анна. — Я вижу, что вас можно помиловать. Я зашла за вами, чтобы пойти кататься! Собирайтесь-ка, молодой человек, поживее!..

Марк вспомнил, что несколько дней назад он условился с Анной ехать в ближайший выходной день на каток. Это было так дьявольски кстати, что он готов был признать гением изобретателя коньков. Не выпуская из рук прохладной Анниной ладони, он пробормотал что-то не очень вразумительное и заторопился усадить гостью в кресло.

— Ну, вот, кажется, вы и стали, уважаемый хозяин, по приветливее! А то я уже думала, что вы мне не рады!

Пока Марк собирался и отыскивал свои коньки, она болтала, быть может, с несколько преувеличенным оживлением. Пустынное жилище приятеля возбуждало недоумение и вопросы.

— Боже мой, что же у вас за манеж? Да здесь, пожалуй, на велосипедах кататься можно! Где же у вас кровать? На чем вы спите?.. Ах, так это вот и есть та всеобъемлющая мебель, о которой мне говорили? Ну-ка, ну-ка, Марк! Продемонстрируйте мне, как это устроено!

Оглядываясь на Марка, она исследовала кресло, на котором сидела, искренне дивясь, что оно совмещало, кроме

того, обязанности комода и книжного шкафа. Универсальный, как сцена, стол поверг ее в трепет. Она выдвигала бесчисленные его ящики, вращала колонки и создавала из этого конструктивного чудовища все мыслимые и немыслимые комбинации. Покончив с креслами и столом, она заинтересовалась диваном, но здесь уже Марк попытался поставить ее любознательности предел. Это был бы, в самом деле, фунт, если Анна обнаружила бы там залежи грязного белья или продранные на самом дотошном месте брюки!

Но вот все рифы и мели были благополучно обойдены. Анна рассматривала подвернувшуюся ей под руку фотографию Маркова отца. Повернутый к окну профиль ее просвечивал, как шелковый абажур. Плюшевый ворс, точно шкура редкого зверя, отливал у нее на плечах рыжеватым огнем. Обрамленная молодостью и светом, она была такой сияющей и свежей, что ею, как горным солнцем, можно было бы сейчас облучать туберкулезных.

Не ведая почему, Марк старался на нее не смотреть и с ожесточением затягивал ремнями коньки

V

На катке они на минуту расстались, разойдясь по разделкам, и когда Марк вышел на площадку, Анны еще не было. Облокотясь на круглый барьер ската, Марк загляделся на катающихся. Он бывал здесь не так-то уж часто и, предвкушая удовольствие бега, солидно погромыхивал надетыми на ноги коньками.

День был ясен и чист, как слезинка. Пустынное небо, омытое ветром, сосало глаза. Голубой круг катка, с отраженной в нем синевой, лежал среди снегов, точно большое хрустальное блюдо. По неиспорченному еще льду бежала слепящая солнечная дорожка.

Десятки ловких стремительных тел неслись мимо барьера, захваченные общим потоком движения. Повизгивал под коньками лед, поблескивали на поворотах лезвия. Толпа

разноцветных беретов, курток и свитеров кружилась по гладкому ледяному полю, напоминая снегопад или метель.

Ощущая необыкновенный прилив сил, Марк смотрел на открывавшуюся перед ним картину. Все представлялось ему сегодня праздничным и обновленным: и солнце, и небо, и веселая эта человеческая пурга. Внезапно мягкие руки Анны легли ему на глаза, но он медлил отвести эти руки.

— Ну, живо, Марк! — воскликнула девушка, бросаясь от него на скат. — Догоняйте меня.

И в следующий момент в ушах Марка приятно засвистел студеный воздух, и сам он, скатываясь с горки, упруго наклонялся навстречу ветру.

Белый свитер и обтянутая им женская фигура уходили от него по эллиптической кривой, резко набирая скорость. Стройные ноги Анны делали рассчитанные, но смелые броски. Спортивная ее шапочка с плюшевой стрелой была лихо сдвинута набок.

Весь в азарте движения, Марк устремлялся вперед, ничего не видя, кроме ускользающей цели. Мятная струя свежести эластично ударяла ему в грудь. Ритмически покачиваясь, тело его плавно несло по льду, обгоня мешкающих конькобежцев. Древний инстинкт погони просыпался в его мускулах. Отдаваясь влекущему напряжению бега, он все усиливал и усиливал ход.

Впрочем, догнать Анну было не так-то просто. Коньки несли ее, точно крылья, и она легко обходила завязтых бегунов. Ей было, видимо, приятно подразнить своего преследователя. Подпустив его ближе, она кружилась и увертывалась, как волчок, чтобы после умчаться от него дальше.

Марк настиг ее только на другом конце катка и, обхватив за талию, пронесся с ней по инерции в ближайший сугроб. Вот так, полуобнявшись, они и повалились в снег, барахтаясь в нем и брыкаясь. Совсем близко Марк увидел разгоряченное лицо Анны. Влажное дыхание обожгло его висок. Грудь девушки мягко толкнулась в его грудь. Внезапно посуровев и замолчав, он поторопился выбраться из сугроба и начал деловито отряхиваться.

Несколько смущенные, они сидели потом на лавочке и отдыхали. Несущийся мимо людской поток становился все пестрей и шумней.

— Это мне напоминает атом, — говорил Марк, кивая на уплотнившуюся толпу конькобежцев. — Здесь то же кружение и та же самая толкотня. Роль атомного ядра исполняет, видно, вон та толстая тетя, что топчется в середине. Кстати, у нее, кажется, и размеры и вес для этого подходящие.

В центре круга, в самом деле, топталась какая-то фундаментальная женщина в лыжном комбинезоне. Она пришла, по-видимому, на каток как в больницу, чтобы порастрасти лишний жир. Лиловая медведица, вставшая на дыбы, она хваталась за воздух, силясь сохранить равновесие, и тихонечко порывивала не то от страха, не то от удовольствия. Могучие ноги ее тщетно месили лед. Тучное тело, ни капельки не подвигаясь, совершало самые рискованные сальто.

Анна и Марк рады были поохотать, глядя на это публично распинаемое усердие. Они сидели бок о бок и болтали, ни на чем, в сущности, не задерживаясь. Для них все было поводом к смеху: и страдания начинающих и трюки ловкачей.

— Посмотрите, посмотрите, Марк, как шлепнулись! — кричала Анна, с восторгом дергая соседа за рукав.

Марк смотрел на испуганные лица каких-нибудь неудачливых катальщиков и хохотал, хоть смешного, собственно, было тут мало. Они смеялись не тому, что видели вокруг, а тому, что чувствовали сами. Непонятное ощущение радости переполняло их обоих.

Затем они присоединились к затеянной против правил игре. Орава в пятнадцать-двадцать человек, сцепившись гуськом, носилась по катку, круто иногда заворачивая и отбрасывая свой хвост. словно подхваченные вихрем, люди срывались с хвоста и летели потом на коньках или на спине, но одинаково весело и стремительно. Марк раза три проехался на собственном животе, загребая, как пловец, руками. Более осторожная Анна не падала, и лишь выделявала

на коньках отчаянные виражи. Оба они старались прицепиться к «гуську» последними, чтобы выжать из игры самые сильные ощущения.

После, взявшись крест-накрест за руки, они катались по общему кругу. Стройно и согласованно отталкивались их ноги, размеренно двигались тела. Марк чувствовал в своих ладонях напряженные пальцы Анны и осторожно подтягивал ее к себе на закруглениях, когда центробежная сила стремилась их разъединить.

Искося взглядывая на партнершу, он отмечал в ближайшем с собой соседстве темный нимб ее волос, розовое полуокружие уха и рдяно тлеющую щеку. По-видимому, Анна о чем-то думала. Глаза ее смотрели воинственно и мрачно. Она напоминала Марку виденную им недавно картину летящей валькирии, и ему не доставало только веры в духов, чтобы упасть в обморок или с трепетом преклонить колени.

Впрочем, десятком минут позднее выдался почти однозначный случай.

Где-то на повороте они остановились, чтобы передохнуть. Анна уронила снятую с руки перчатку и одновременно с Марком наклонилась ее поднять. Они столкнулись щека с щекой и как-то вышло, что положение очень походило на поцелуй.

Они упали от удара и теперь сидели друг против друга, откинувшись и опершись руками в лед. Слегка ошеломленные, они смотрели прямо перед собой, еще не уразумев, в чем дело. Вот тут-то на лицо Марка и выполз тот мистический ужас, который был бы впору только при появлении злого духа.

Казалось, Марк ожидал, что из глаз Анны посыплются молнии. Он презрительно помаргивал, избегая ее взгляда. Анна в изнеможении валилась от смеху на бок.

Потом Марк сердито поднимал ее и бормотал что-то, выражавшее крайнюю степень недовольства. Однако все эти ледовые случайности не были для него так уж неприятны, и, в конце концов, он рассмеялся тоже.

— Ну, ладно, Анна! — пробурчал он, силясь обрести серьезность. — Хватит на сегодня катастроф! Поехали домой!

У кого милой какой —

У меня кулема,—

тихонечко запела Анна, —

Все милые на собраньи—

Мой кулема дома.

Напевая частушку, она ухватила обеими руками за края маркова воротника и решительно потянула их к себе. Она накладывала свое лицо на его лицо, как накладывают выкройки, чтобы лоб пришелся со лбом и нос с носом. Жаркая тень надвинулась на мир Марка, и он увидел в наступившем сумраке, у самых своих глаз, нарочито вытаращенные и насмешливые глаза Анны.

— У-ух! — крикнула девушка в следующий миг и, сильно от него оттолкнувшись, помчалась в сторону раздвалки.

Белый ее свитер катился по льду, точно ком снега. Не замечая толкающих его людей, Марк стоял посреди коньковой дорожки и смотрел Анне вслед.

Двадцать минут спустя они слезали с трамвая на той остановке, где Марку нужно было пересаживаться, а Анне идти домой. На перекрестке двух улиц они прощались, держа друг друга за руки.

— Вы не сердитесь на меня, Марк?— неожиданно спросила Анна. — Не очень пеняете на меня?

Марк хоть и понял вопрос, но не подал виду.

— Да за что же мне на вас сердиться?!— воскликнул он.

Великодушное это недоумение означало полную примиренность. Анна наклонилась к самому уху своего спутника и, почти прикасаясь к нему губами, шепнула:

— Ну и какой же вы милый... пентюх, Марк! Какой пентюх!

Уже уходя, она улыбнулась ему в последний раз и медленно покачала головой.

VI

Оставшиеся два-три квартала можно было проехать на автобусе, но Анна решила идти пешком. Не вполне еще израсходованный спортивный ее запал требовал какой-то двигательной разрядки. Переулок, куда она свернула, некруто поднимался на возвышенность, и дома здесь были низкорослы и притиснуты к земле, словно лезли в гору на карачках.

Ноги Анны скользили и обрывались. На обледенелых и бугристых тротуаришках ей приходилось брать приступом каждый шаг. Не слишком, впрочем, от этого страдая, она шла и улыбалась, как улыбаются погруженные в себя люди. Перед нею все еще мелькала озабоченная физиономия Марка с потешно изумленными глазами.

Увы, он был не слишком-то догадливым, милый этот пентюх! Ему было и невдомек, что разводить по всякому поводу руками и спрашивать, «что это значит», не всегда прилично. Любопытно, что бы стал он делать, если она вздумала бы... над ним подшутить? И какие же у него детские губы! Точно математическая скобочка с выступом посредине!.. Хотя, положим, если на него со лба смотреть, так он за сорокалетнего дядю сойти может! Этакое грозное достоинство на нем начертано!.. Самый что ни на есть настоящий Сократ, только лысины не хватает!..

Анна неожиданно поскользнулась, вступив на накатанную детьми полосу тротуара, и поехала вниз, балансируя для равновесия руками. Кажется, она собиралась уже падать, когда кто-то мягко, но уверенно поддержал ее за локоть. В лицо ей пахнуло запахом хромовой кожи и табака.

Позади нее стоял человек в кожаном пальто, в котором она не сразу признала Моложаева.

— Было бы очень жаль, — говорил он, как всегда, снисходительно, — если бы ваша жизнь кончилась так бесславно! Как видите, я и здесь выступаю в роли вашего спасителя.

Шутливому смыслу слов никак не соответствовал кислый тон, каким они произносились. Щеки Моложаева стягивала вымученная гримаска. Вид у него был, точно у пьяницы во время запоя, одновременно и бравый и приниженный. Двинувшись вслед за Анной, он чуточку отставал от нее, и с излишней почтительностью поддерживал на скользких местах.

— Вы хотите, конечно, признаний? — продолжал он в обычной своей манере. — Ну, так получайте их. Вы ведь не верите в случайность и, надо полагать, спрашиваете себя, откуда я свалился?.. Я был, видите ли, у вас часика два назад дома, но, к прискорбию, не застал. Мне сказали, что вы на катке, и я отправился туда. Вы не видели меня, Анна, но я-то витал около вас все время...

Здесь Моложаев произвел какой-то неопределенный звук, будто водой поперхнулся.

— Оказывается, вы неплохо катаетесь — и соло, и дуэтом! Восхитительно! Парные комбинации выходят у вас не без таланта. Следует заключить из этого, что вы не всегда суровы к людям... И можно даже сказать — напротив! Амплуа этакой восторженной комсомолочки, преисполненной счастья, вполне вам под стать!.. Молодость, сила и все узаконенные удовольствия! Да я, надо признаться, слюнки пускал, глядя на вас! Много раз порывался даже приблизиться, но светлый лик вашего спутника, как и следует, удерживал злую душу в приличном отдалении!.. Каюсь перед вами и сознаюсь!

Он отступил от Анны немножко в сторону, забежал вперед и сделал такое движение, словно собирался опуститься на колени. Какая-то несвойственная ему суматошливость заставила девушку посмотреть на него пристальнее.

— Зачем мне все это надо знать? — спросила она. — Я, правда, не подозревала за вами комических способностей, но это не так-то уж и важно! Никому, конечно, нельзя запретить ходить за знакомыми по пятам, но надо пожалеть, что вам не хватает уважения к себе.

Собеседники шли по одному из тех тихих московских

переулков, которые кажутся перенесенными из Козлова или Рязани. Провинциальная пустынность переулка располагала, видимо, к бурным изъяснениям чувств, и Моложаев захохотал:

— Ха-ха-ха! И не только по пятам, мадмуазель! Я стоял, можно сказать, бок о бок с вами и был свидетелем нежнейшего расставанья! Ах, где мои семнадцать лет, милейшая Анна! Тогда, быть может, на меня смотрели так же ласково!

Моложаев соорудил при этом мечтательную мину и молитвенно сложил руки. Девушка покраснела и тряхнула головой.

— Что с вами, Моложаев? — надменно сказала она. — Вы, кажется, переходите с ямба на дактиль.

— Ничего особенного, мисс! Все в самом наилучшем порядке! Просто мне было приятно убедиться в своей правоте. Помните: я как-то говорил вам... Да ведь юноша поглядывал на вас, как щенок на кастрюлю с мясом, только храбоости, чтобы подступиться, не хватало!..

— Слушайте, Моложаев! — перебила Анна. — Это уже слишком... Кто дал вам право говорить в таком тоне о вещах, до вас не касающихся? И кто вообще уполномочил вас вмешиваться в мою жизнь?

Она даже остановилась. Нахмуренные брови ее, казалось, отбрасывали на лицо тень.

Моложаев лишь саркастически пожал плечами.

— Кто дал мне право? — как бы в раздумьи вопрошал он самого себя. — Кто дал мне право?..

Голос его пресекался и переходил на шепот, словно ему не хватало дыхания. Внезапно повернувшись, он схватил Анну за руку и крепко стиснул ее ладонь.

— Я сам дал себе это право! — со злобой произнес он. — Вы моя добыча, и я никому не намерен вас уступать! И знайте, вы, девчонка!.. Сколько бы вы ни извивались, сколько бы ни ускользали, сколько бы ни хитрили и ни приговаривались — вы все равно от меня никуда не уйдете! Потому что вы сами обрекли себя быть призом и наградой! И потому что вам самой нравится, когда за вами бегут...

Анна выдернула руку и пошла от Моложаева, невольно ускоряя шаг. Это было смешно, но шепот напугал ее. Здесь, среди бела дня, на выщербленном тротуаре мирного московского переуллка, она вдруг почувствовала себя, как в пустыне. Почему-то ей пришло в голову, что Моложаев пьян или сошел с ума.

— Стойте, Анна! Слушайте, Анна! — бормотал он, спе-ша за нею. — Разве вы не понимаете, что вам не по пути с н и м и?.. Разве не ясно, что вы человек иной породы?.. И чем может привлекать вас этот юнец, все добродетели кото-рого испытываются его возрастом?

Он шагал за Анной, и его шепот обжигал ей уши.

— Их много, Анна, в этом их сила! Но они не удивят уже мир ни счастливой догадкой, ни веселым открытием. И уж не этому ли горбатуму счастью хотите вы принести себя в жертву?

Он помолчал тут, как бы давая Анне подумать, и снова, вопреки неудовольствию девушки, взял ее под руку.

— Но я разгадал вас, маленькая хищница! — продолжал он. — Роль доброй наседки для милых цыпляток будущего вам явно не подходит. Вы созданы для того, чтобы телу ва-шему поклонялись, как божеству. Мановение вашего паль-чика должно значить больше, чем парламентский декрет. Что станете делать вы с вашей красотой в этом сумрачном мире? И что может дать вам этот кутенок, которому нужна только соска?

Анна возмутилась, наконец, и, повернувшись к Моложа-еву, окинула его уничтожающим взглядом.

— А что нужно вам, — воскликнула она, — вы спраши-вали себя, любезнейший скептик? Чем, собственно, кичи-тесь вы и чем можете похвалиться? Вы, верно, рассчитывае-те на женскую податливость к лести? Но галантерейное ва-ше оружие годится далеко не для всех!

Моложаев поднял голову.

— Я червь, — сказал он. — Но я и бог! Как можете вы сравнивать меня с ними? Мне могут помочь только мои клыки. Мне нужно, во что бы то ни стало выжить, и, стало

быть, я волей-неволей должен иметь и мужество, и ум, и таланты.

Анна сморщилась и посмотрела на собеседника с насмешливой жалостью. Так смотрят на неудачливого певца, который, желая взять верхнее «ля», неожиданно пустил фистулу.

— И какое ж, однако, блистательное поприще нашли вы для применения своих талантов! — рассмеялась она. — По-вливать хвостом да исподтишка кусать чужие икры — это ли не работа, достойная гения! Правда, когда-то эгоизм двигал горами. Жажда наживы заставляла купцов строить корабли и отыскивать новые земли. Но те времена давно прошли. Человеку с культом собственной особы у нас осталась лишь область мелких подлостей! Великие дела и великие таланты — это удел тех, кто меньше всего думает о себе!

— Я тоже готов проповедывать мораль самоотречения, — ухмыльнулся Моложаев, — но только не раньше, чем займу в жизни приличествующее мне место.

— То есть, иными словами, вам наплевать, куда идет дорога, лишь бы сидеть на облучке? Но вы забываете, мой милый, что и силы, и счастье, и удачи у нас может добиться только тот, кто отдал все помыслы общему делу. Политика и мораль значительно теснее связаны, чем вы думаете. Строя мир общей чести, нельзя быть бесчестным человеком. Ни подвиг, ни слава, ни открытие не дадутся вам, если вы заранее будете высчитывать с них барыши. В том-то и дело, уважаемый сверххитрец, что любой честный простак добьется у нас большего, чем вы. И сколько бы вы ни ловчились, вас ссадят с чужого коня посредине поля!

— Но в том-то и дело, дорогая праведница, что все это разговоры для бедных! В жизни все получается наоборот! Честный подвижник питается объедками с чужого стола, а ловкий хищник нагуливает брюшко.

— Один человек — не человек, — возразила Анна, — здесь ум изменяет вам, уважаемый Борис Николаевич! Самые прекрасные примеры личного самоутверждения как раз и падают на общественное дело. Что скажете вы об ученом

или художнике, который продает свои убеждения ради страха или выгоды? Да только то, что он из всех видов самоутверждения избрал самый мелкий и самый легкий! И что можно сказать о человеке, который все свои таланты употребил на хитрости преуспеяния? Только то, что он потратил силу на пустяки. Ведь вы же согласитесь, наверное, что выстроить себе дачу куда легче, чем сделать большое научное открытие или написать прекрасную картину. Высшие интересы личности всегда совпадают с интересами общества. И скажите-ка вы, подборник личного, почему вы избрали для себя путь самый избитый и ничтожный, раз уж вы так печетесь о расцвете собственных талантов?

— Да потому только, дорогая Анна, что я истинный сын своего времени! Разве не убеждают меня со всех сторон, что в мире господствуют только «реальные интересы»? Я не хочу тратить свои способности на войну с химерами! «Мне надоели небесные сласти — как говорит один уважаемый поэт, — хлебище дайте жрать ржаной! Мне надоели бумажные страсти, дайте жить с живой женой!»

Моложаев наклонился к своей спутнице.

— Я хочу, чтобы вы себе-то не лгали, Анна! Пусть новые вундеркинды сочиняют романсы к очередным профсоюзным праздникам. Для вас найдется занятие любопытней! Вы же красивы, Анна, и красота ваша и есть то грозное оружие, против которого у нас нет защиты! Вы хотите счастья, блеска, страстей — что они могут дать вам из этого, эти новые пуритане? Ваша жизнь, как бирмский корунд, должна быть вставлена в надлежащую оправу. Идите со мной! Мы будем как боги, Анна, и завоюем весь мир!

— Однако, как плохо вы кончаете, — поморщилась Анна. — Можно подумать, что вы предлагаете поставить меня под колпак и брать за обзор по целковому с носа?

Они уже прошли три квартала и свертывали теперь в переулок, к особняку Волженцевых. Анна опять освободила руку и пошла быстрее.

— Послушайте, Анна! — заторопился Моложаев. — Подождите! Я сказал еще далеко не все, хоть, может быть, и не

следовало бы говорить больше. Вы же не знаете моих планов! Я добьюсь власти... головокружительной власти! Как-ких-нибудь два-три года... Мы будем на вершине... История, как и встарь, темна и обильна случайностями... Как знать, может быть, вспомнятся еще времена маленького того корсиканца, который вертел миром!.. Да подождите же, послушайте меня!..

Анна впервые видела Моложаева в таком возбужденном состоянии. Глаза его были мутны. Он бежал рядом с девушкой и хватался за ее рукав, точно выпрашивая подачку. И беспокойство его и растерянность совсем не соответствовали грозным словам.

— Мы будем мудры и беспощадны, Анна, как беспощадна вся жизнь! — говорил он. — Мы пройдем по ее полям со скромно опущенными глазами, и никто не догадается о мере наших желаний, но мы вырвем у жизни столько добычи, сколько сможем вместить. «Я» опять станет заглавной буквой, но об этом никто не будет знать! Мы сможем все, что захотим!..

Моложаев и его спутница свернули в знакомые ворота, пересекли двор и стояли теперь на крыльце особняка.

— У вас плохая дикция, — говорила Анна, дергая звонок, — риторические сцены вам не даются.

— Это очень далеко от риторики.

— О, если бы я верила, что это не просто болтовня!

— Тогда вы не противоречили бы?

— Нет, — усмехнулась Анна. — Тогда я обратилась бы к психиатру, или...

Крыльцо открылось, и Анна, загораживая вход, кивнула головой.

— Но я еще хочу зайти! — сказал Моложаев, берясь за скабку. — Мы еще не успели договориться.

— Но мы и не договоримся! — не очень вежливо отрезала девушка. — До свиданья, сэр! Устала я сегодня от ваших разговоров!

И она захлопнула дверь.

VII

Как это бывало и прежде, Сажин спасался от выходного дня у доктора Решетова. После вчерашнего провала в ЦС ему не хотелось торчать в номере наедине с самим собою. Он заявился к приятелю почти с утра. И сразу же, как только вступил он за порог докторской квартиры, его окружила привычная семейная суматоха.

В переднюю, навстречу ему, выезжали на опрокинутом стуле, как на грузовике, дети Решетова: Миша и Лия. Они повисли у него на руках, выражая свое удовольствие оглушительным криком. Сажин вытащил из кармана соблазнительный пакет, и дети запищали еще шумнее, оспаривая друг у друга, кому распорядиться подарком первому. Из средней комнаты выглянула жена Решетова, Марья Тимофеевна. По-видимому, она была еще в домашнем «неглиже» и потому тотчас же отступила обратно.

— Проходите, Федор Петрович, проходите! — приветливо прокричала она. — Ваня там, у себя!..

Вместе с детьми Сажин протиснулся в крохотный кабинет Решетова и наткнулся прежде всего на торчащие с дивана ступни. С газетой в руках, в комфортной позе человека, отдыхающего и блаженствующего, доктор лежал на своем ложе, задрав на валик голые ноги. По случаю выходного дня одет он был в серый мохнатый халат, и ничем не стесненные его кости торчали, точно разваленная поленица, отовсюду и как попало.

— Ну, ну! Садись, давай, садись, завоеватель звезд! — приветствовал он Сажина. — Да нет, сюда вот, поближе! Цыц, воробы, не висните на дяде! Рассказывай давай, как у вас там.

Сажин уселся рядом с диваном и не без огорчения обозрел стены приятельского жилища. Все здесь, и розовый оттенок обоев, и щебет детей, и жизнерадостные мощи хозяина — свидетельствовали о неистребимости оптимизма. Инженер протяжно вздохнул и опустил голову.

— Волокита, Ваня! Волокита! — сказал он сокрушенно.
— Вот что нас заедает.

Он коротко описал Решетову положение дел, не преминув выразить все свои чувства. Мрачные его сентенции действовали на физиолога, как горячительный напиток, и спустя пять минут разговор уже принял характер перепалки.

Оба они, и Сажин и Решетов, любили порастечься мыслями по древу, и привлекали к обсуждению любого вопроса всю арматуру большой философии. Но если инженер был склонен сейчас видеть мир в серых тонах, то собеседник его не жалел густых красок. Выругав Сажина и Хлынова за предполагаемую им нерешительность, надавав кучу радикальных советов, из которых ни один не был приложим, он тут же развил целую систему действий, как поступил бы он сам. Используя увлечение папы и дяди, дети, тем временем, учинили разгром привезенному пакету и, перемазавшись в пирожном креме, сочли за благо потихоньку удалиться.

— Не понимаю я, дорогой мой! — почти кричал Решетов. — На чорта же тебе понадобилось участие во всей этой истории, если ты от всякого пустяка нос вешаешь? Интеллигент ты паршивый, Федя! Рохля! Тебе бы поэмы о звездах писать, а не дело делать! Да тут же энергия нужна, сила, жар!..

Большой, но тщедушный физиолог вскочил с дивана, потрясая перед приятелем руками. Босые его ноги и неприкрытая халатом худоба напоминали инженеру восточных нищих. Ходячая эта рака изливала на него целые потоки воинственной веры в Жизнь.

— Ну, ну, ну, — примирительно согласился Сажин. — Винюсь, Ваня, винюсь. Может быть, в самом деле, не так-то уж все страшно обстоит.

Его пристыживала живучесть этого человека, святое неистовство упрямых его костей.

— Может быть, сами мы виноваты со всякой там нашей разборчивостью да сложностями.

Но Решетова не так-то легко было укротить.

— Знаем мы эту вашу сложность! — говорил он, иронически подчеркивая слова. — Интеллигентской-то кашкой и мы когда-то питались. Мозги-то у нас раньше, дорогой Федя, на холостом ходу были. «Что есть жизнь? Что есть смерть?» — только у нас и занятий было, чтобы пространство вопрошать! По множеству всяческих там проблемок да вопросов мы себя пупом земли помышляли! А того и не разумели, что впустую-то любое колесо легко вертится.

С высоты своих шести с лишним футов Решетов кинул на Сажина выразительный взгляд и постучал себя пальцем по лбу.

— Нынче нам, Федя, эту штуку только по стоящему делу тратить велят. Сложность теперешних людей не из пальца высосана, а самой жизнью дана. Хозяйство у нас теперь большое и трудное, так что голой-то философией ничего не возьмешь. И выходит, что если мы уж в общий воз впряглись, так и жить и думать нам надо заново!

— Видишь ли, дорогой мой Ваня! — попробовал возразить Сажин. — Мне кажется, что ты не учиываешь некоторых моих личных склонностей. Я и сам знаю, что немало у нас есть теперь честных этаких старателей, которым инстинктивно чужды всякие праздные домыслы. Дело для них есть дело — область со строгими границами. Ко всему, что находится за пределами практики, они относятся с жреческим таким холодком, даже с пренебрежением. Споры нет: они и трезвы, и осторожны, и расчетливы. Ошибок у них не бывает, а дело идет быстро, точно и хорошо. Но это люди короткого зрения.

Сажин немножко помолчал, пощипывая начинающий обростать подбородок.

— Есть, однако, люди, — продолжал он, которые чувствуют себя хорошо только в атмосфере исканий. Дело имеет для них смысл лишь постольку, поскольку оно освещено светом далекой цели. Чтобы работать страстно и хорошо, они нуждаются в пафосе и, пожалуй, в некоторой доле драматизма. Они не бегут ни от риска, ни от трудностей. У них

есть чувство связи с вещами и событиями. Даже маленькое дело они воспринимают как часть большой задачи. Да и вообще для них не существует малых дел! Они одинаково сидят и в кавалерийском седле, и в директорском кресле. Правда, излишнее их увлечение заводит иногда дальше, чем следует, но зато от них можно ждать и тонких находок, и незаурядных мыслей. Это люди беспокойных творческих инстинктов.

Сажин поднял глаза на Решетова и юмористически развел руками.

— Может, и оба сорта для нас хороши, но я-то лично симпатию имею к людям беспокойным. У меня и к Матвею потому привычка образовалась, что он не крохобор, а человек широкий, даже мечтатель, если хочешь. Но вот, поди ж ты, не везет, видно, таким людям!

— Ну, положим, за Матвея-то я спокоен! — сказал Решетов. — В советских наших условиях люди широкого размаха, это не мечтатели и не прожектеры. Хорошая фантазия должна у нас подкрепляться не менее хорошим ощущением жизни. Работник у нас должен видеть далеко вперед, что в переводе на политический язык означает сохранение перспективы, добротное понимание своей социалистической Функции. Ведь жизнь-то в нашей стране потому и ядрена, что здесь дело каждого человека, хоть нарком он будь, хоть кочегар, освещено величием общей цели. У нашего Моти и то и другое в достатке: он и по земле твердо ходит и в небесах маху не дает. И это потому, дорогой мой Федя, что он хоть и вместе с нами родился, да поближе нас к будущему стоит.

— Вот, вот, вот! — подхватил Сажин. — О том-то я и говорю! Человек должен стать выше — в этом-то, Ваня, и вся моя вера! Потому-то и я к делу тянусь, что жизнь у нас идет кверху. А того, что было, я еще, Ваня, не забыл!

Он погрозил кому-то пальцем.

— И я ведь понимаю, — произнес он торжественно, — чем мы были и чем стали. Тридцать лет назад мы жили в страшном дремучем мире. Все было непрочным в нем — от

супружеского счастья до философских истин! Человек жил в пугливом удивлении перед «естественным ходом вещей», который он не мог ни опрокинуть, ни изменить. Чувства бессилия и страха были чувствами самыми доступными и понятными. В сущности, мы жили на задворках и ползали по земле, как черви, которым не дано летать. Мы были еще тогда животными двух измерений. Наши мысли были плоскостны, ощущения — планиметричны. Вверх мы смотрели с недоверием и враждой. Нас давила эта неосвоенная пустота, и жить было душно, как в комнате с низким потолком.

Сажин улыбнулся и сделал рукой просторный жест.

— И вот мы живем теперь в ином измерении... Многим из нас прошлое кажется скверным сном. Наш мир раздался до тех пределов, когда все мы и дальше видим, и быстрее постигаем, и ускоренней живем. Опрокидывается привычная иерархия вещей. Общественное бытие становится делом нашей воли. Техника плюс социализм дают нам то чувство мощи, какого не испытывали еще никогда.

Он посмотрел на Решетова и медленно покачал головой.

— Вот потому-то и тошно, Ваня, вдвое, когда с седьмого-то этажа в тартарары летишь!.. Да еще тут какая-нибудь мразь похихикивает тебе вдогонку. Мол, что, взял, покори-тель твердынь? Мол, жизнишка-то еще мало для бредней ваших приспособлена!

Решетов неожиданно рассмеялся и положил руку на плечо инженера.

— Ничего, Федор, ничего! — весело произнес он. — Ты, я вижу, лекарство от всех напастей при себе носишь! Недаром же за тобой этакая склонность к сильному словцу водится. И притом же фантазия у тебя явно... душецелительная!

Он подхватил приятеля под руку и решительно заключил:

— Пойдем-ка, однако, чай пить! Потому что не токмо духовною пищей сыт человек. Голодный желудок, как мне известно, меланхолию нагоняет.

И они перешли в соседнюю комнату, где приодевшаяся Марья Тимофеевна хлопотала у накрытого стола.

Сидя потом среди шумного решетовского семейства, Сажин испытывал не вполне понятную ему грусть. На чумазые щеки детей и на проворные руки хозяйки он смотрел с тем же самым раздумьем, с каким, вероятно, древний Диоген Синопский смотрел когда-то на пьющего пригоршнями юнца.

Ему казалось, что простые эти люди владеют тем секретом жизни, который не будет ему доступен никогда.

VIII

С утра Хлынов поехал в клинику, но к Нине его не пустили. Жена еще не родила, но самочувствие ее было хорошим. Пилот не знал, куда себя девать.

Он бродил весь этот день как неприкаянный, всюду наталкиваясь на неудачи. Ратнера ему не удалось настигнуть ни дома, ни в ЦС, ни в мандатной комиссии. Сажин, как сообщили в гостинице, исчез куда-то еще с утра. До открытия слета, на котором была надежда увидеть, наконец, председателя ЦС, оставалась еще прорва времени. Собственная квартира, опустошенная с отъездом жены, внушала Хлынову отвращение. И он решил, в конце концов, поехать на клубный аэродром, где находился подготовленный к полету ракетоплан.

С территории центрального аэроклуба пилот не раз уж совершал рекордные свои подъемы на сферических аэроста-тах. Высокую его фигуру, закованную в кожу, здесь знали буквально все. Не заходя в правление, не останавливаясь, как обычно, со встречными людьми, он сумрачно прошел мимо охраны и направился к намеченной цели.

В матовом полусвете ангара знакомые очертания аппарата вырисовывались мягче и нежней. Крылатый цилиндр ракетоплана мало походил на обычные планеры и самолеты, так как основные параметры машины были другие. Удлиненное тело его тупо заканчивалось сзади отверстием сопла и непривычно расположенным оперением. Полурыба-полужук по форме, технический этот гибрид был опоясан

спереди сеткой наблюдательных окон, напоминавших фасетчатый мушиный глаз. В верхней полусфере цилиндра находился входной люк, с боков же, точно жабры, открывались навстречу движению слегка оттопыренные расщелины воздушного приемника, через который при полете должен был автоматически нагнетаться нужный для работы двигателя воздух. И чуть поодаль от самого аппарата темнел на помосте сероватый массив стратостатной оболочки.

Оболочка в сложенном виде занимала в ангаре совсем немного места. В груде прорезиненного перкаля, в развешанных по балкам свивках такелажа, в тяжелой куче поясных былочто-то оскорбительно бездейственное, как в лишенном дыхания теле.

Сколько труда, огорчений, волнений и забот стоили ему эти мирно дремавшие вещи! Неужели же весь этот сгусток человеческого ума и вдохновения должен был пропасть даром?

Хлынов прекрасно помнил тот путь, который отделял этот готовый к действию аппарат от первоначального замысла на бумаге. Сколько дней и ночей просидели они с Сажиним, испытывая сконструированный ими ракетный двигатель в стационарных условиях! Сколько труда стоило им отыскать лучший способ крепления ракетоплана к оболочке и механизм автоматической отцепки на потолке! Пилот знал каждую пядь этой входившей в оболочку материи как собственную кожу, со всеми ее родинками и веснушками. Он очень хорошо понимал, что никто уже не может так точно управлять всей машиной, как он, который видел все стадии ее рождения и роста. И во всех этих препятствиях, чинимых старту, ему была досадна не только личная своя неудача, а неудача той массы резинщиков, сварщиков, лаборантов и инженеров, опыт которых и волю он представлял.

Неизвестно зачем Хлынов провел рукой по материи, словно погладил ее. Холодный перкаль сероватой алюминированной окраски издал под его пальцами мягкий шуршащий звук. Материал был упруг и плотен, как мышечная фасция. Прикосновение к нему доставляло странное удо-

вольствие, точно это было живое дружеское существо. Сердито вздохнув, пилот бросил на оболочку край приподнятого им брезента и снова отошел к ракетоплану.

В сущности, ему нечего было здесь делать, потому что все было десятки раз выверено и подготовлено к полету. Свернутая оболочка могла немедленно раздуться и, приняв форму вытянутой груши, подняться вместе с аппаратом туда, куда не залетала еще ни одна птица. Здесь каждый винтик и рычаг готов был, как в заряженном оружии, прийти в действие и послать в небо начиненную умом и волей бомбу.

Хлынов влез на стремянку и заглянул через одно из сетчатых окон внутрь кабины. Перед ним предстала часть полувального помещения, опоясанного стойками и столами. Трубчатые колонки, защищенные мягкой оплеткой, разделяли столы на секторы для установки приборов. Справа от штурвала находился первый отсек, занятый хронометром и секстантом. Следующая стойка с поперечной перекладиной выполняла роль кронштейна для подвески ртутных барометров. Дальше виден был край распределительного щита, прочно укрепленного на каркасе. Ярко освещенная внутренней лампой кабина была пронизана деловитым уютом лаборатории. В ней все находилось на заранее определенном месте. Это был образ звездного корабля, о котором до сих пор упоминали только в романах.

Хлынов прикоснулся лбом к запотевшему от его дыхания стеклу и закрыл глаза. Весь жар многолетних его мечтаний ударил ему в голову. Цель долгих его усилий и плод неустанного труда, воплощение всех его надежд, знаний и яростного желания служить своей стране — эта машина была реальной вещью, которую можно было ощупывать, трогать, осязать.

Он вспомнил вчерашнюю дискуссию и почувствовал такой наплыв злобы, что руки его сами собой сжались в кулаки. Чья-то тихая холеная усмешка пронеслась в дымке его памяти. Выключив из кабины свет, Хлынов спрыгнул со стремянки и страшно заматерился, приводя в изумление дежурного по ангару.

Питомец вежливого летного искусства, безусый хранитель ангарного порядка смотрел на командира, вытянувшись и часто-часто мигая.

Хоть он и не понимал причин гнева, но ему вчуже становилось страшно за тех, кому адресовалась чудовищная эта брань.

IX

В начале четвертого Хлынов был уже в вестибюле большого Кремлевского дворца. Заложив за спину руки, он остановился у колонки одного из лампионов и некоторое время смотрел на съезжавшихся делегатов.

Скромные москвошвеевские пиджаки и пышная продукция Востока, полосатые халаты, френчи, бешметы, гимнастерки и расшитые ненские совики рябили у него в глазах. От изобилия света и красок, от пестроты человеческих лиц, от шума и гама голосов обширный вестибюль казался тесным. Толпа народа текла мимо пилота на главную лестницу, и он подмечал в людях тот самый огонек безотчетного возбуждения, который уже возникал и в нем самом.

Впрочем, все это оживление порождало в Хлынове двойственное чувство. Так и не укараулив Ратнера у входа, он прошелся по кулуарам дворца, бросая вокруг беспокойные взгляды. Вычурное великолепие Георгиевского зала, слащавые картины Моллера, скользкие паркеты и множество громоздких люстр — все остатки царской обстановки почему-то раздражали его. Он с завистью прислушивался к непринужденному говору делегатов. Кучками и попарно они бродили вдоль зал, сидели на диванах, смеялись, беседовали или расспрашивали соседей. Жестом или восклицанием знакомые приветствовали свои неслучайные встречи. Старые соратники разнеженно жали друг другу руки. Годы вмещали немало и дел и событий — было чем поделиться или даже похвастаться друг перед другом. Для Хлынова здесь все были именинниками, и многое он бы дал, чтобы забыть о том червячке, который грыз его, не переставая.

Где-то на него натолкнулся бывший его приятель, не видавшийся с ним много времени.

— А, Матвей! Вот встреча-то! Рад, рад, дружище! Ты, я вижу, все по летной части упражняешься? Эге, и ромбик в петлице завелся! Это не ты ли на ракетоплане-то лететь собираешься? Читал я как-то твою фамилию в газетах, да думал, не однофамилец ли?

Приятель, человек по внешности круглый и избыточно здоровый, был преисполнен тем самым неомраченным довольством, которого не хватало Хлынову. В словах его пилота даже послышалась насмешка.

— Ну, и что же ты решил? — спросил он поэтому хмуро. — Мол, где ему с «высокой» такой миссией сладить? Или, может, ты и вообще думаешь, что со свиным рылом в калашный ряд лезть не стоит?..

Знакомый поглядел на него с недоумением.

— Да что ты, Мотька? С какой печи съехал! Я рад, дявольски рад!.. Так ты, значит, и Академию успел кончить? Это, брат, здорово!

Хлынову стало стыдно за свои слова. Чем, в конце концов, виноват человек, если ему хочется сегодня всех приветствовать и провозглашать?

— Ну, ладно, ладно! Не вопи так! — конфузливо сказал пилот. — А то видишь — люди оглядываются. Расскажи сам-то, как живешь да чем дышишь? Ты делегат, что ль, или гость, как я?..

За добрые семь лет разлуки приятель стал начальником крупной новостройки, и приехал на слет во главе целой делегации. Вспоминая общих знакомых и бурные «дела минувших дней», они прошли в постепенно заполнявшийся зал заседаний.

Хлынов знал, что от прежнего тут остались только стены. Вырубленный из старой породы дворца зал этот был отстроен к XVII партсъезду. Все в нем, от пахнущих краской кресел до союзных гербов на столе президиума, дышало еще теплой свежестью новизны. Двойные матовые шины, напоминавшие кольца Сатурна, источали с потолка мягкий

и ровный свет. Зал был вытянут в длину и завершался сзади большой галлереей. С правой стороны его, над входными дверями, парили белые полукружия лож. И там где-то, в прозрачной и ясной его глубине, над возвышением трибуны и над столом президиума, обрамленная тенью ниши, поднималась знакомая фигура Ильича.

Зал был для делегатов чем-то вроде сюрприза или подарка. Изъявляя одобрение, входящие люди оглядывались по сторонам и задирали головы. Но, может быть, именно поэтому Хлынов и не мог удержаться от ворчания.

— Эххе-хе-хе-хе! — неопределенно вздохнул он. Обилие света и шум чем-то тревожили его.

Приятель еще раз пристально посмотрел на пилота и затем осторожно, точно больного, взял его под руку.

— Что с тобой делается, Матвей! — посерьезнев, проговорил он. — Что это за похоронный тон такой у тебя? Да и тебя ли я слышу?.. Что-то ты... того...

Не желая вспоминать о неприятной теме, Хлынов в ответ только отвернулся.

Ровно в четыре на возвышении появился всем известный человек, и зал торжественно стих, отмечая открытие слета. Впрочем, как только названо было первое имя, под звонкими сводами разразился целый шквал восторга.

Казалось, чего бы проще?

Человек очень буднично называл фамилии, намеченные в президиум, но зал взрывался и грохотал, словно в каждом из этих имен был заряд динамитной силы. Он произносил одно только слово, но в тысячах голов вспыхивали отблески многих дней труда, прозорливости и самоотвержения.

Члены президиума занимали свои места.

Простые и всем знакомые люди пробирались по возвышению. Торопливо и озабоченно, теребя седоватую бородку, пробежал к своему стулу всесоюзный староста. Сняв очки и протирая их платком, он смотрел в зал улыбающимися прищуренными глазами. Выросла у стола фигура того самого шахтера, с именем которого был связан новый подъем трудового энтузиазма страны. Твердым подобранным ша-

гом прошел свежий и круголицый наркомвоенмор. И когда среди ближайших соратников появился тот самый человек, чье имя было воплощением мощи и побед революции, новая волна восторга захлестнула зал.

Люди, забывшись, вскакивали на стулья и хватали друг друга за плечи. Из общего гула все чаще и чаще вылетали отдельные восклицания:

— Да здравствуют лучшие сподвижники Ленина — Сталина!

— Ура руководителям партии и рабочего класса!

— Родному Сталину ур-ра!

В какое-то из мгновений Хлынов осознал себя на том, что он стоит, вцепившись одной рукой в барьер, и громко выкрикивает «ура!» вместе со всеми, забыв о времени и мере выражения своих чувств. Он бил в ладоши и кричал, порываясь встать как можно выше. Нечто огромное и неодолимое, в сравнении с чем совсем ничтожными показались ему все личные огорчения, вдруг нахлынуло на него и заполнило грудь. Глядя на человека, каждому слову которого он верил больше, чем самому себе, пилот хотел бы запечатлеть эту минуту навсегда. В скромном полувоенном костюме, широкоплечий, спокойный и мощный, вождь рукоплескал вместе с залом тому необъятному делу, которое привело сюда всех.

Малорослый приятель Хлынова бесновался рядом с ним, точно мальчишка. Силясь заглянуть поверх голов, он все цеплялся за рукав пилота и тонким упоенным фальцетом то и дело выкрикивал приветствия. Он хотел, видимо, достать платок, чтобы обтереться, но никак не попадал в прореху, и все шарил и шарил рукой поверх кармана.

Некая дымка восторга заволакивала и мир Хлынова. Какая-то часть слета, процедурные подробности и первые речи людей прошли для него, как во сне. Он едва ли слышал, что кричалось и говорилось вокруг, и пришел в себя вполне только тогда, когда объявили о выступлении вождя.

Под грохотом вновь рухнувших аплодисментов вождь стоял на трибуне, выжидательно вглядываясь в зал. Лицо

его казалось Хлынову нечеловечески могучим и, вместе с тем, близким и простым. Знакомые, зачесанные назад волосы, густые усы и глубокие складки около губ — все это было оваяно силой и спокойствием. Пилот находился в том самом состоянии, когда в одно ощущение сливаются все впечатления бытия. Чувства радости, гордости, восторга, нежности, преданности — кусок густого и твердого сплава лежал у него под сердцем. Точно заранее условившись, он и его сосед глянули друг на друга, обменявшись одним из тех взглядов, которые значат больше слов.

Человек стоял на трибуне, как в рубке большого корабля. Волны многоголосого шума рвались ему навстречу. У него был вид кормчего, выходящего в далекое плавание.

Он поднял, наконец, руку, так и не дождавшись конца оаций, и зал постепенно утих.

— Товарищи, — сказал человек только слово, и точно прохладная бризовая зыбь пробежала по смолкнувшим рядам.

Хлынов тысячи раз и каждый день слышал простое это слово, но на этих губах оно имело какое-то особое, необыкновенное значение. «То-ва-рищи!»... И разве они, в самом деле, не товарищи? Разве не участвуют они в одном неизмеримом деле, борясь рука об руку с общими врагами! И разве можно еще в чем-нибудь сомневаться и чего-нибудь страшиться, когда идешь с ним плечом к плечу?!

Вождь говорил ясно и точно, без всякой излишней горячности, обычно свойственной ораторам. Фразы звучали просто и коротко, но смысл их был емок и глубок. Сказывалась строгая, логическая манера думать и говорить. Вождь прежде всего предполагал за слушателями ум и, избегая эффектов, бросал одно за другим железные доказательства. Здесь не было ни резких колебаний, ни нервического подчеркивания. Речь лилась свободным и мощным потоком. Временами в голосе сильнее прорывались интимные интонации и гортанный выговор, и это придавало речи неожиданно теплый оттенок. Вождь говорил так, будто это был

не доклад на большом собрании, а задушевная дружеская беседа.

С первых же слов речи у Хлынова появилось такое ощущение, словно в мозгу его начался рассвет. Мысли скрытые сумраком, ясно очерчивались, обрисовывались, и выступали границы событий, образовывались тени и ярко освещенные места. Все, что было и раньше понятным, становилось значительным и огромным, а все, что было темным и запутанным, делалось ясным и решенным. Казалось, человек этот обо всем подумал, на все имел ответ, и вот делился теперь делился с кругом близких людей результатами поисков и раздумья. Непокколебимая уверенность и воля слышались в его словах, и все, о чем он ни говорил, освещалось резким всепроницающим светом.

Колонки цифр и перечень фактов были в руках этого человека оружием грозным и беспощадным. Он говорил об экономике капиталистических стран, и перед глазами слушателей вставали потушенные домны, мертвые доки, закрытые ворота фабрик и молчаливые очереди за благотворительной похлебкой. Он называл другие числа, и из них вырастали новые заводские корпуса, дворцы культуры, школы и колхозные поселения, меняющие ландшафт страны. Он насмешливо напоминал о людях, чье неверие уже не нужно было опровергать. То смех, то веселое оживление, то негодующий ропот или взрыв восторга пробегали по залу, уступая затем место напряженному молчанию, при котором было слышно дыхание соседей.

Человек говорил о вещах суровых и трезвых, но в воображении Хлынова рисовались широкие картины пройденного пути и необозримые пространства, наполненные кипением жизни. Чувство мощи охватывало пилота по мере того, как говорил вождь. Ему казалось, что бока его распирает, словно в него вливалось дыхание всего этого зала, превращенного в единое существо.

«Чорт побери!— думал он. — Да разве может что-нибудь помешать нам творить жизнь по своему образу и подобию? Да разве не сотрем мы с лица земли всю эту

нечисть, что тычется еще у нас под ногами? Держись прямо, Матвей, если хочешь, чтобы все шло, как нам нужно».

Словно отвечая на его мысли, вождь напоминал о твердости и о любви к человеку.

Доклад близился к концу, и пилот испытывал ощущение легкости во всем теле и ясной чистоты. Все неясное было убрано из его мозга, мысли были очищены и расставлены по местам. И когда вождь закончил речь здравием общему знамени, Хлынов вскочил, как и все, подкинутый новой волной восторга.

Это было сильнее всякого личного чувства. Крики «ура», возгласы приветствий, грохот рукоплесканий, радостный смех, говор и стук кресел — все это слилось в иступленный гул, подобный звуку нарастающей бури. Хлынов смотрел на улыбающееся лицо вождя, озаренное светом рефлекторов, и ему казалось, что достаточно было этому человеку шевельнуть рукой, чтобы он, Хлынов, мог совершать все, что угодно — работая, летая, борясь, получая или отдавая жизнь.

После речи вождя был объявлен перерыв. Шумящие и неостывшие еще людские потоки заполнили кулуары дворца. Курильщики страстно затягивались табачным дымом, который после четырехчасового воздержания был вдвое вкуснее и рьяней. Хлынов пробирался по залам и переходам, иногда не очень вежливо толкая встречных людей. Ему почудилось, что среди толпы мелькнула ассирийская шевелюра Ратнера, и он торопился за ней, чтобы не упустить случая поговорить.

Ну да, так и есть — это был Ратнер! Он шел быстро, удаляясь от пилота, с каким-то одетым в военную форму человеком и, оживленно жестикулируя, что-то ему объяснял. Весь превратившийся в зрение, Хлынов бежал за ними, широко и напряженно шагая. У каких-то дверей, куда Ратнер и его спутник хотели, по-видимому, войти, летчик все-таки нагнал их и сразу же, без всяких приготовлений, воскликнул:

— Подождите-ка, Лев Маркович...

Я вас тут, можно сказать, целый день ищу! Когда же будет конец этой нашей волоките?! Вы читали стенограмму совещания? Когда же мы кончим заниматься болтовней?..

Он вошел вслед за Ратнером в большой пустынный кабинет, и только тут-то и заметил, кто был спутником председателя ЦС,

Русые волосы и румяные щеки, простое и мужественное русское лицо и подтянутый торс — кто же не знал этого известного всей стране обличья?! Пилот по-военному вытянулся и смущенно замолчал.

— Ничего, ничего! Рассказывайте давайте, товарищ начальник! — ободряюще улыбнулся человек. — Что у вас там не ладится? Чем вы недовольны?

Хлынов взглянул в светлые испытующие глаза, и вдруг ему стало ясно, что вот тут-то он и может сказать, не таясь, обо всем. Все, что передумал и перечувствовал он в эти два дня, все, что томило его, мешая свободно жить и дышать, все это разом прихлынуло к его горлу. Уж не смущаясь и не раздумывая о необычности обстановки, он заговорил о своем деле так, как будто был наедине с самим собой,

Он не гнушался уже ни резким словом, ни прямодушным осуждением; и в словах его вставала трудная правда большой работы и честных бессонниц.

И по тому, как ясна была внимательная улыбка человека, пилот уже знал, что не уйдет отсюда, пока не выскажется до конца и пока не получит ответа на все тяготеющие над ним вопросы.

Х

«Анна!

Я знаю, что не отправлю вам этого письма, и тем не менее... пишу его. Ведь даже и в наш трезвый век у человека может быть такое положение, когда он вынужден разговаривать с призраками. Мне приятно хоть на одну секунду представить, что я не один и что я могу потолковать с вами запросто.

К тому же, написанное или произнесенное слово имеет власть вносить в мозги должный порядок. А в порядке, признаться, я сейчас сильно нуждаюсь, потому что чья-то рука вмешалась в мою игру и, кажется, спутала все мои карты.

Впрочем, будь вы на самом деле моей собеседницей, вы, вероятно, спросили бы, кто дал мне право рассчитывать на ваше сочувствие? И я опять ответил бы вам: инстинкт. Тот самый инстинкт, который помогает зверю распознавать своих от чужих. От вас, Анна, исходит тот же запах хищности, что и от меня. А, стало быть, о чем бы я ни думал, вы не можете меня не понимать.

Тропа личного счастья глуха, Анна, ох, как глуха! И рассматривать весь мир и всех людей, как постоянных врагов, кажется иногда очень утомительным. Немудрено, что иногда хочется и поскулить! Вот так... положить бы голову на ваши колени и подышать бы хоть немножко теплом близкого тела... если эти слова не покажутся вам слишком рискованными!..

Вообще, согласно с вашим желанием, можете радоваться на этот раз, что я оказался в дураках. Лично меня, однако, тревожит не сама неудача. Непонятно нарушение того принципа, который положен мной в основу! И неужели же в моей теории допущена какая-то ошибка?! Этого не должно и не может быть!..

Вы, вероятно, знаете или догадываетесь, как складывалось дело два дня тому назад.

Заседание, на котором обсуждался вопрос о старте, кончилось вполне согласно с гипотезой. Мамонтов выступил против Хлынова. Причины, вам известные, сделали нашего академика сугубо красноречивым. Правда, ему возражали не менее авторитетные специалисты, но моя задача была решена: хоть один авторитетный голос специалиста был отвоеван мною, — и некоторое колебание было внесено. Решение не состоялось. Нетерпеливый кандидат в герои хоть и крепился, но я уже чувствовал, когда он уходил, что час взрыва близок. Так или иначе — эта часть плана была осуществлена. Разрешение вопроса о старте откладывалось

на ближайшие три-четыре недели, и Хлынов имел теперь время, чтобы наделать глупостей.

В том, что он их наделает, не было никакого сомнения. Все эти честные простакі вообще невоздержны на язык. Уходя с совещания, Хлынов уже сбрыхнул Филину что-то насчет «аппаратного болота». Ученый секретарь жаловался мне потом и уже высказывал опасение, что подобный человек едва ли годится для такого деликатного дела.

Он начал уже говорить о смене бригады, и, стало быть, все обстояло, как видите, блестяще.

Несообразности начались днем позднее.

Это был всего второй день слета, и я был очень удивлен, что Ратнер с утра явился в ЦС. До позднего вечера он проявлял непрерывную и подозрительную деятельность: потребовал к себе стенограмму совещания, вызывал зачем-то Мамонтова и Ложкина, устраивал совещание с Грудским и Чукминым, ездил на клубный аэродром. Утром был опубликован приказ о разрешении Хлынову старта.

Вы можете представить себе мое состояние! Я принял эту идиотскую бумажку, как астроном мог бы принять известие, что солнце всходит на западе.

Все, что угодно, но только не это скоропалительное вмешательство мог я предполагать. Во-первых, Ратнер, как делегат слета, должен был, по моему мнению, сидеть сейчас на его заседаниях и заниматься работой, от которой он никак не мог себя освободить.

Во-первых, совсем непонятна была его решительность.

Тут было что-то не так!

Я явился к Ратнеру немедленно. Он собирался уже уходить и укладывал в портфель разбросанные дела. На его лице была печать некоей усталости.

— Слушайте, Лев Маркович, — сказал я. — Я очень рад, совершенно так же, как и вы, что дело со стартом разрешилось. Но меня смущает одно обстоятельство. Как вы предполагаете, будет наш старичок еще огрызаться или нет? Ведь он, кой грех, еще куда-нибудь со своей декларацией полезет!..

Я постарался ему осторожно намекнуть, что здесь еще возможна куча осложнений.

Он посмотрел на меня исподлобья.

— Вопрос решен! — коротко ответил он. — Да и Мамонтов вовсе не так уж непримирим. Старт будет дан послезавтра.

И форма и тон ответа исключали всякую возможность дальнейшего обсуждения.

Словом, все уже было решено, и мне оставалось лишь поклониться и выйти.

Я обдумывал положение с тем же самым чувством, с каким, вероятно, Адам или Леверье обдумывали неправильности в движении Урана. Должна же была, чорт побери, существовать причина этого возмущения.

Вы знаете, Анна, те посылки, из которых я исходил.

Меняются цари, времена и социальные устройства, но один человек (личность, индивидуум) всегда остается наедине со своей судьбой. Закон этого мира — вечная война всех против всех. Влюбленный один хочет обладать своей женщиной. Честолюбец ни с кем не желает делиться своей славой. Хищник рвет у соседа живые его куски.

Так было от века, Анна! Я был убежден, что ну нас ничего не изменилось в этом.

Хлынов хотел лететь, чтобы проявить свою преданность. Мамонтов ему мешал, чтобы доказать свою правоту, Я действовал, чтобы не упустить свою добычу. Цель была одна, но интересы разные. Я знал этот закон и пользовался им. И все шло прекрасно, как вдруг...

Ратнер почему-то проявил необычайную решительность.

Мамонтов, как мне передавали потом, не так уже настаивал на своих возражениях, и все пошло вверх тормашками, как будто закон тяготения перестал тут действовать.

В чем тут дело?

Неужели же все мои исчисления неверны? Неужели же вся эта система, которая зовется социализмом, подчиняется иным, мне неизвестным, закономерностям?

Ну, и, конечно, я догадался, Анна, догадался с самого

еще начала, откуда пришли эти изменения! Это вмешивались в игру они, те люди, что стоят у кормила правления и недремно следят, чтобы шаланда социализма шла нужным галсом. У Хлынова, как видно, нашелся высокий покровитель! Не ожидал я, признаться, такого от него проворства в искусстве привлекать полезных людей.

Ситуация в общем, как видите, сложилась неважная. Плод долгих усилий и тончайшей тактики ускользает из моих рук! Простодушнейший слесарек готовится вешать на грудь ордена, хитроумный же ловец человеческих душ должен скромно уступать ему дорогу! Ведь если полет Хлынова будет удачен, моя репутация в ЦС — потеряна! И в лучшем случае, мне нужно будет начинать сначала то, что уже было у меня почти в руках!..

Вы можете теперь посмеяться надо мной, припоминая кое-что из наших прежних разговоров.

— Ну, а как же, — спросите вы, — как же обстоит дело с чудесным тем средством, перед которым открываются все двери? Куда теперь годятся все ваши психологические ухищрения и методы? Ведь не внушите же вы Хлынову телеопатическим способом, чтобы он испугался лететь, или чтобы он вернулся с полпути к рекорду?..

Вы помните, конечно, что я говорил о законных орудиях успеха. И вы, конечно, спросите, какое из них мне осталось употребить.

И вам и мне ясно, что отыгаться можно только в том случае, если бы полет... оказался неудачным. Ну, скажем, какая-нибудь неполадка, пустяк, мелочь. Хлынов возвращается, не поставив никакого рекорда. Тогда все возвращается на свои места. Покорный ваш слуга оказывается в роли несправедливо обиженной невинности, а кандидату в герои косвенно или прямо выражается неудовольствие за излишнюю поспешность. И тогда этот полет станет только ступенью моего дальнейшего движения!

Вопрос, стало быть, только в том, как это сделать.

Я вижу уже усмешку на ваших губах, ту самую усмешку, которой вы награждали меня так часто.

— Да, да! — подтверждаете вы. — Вопрос только в том, как это сделать. И притом, сделать так, чтобы не пользоваться ни одним рискованным средством...

Но вы напрасно улыбаетесь, Анна! В моем распоряжении еще немало способов войны, и я не так-то легко отдаю добычу.

Во-первых, то, что мною уже сделано, имеет еще значение. Хлынов пережил за последнее время достаточно пертурбаций, чтобы выйти из равновесия. Переходя от отчаяния к надежде, он, надо полагать, порастряс всю свою уверенность и силы. Теперь, получив разрешение, он находится в той крайней степени восторга, при которой едва ли возможны спокойствие и точность действий, и, стало быть, ему легко в таком состоянии зарваться, увлечься, ошибиться, упустить что-нибудь из вида! Какая-нибудь ничтожная неточность приборов, малейшая ошибка в управлении и... все будет обстоять, как нужно.

Если к тому же попытаться внести в действия людей тень некоего недоверия, то это уже будет сила, работающая на меня. Если, скажем, инженер Сажин будет с подозрением относиться к искусству пилота Хлынова? Или если тот ученый щенок, что влюблен в вас, Анна, будет убежден в опасности полета? Да, все это такие вещи, которые стоят немало!

Впрочем, может быть... я вполне согласен в этом с вами, Анна... может быть, я просто становлюсь смешным? Может быть, все уже потеряно, и я только утешаю себя, строя эти сомнительные планы?..

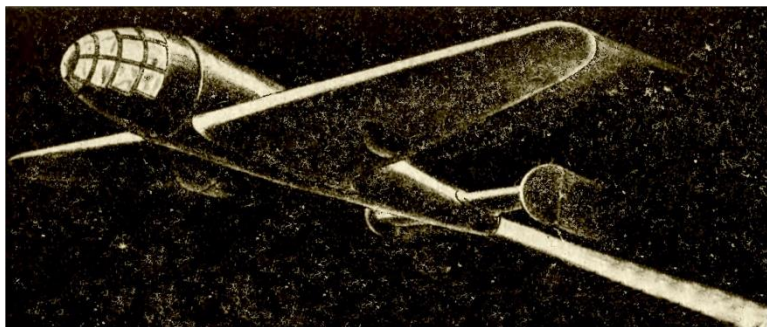
Увы! Весьма вероятно, что в этом мире нам осталось лишь покорно уступать победителям и преклонять колени перед торжествующими праведниками. Для нас нет уже ни надежд, ни спасения, и мы должны за чечевичную похлебку будущего уступить все права своего первородства. Да будь же он проклят, этот грядущий мир!

Я не хочу ему сдаваться на милость! Мне нечего уже терять. Жизнь еще полна всяких случайностей. Одна улыбка

судьбы... какой-нибудь пустяк, мелочь, непредвиденность! Все еще может быть устраненным...

И скажите мне, Анна! Скажите мне, невольная моя доверительница!.. Чего ж мне еще бояться и над чем раздумывать, если я хочу быть последовательным?»

...Такое письмо было написано, но сожжено Моложаевым за день до старта.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Накануне старта несколько потеплело. С вечера на аэродром навалился молоденький туманец, и пухлые клочья его бродили по полю, подобно зевакам. Впрочем, метеорологи сулили к утру если не вполне ясную, то, во всяком случае, пригодную к полету погоду. Пока же подготовка к старту шла в серой и медленно густевшей мгле.

Во тьме и тумане был призрачен и эскизен весь окружавший аэродром мир. Служебные здания и ангары выступали из сумрака частями и обрывками, словно были набросаны наспех и вчерне. Неясными казались даже ближайшие вещи. В размытом пространстве виднелись лишь бледные кляксы фонарей, да там, в глубине поля, слышался гул оживленных голосов и смутно угадывалось недремное шевеленье.

На стартовой площадке острые лезвия прожекторов вырубали из ночи куски видимой жизни. В полосе света, окруженной со всех сторон глыбами мрака, точно в межзвездной пустоте, разворачивалась полная значения деятельность. Управляемая негромкими окликающими стартовая команда укладывала на снегу огромный брезент, на котором предстояло раскатывать оболочку. Движения привычных к делу людей были точны и несуетливы. В призрачной обстановке

ночи даже знакомая красноармейская форма представлялась странной и полной необычного смысла. Казалось, поселение каких-то космических существ готовило здесь ковер для схватки гигантов.

Это был цирк среди пустоты, вырванный из небытия жадной хваткой прожекторов. Слепящие их бельма неустанно ощупывали землю, помогая точной работе людей. В окрестностях площадки, совсем близко к брезенту, паслось уже целое стадо резиновых газгольдеров. Они должны были, как жертвенные животные, испустить свой гелиевый дух, чтобы наполнить чрево стратостата.

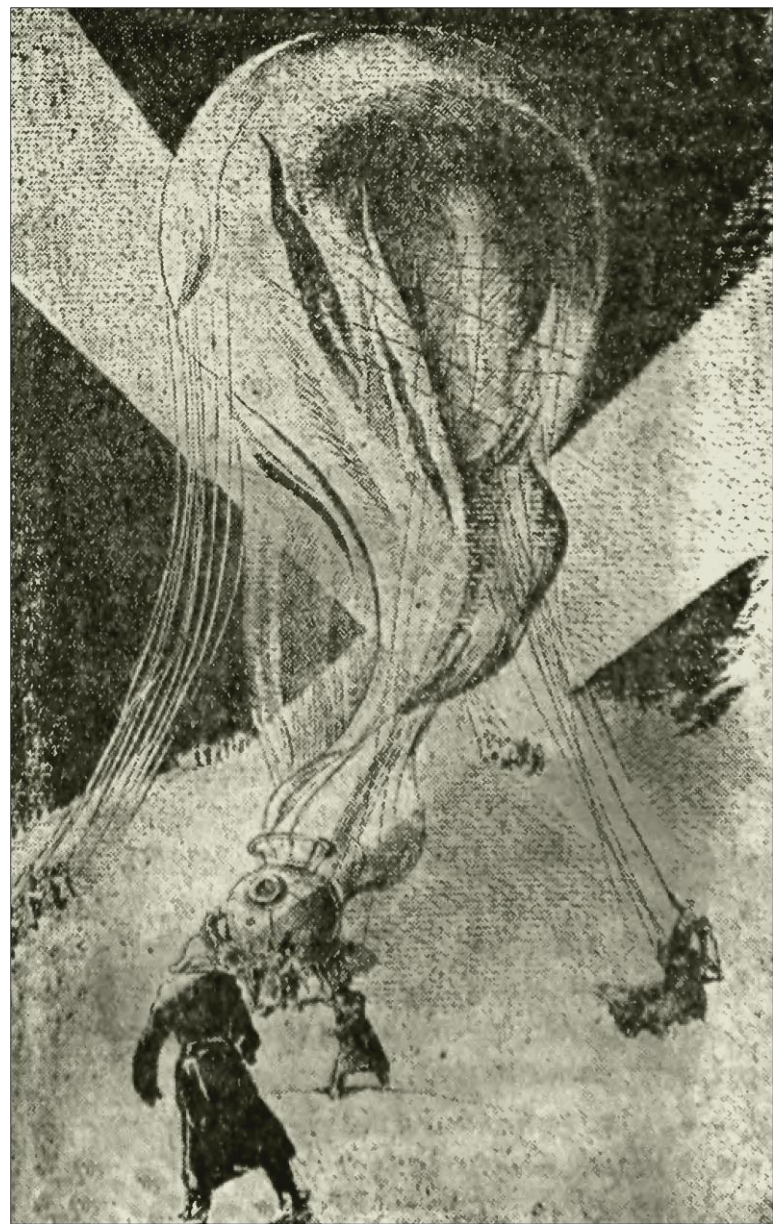
Несколько десятков красноармейцев, вытянувшись в тесный и длинный ряд, уже несли на плечах свернутую в виде толстой кишки оболочку. Тотчас же началась ее раскатка. Маленькие человеческие фигурки ползали по брезенту, стараясь как можно осторожнее и глаже развернуть эту тонкую перкалевую пленку, которой вверялась судьба дела и людей. Уже подводились к аппендиксам шланги. Упругие резиновые змеи ползли теперь от оболочки во мрак, туда, где безмолвно дремало тучное стадо газгольдеров. По команде начальника старта красноармейцы волокли одну за другой неуклюжие туши к шлангам и по команде же бросались на них, выдавливая газ, как ливерную колбасу.

И в ту же минуту под кожей оболочки, словно от сильного удара, мгновенно появился и начал расти округлый волдырь.

Сияли желтые зрачки прожекторов.

Негромко переговаривались люди.

Слышалась команда. Посвистывал несущийся по шлангам газ. Волдырь все рос и менял очертания. На месте припухлости образовался уже большой пузырь: пузырь постепенно стал насыпью; насыпь превратилась в холм, и вот уже вначале бесформенный холм медленно вытянулся и полез вверх. Было похоже, что под оболочкой шевелилось и вставало ото сна какое-то неведомое, но грозное творение, вроде тех триасовых чудовищ, образы которых рисует фантазия палеонтологов. Вот оно поднимало голову, вот расправляло



плечи и привставало на лапах, а вот уже вскакивало на четвереньках, чтобы попытаться дальше прыгнуть в висящую над ним пустоту.

Целый водопад причудливых складок низвергался теперь с вытянувшегося тела стратостата. Нежные блики всех цветов и оттенков заиграли, точно на мыльном пузыре, на алюминированной поверхности ярко освещенного перкала. И часть красноармейцев уже становилась по команде в круг, держась за крепкие тросы поясных.

Ангар, где находился в то время ракетоплан, полон света, шума и оживления. Повсюду сновали люди, озабоченные подготовкой машины. Устанавливали со всеми надлежащими предосторожностями узкие баллоны с горючим, выверяли действие предохранительных клапанов, продували воздушные приемники мотора.

Растрепанный и вспотевший, немножко охрипший и покрасневший от возбуждения, делом этим управлял Сажин, и нельзя было узнать во властно покрикивающем инженеру всегда тихого и склонного к покою человека.

В кабине горела тысячесвечевая лампа, и Хлынов возил-ся там у распределительного щита, проверяя в последний раз работу управления и навигационных приборов.

Пилот испытывал тот необыкновенный прилив сил и радости делания, какой сопровождают обычно всякую удачу. Разрешение старта все еще представлялось ему чем-то вроде выигрыша в лотерею. Слишком яркое ощущение счастья заставляло его вновь и вновь проверять не раз проверенные механизмы. Он смотрел сейчас на приборы управления и на все содержимое кабины, как смотрят на хорошо заученный текст, чтобы еще и еще раз вдавить в мозг каждую подробность.

К радости его примешивалась, однако, некоторая озабоченность, хоть это и была приятная озабоченность завершения. Он слышал из кабины рабочий шум ангара, деловитую перестрелку голосов и распорядительные оклики Сажина. Звуки эти были для его слуха слаще музыки. В сосредоточенном и напряженном взгляде его бродил какой-то второй,

легкий и ясный свет. Если бы кто-нибудь мог видеть сейчас лицо Хлынова, тот, вероятно, вспомнил бы, что большой и рачительный этот человек был когда-то мальчишкой.

Он вылез из кабины, чтобы осмотреть тросы управления, и дружелюбно ухмыльнулся Сажину. Непривычно всклокоченный инженер уже одним своим видом возбуждал в пилоте приток симпатических чувств. В ответ на улыбку приятеля хлопочущий около аппарата Сажин сделал руками какой-то широкий жест. Жест можно было истолковать и как знак недосуга и как знак того, что все идет превосходно. Хлынов понял в обоих смыслах и, обходя инженера, лишь потрепал его ладонью по затылку.

— Ну, ну, крути, Федя, крути!..

Вероятно, по тому же самому побуждению, по которому отходят на известное расстояние от больших картин в музеях, Хлынов отошел на минуту в сторону, окидывая свое детище одним взглядом. Металлическая птица, распластав крылья, казалось, царил в воздушном пространстве ангара. Она лежала в прочных объятиях фюзеляжа, точно челнок в швейной машине, связанная с мотором и оперением лишь тонкими нервами управления. Пробуя тросы и ощупывая сальники, Хлынов обходил аппарат кругом, и вот тут-то, вывернувшись из-за плоскостей оперения, он и натолкнулся на Моложаева.

Он был уже здесь давно и вместе с другими членами бригады помогал подготовке полета. В течение вечера Хлынов не раз видел то там, то сям прямоугольные моложаевские плечи, но какое-то смутное ощущение заставляло его избегать близкой встречи.

Теперь они стояли лицом к лицу, оба несколько озадаченные внезапною столкновением. Моложаев во главе группы обслуживающих людей устанавливал в прямом крыле аппарата второй баллон горючего. Он смотрел на пилота вопросительно и отчужденно, как смотрят на появление постороннего человека. И, чтобы как-нибудь скрыть непонятное самому себе смущение, Хлынов сделал вид, что внимательно следит за опусканием баллона в гнездо.

— Ну, как? — не очень-то определенно спросил он, избегая моложаевского взгляда.

— Да так... ничего. Все в порядке, товарищ начальник! Будете довольны!

Хлынову почудилось, что все это произнесено со скрытым, не то насмешливым, не то угрожающим значением. Стало как-то еще более неловко. Было у пилота такое смешное чувство, словно он в чем-то виноват перед этим человеком. С момента разрешения старта его подозрения как-то отошли в сторону. Он жил в сладком мареве успеха, и его смущала теперь всякая хмурая физиономия, точно он не вполне законно пользовался своей удачей. Простой, доверчивый и, в сущности, добродушный пилот хотел, чтобы все вокруг него были теперь довольными.

— Дело общее, — сказал он, беря для чего-то Моложаева под руку. — Вашего труда тоже здесь немало вложено, — подчеркнул он, искренне веря сейчас, что так это и было на самом деле. — Сегодня я, завтра вы — всем нам на нашей земле работенки хватит! А небо-то у нас, — кивнул он на крышу ангара, — вон какое просторное!

Хлынов благоприятельски подергал собеседника за рукав и заглянул ему в лицо. Он встретил обращенные внутрь, пустые и ровно ничего не выражающие глаза. Под пустым и холодно-вежливым взглядом как-то само собой увяла его, не родившаяся еще, как следует, улыбка, и пилот все с тем же ощущением неловкости поспешил от Моложаева отойти.

Он позвонил, воспользовавшись ангарным телефоном, в клинику, чтобы справиться о жене. Положение ее все-таки немножко тревожило.

— Сегодня в ночь, надо полагать, начнутся, — услышал он успокоительный ответ, — или, самое позднее, завтра днем. Можете не беспокоиться, товарищ! Жена ваша с делом справится.

Волнение, колыхнувшееся в нем при этом известии, оказалось все-таки сильнее, чем он ожидал. Так странно было, что оба важные события его жизни, — и полет, и роды жены, — почти совпадали.

Доходил уже двенадцатый час ночи.

Давно уже были завинчены последние гайки и стянуты последние крепления, но Сажин и Хлынов все еще не уходили от аппарата. В начале первого в ангар, прямо с совещания промышленников, нагрянул Ратнер и, узрев стратонавтов, изобразил всем своим видом крайнее удивление.

— Спать, спать, спать, мои дорогие! Живо! — приказал он. — Вы-то что на них смотрите? — обратился он к доктору Решетову. — Гоните их спать! Без вас все, милые, делают, без вас! Завтра к восьми вам надо быть свеженькими, как огурчики!

Он бурно размахивал руками, и на лице его цвела такая сердитая озабоченность, что противиться было невозможно.

— Я сам, сам тут послежу! — говорил он. — Отправляйтесь!

И, заметив тайное сияние, которое светилось в глазах Хлынова:

— Ну, рад, рад! Вижу, что рад! Только спать-то все-таки пора!

Он прощался со стратонавтами и желал им доброй ночи. Затягивая рукопожатие, он говорил этим промедлением больше, чем словами. Хлынов все-таки счел необходимым отрапортовать председателю ЦС о готовности к полету и умолк не раньше, чем сошли с его языка все вкусные подробности сегодняшнего дня.

Впрочем, совесть его была не вполне чиста, и, рапортуя, он все поглядывал да поглядывал на вход в ангар.

К его удовольствию (ну, и дьявольски же ему сегодня везло!) он не успел еще закончить рапорта, как в воротах ангара показалась не крупная фигура Марка, а за нею и двое молодых парней с ношей.

— Ну как? Готово? — спросил пилот физика со всей начальственной суровостью, на какую был способен.

И розовый от холода и ходьбы, Марк громко, как на ученьи, прокричал:

— Именно так, товарищ, командир. Готово!

II

Все эти дни Марк жил в тревогах и опасениях. Еще вчера он установил приборы в кабине ракетоплана. К счастью, сегодня ему удалось, наконец, вырвать с завода недостающие приспособления. Весь вечер он возился над камерой в институтской лаборатории и, несмотря на многочисленные звонки Анны, никак не мог к ней заехать. В конце концов, девушка, потеряв терпение, поехала в институт.

Немного смущенная невниманием, она сидела на белом лабораторном табурете, поджав под него ноги, и следила за носившимся по комнате приятелем. Усадив ее здесь, он поминутно выбегал в соседнее помещение к помогавшим ему людям. В решительных его движениях и в повелительных интонациях голоса сквозило что-то, раньше Анной неизвестное. На подвижное это тело, священнодействовавшее среди непонятных вещей и аппаратуры, Анна смотрела сейчас с суеверным уважением. Ей почему-то было приятно открыть в Марке такое деловитое неистовство, и она с удовольствием прислушивалась к отрывистым его замечаниям и властным окликам.

— Ну, ну, ну! — предостерегающе покрикивал он. — Осторожнее! Хруст! Нельзя за эту сторону браться. Поворачивайте влево! Вот так, так!

Камера была смонтирована. Ассистенты Марка из его институтских сотрудников уже расходились по домам. Только Генька и Хруст, с которыми у него после памятной встречи установились добрососедские отношения, задержались, чтобы помочь упаковать прибор и отвезти его на аэродром. Вскоре они ушли из лаборатории вызывать машину, и Марк с Анной остались наедине.

Физик, наконец, нашел досуг заговорить.

— Вы меня извините, Анна! Видите, какая у нас тут спешка! Только сегодня, в четыре часа, сукины дети, прислали заказ! Хоть без камеры отправляйся!.. Теперь мы можем с вами немножко поболтать!

Видимо, еще не остыв от возбуждения, он посмотрел на Анну почти сурово. Одета в пестрое шелковое платье, она прорастала среди лабораторного чернозема, как розовый куст на пашне. Она улыбалась приятно и медленно говорила:

— Ну, вот видите, Марк, как верна моя дружба! Вы и обещались ко мне заехать, но не заехали. А я и не давала слова, а все-таки решила вас навестить.

— Да, но вы же знаете, какое у нас сейчас время? Ни спать, ни есть некогда! Я не потому, что не хотел...

Как бы запрещая Марку оправдываться, Анна с веселым негодованием замахала на него руками.

— Знаю, знаю! Не увертывайтесь! Вы совсем не способны, как я вижу, жертвовать чем-нибудь ради дружбы. И отсюда недалеко до вывода, что дружба эта не очень вам дорога.

Марк поднял брови, удивляясь, что от него так усердно требуют извинения.

— Отнюдь нет, — сказал он тоном искреннего недоумения. — Отсюда следует только, что дело, которое меня держит, чрезвычайно важно. Вы же понимаете, что нам завтра предстоит?

Анна с комическим сокрушением покачала головой и шумно вздохнула.

— Понимаю, Марк. Очень понимаю... А все-таки жаль, что вы не нашли для меня хоть минутку. Ну, хоть вот такую, малюсенькую!

В словах ее, кроме обычной шутливости, звучало и нечто серьезное. Марк счел нужным подойти к Анне поближе.

— Ну, если это вы от самолюбия обижаетесь, — добродушно проговорил он, — так бросьте. Пустяки это! Обижать вас мне и в голову не приходило. Если же вы...

Марк запнулся здесь и густо покраснел, словно встретился с неудобным для произношения словом.

— Если же вы в самом деле... хорошо ко мне относитесь, так мы и тут прекрасно поговорим. Давайтека вот сядем рядом.

Через минуту Анна сидела рядом с Марком на лабораторном столе и, покачивая недостающей до пола ногой, слушала взволнованное бормотание физика.

— Вы понимаете, Анна, какой для меня час настал? Вам, по беспартийности вашей души, я полагаю, что и вообразить трудно! Завтра ведь мы будем там, где не бывало еще ни одно живое существо. Я надеюсь со своими приборами собрать кое-какой материал о космическом излучении. А знаете ли вы, что это для нас значит?

Марк помолчал, обратив лицо к темной глубине, что зияла перед собеседниками за лабораторным окном.

— Я счастлив, Анна, не стыдясь это говорю! Я счастлив, что завтра смогу сделать для партии и народа хоть сотую долю того, о чем думаю. Ведь лучи эти, что летят к нам из неведомых пространств, несут с собой, быть может, разгадку атомного разложения. Мы первые должны постичь ее, чтобы не дать нашему врагу ни одного шанса на превосходство. Мы — наследники правды и справедливости этого мира, и нам по праву должны принадлежать все его богатства, Вы представляете себе, что такое атомная энергия?

Марк вопрошал Анну докторальным тоном наставника, и девушка с почтительным вниманием смотрела ему в рот.

— Тонны угля при обычном использовании едва хватит для часового маршрута какого-нибудь товарного поезда. Если же употребить всю атомную энергию этой тонны, то ее достанет для отопления, освещения и производства всякой работы во всей нашей стране в течение больше полувека. Разве это не фантастика, Анна? Но эта фантастика, по выражению одного трезвого человека, «занимает место среди реально осуществимых задач». Не один, конечно, я: целое поколение советских физиков приблизит решение этой задачи. Но я, Анна, счастлив уже тем, что вложу в дело свою малую долю! Сегодня мне как-то особенно приятно сознавать, что я живу в стране, где творческой энергии человека открыта широкая дорога. Сегодня у меня праздник, и я влюблен во все: в людей, в вещи, в мир.

— Он не так-то уже радостен, этот мир,— тихо сказала Анна, и Марк даже за руку ее схватил, точно упрасывая помолчать.

— Он не вполне здоров и зрел, этот мир, — торопливо продолжал он, — но вот поэтому мы и не хотим быть простыми зрителями его несчастий! Мы хотим лечить его не моралистической ворожкой, а действительной работой. Это вот только такие, как вы, отделяются от жизни с помощью удачных каламбуров. Мы хотим сделать мир на самом деле счастливым! Сегодня или завтра, но мы выкорчем с полей нашей родины все враждебные пни, и земля будет дважды давать урожай даже там, где не росли и плевелы. Это ведь не бог вещь такая заслуга — изрекать время от времени горькие сентенции или глумиться над усилиями отважных людей! С вашим умом и вкусом, Анна, нужно остерегаться такой позиции.

— Да, но вы, кажется, немножко клеветеете на меня... Наличие раздумья еще не означает вражды.

— Дело не в раздумьи. Дело в том, что многочисленные оговорки, которыми иные люди защищают себя от действительности, есть свидетельство скрытого противления!

— Но нельзя же, Марк, не думать, или думать всем одинаково.

— Надо честно думать! — сказал Марк.

Анна подняла голову и внимательно посмотрела на своего собеседника.

— Вы сегодня какой-то странный, Марк! Зачем вы меня обижаете? Это как-то совсем не вяжется с вашим оптимизмом.

Она спрыгнула со стола и отошла к окну.

— Я вот приехала к вам, — с усилием выговорила она, — думала, вы будете рады. А вы... кричите.

Марк, улыбаясь, встал позади Анны. Отвернувшись от него, девушка пальцем чертила по стеклу нервные зигзаги.

— Вы меня не поняли, Анна! — мягко произнес физик. — Не сердитесь на меня.

Он взял ее за руку и попытался повернуть к себе лицом.

— Горячность моя понятна. Ведь досадно, что видишь иногда около себя людей способных, но словно дымом подернутых, смутных и неопределенных! Я глубоко убежден, что в крови вашей содержится тот процент советского кислорода, который предохраняет от всякого удара. Но вот в голове вашей... все еще встречаются какие-то крючочки да зазубринки. Они мешают ясности мысли и обрекают на бездействие. Я давно это хотел вам сказать. Ведь и нам доводится думать и сомневаться. Но мы не сомневаемся в самом главном и важном, и потому это не мешает нам двигать жизнь. Нельзя, Анна, жить, улыбаясь и вправо и влево. Торопитесь, Анна, привести свое душевное хозяйство в порядок. Бойтесь увеличить собой толпу тех равнодушных умников, которых жизнь давно одурачивает за недостаток смелости и увлечения!

Анна повернулась к Марку и сказала:

— Я не хочу быть равнодушной, Марк! И я, надеюсь, когда вы вернетесь, представить тому верные доказательства.

Она еще что-то хотела прибавить, но в это время стукнула дверь, и в лабораторию просунулась взлохмаченная голова Хруста.

— Едем, Марк Андреевич! — вдохновенно прокричал он. — Машина готова!

Слышно было, как ребята потащили драгоценную свою кладь, подбадривая друг друга шумными возгласами.

Наступило молчание.

Марк спешно укладывал в портфель оставшиеся припасы, Анна с деланным любопытством разглядывала какой-то стеклянный шар, утверждаемый на деревянном штативе.

— Ну вот, кажется, и все, — с некоторым сомнением в голосе произнес, наконец, Марк, застегивая портфель.

Он бросил на Анну короткий взыскующий взгляд, словно именно она и должна была знать, все ли им сделано.

— Вы, конечно, завтра на старте будете?

— Да, конечно.

Марк шагнул к Анне и протянул руку.

— Ну, не поминайте лихом! — решительно заключил он.— И не сердитесь понапрасну! Вскоре, надо полагать, мы свидимся в более благоприятной обстановке и дотолкуем обо всем до конца.

Рука девушки, лежавшая в его ладони, чуть-чуть дрожала. Едва ощутимое это дрожание приводило Марка в замешательство. Все еще медля и выжидая, он держал в своей руке прохладные пальцы Анны. Ему казалось, что он не сообщил ей чего-то очень важного, о чем никак не мог вспомнить.

Поэтому он и не удивился, когда девушка, словно угадывая его мысли, тихонечко спросила:

— Ну, а сейчас, Марк... сейчас вы мне ничего не скажете?

Голос ее звучал робко и просительно. Она совсем не походила сегодня на ту Анну, насмешливую и самоуверенную, какой ее Марк всегда знал. Она смотрела куда-то в сторону. Румянец на ее щеках был чрезмерно горяч и ярок. Заражаясь этой же самой, неведомо откуда нахлынувшей робостью, Марк только еще крепче пожал ей руку.

— Мне многое еще надо вам сказать,— поспешно выговорил он,— но мы отложим это, Анна, до после полета...

Девушка сделала какое-то странное, обеспокоившее Марка движение.

— Но ведь это не шутка, — сказала она, дрогнув, — это не шутка — забраться на высоту в тридцать пять километров! Помните, что о вас думают и что ваша судьба не безразлична кое-кому, Марк!

И снова следовало то же самое незавершенное движение, будто Анна хотела, но не решалась протянуть Марку обе руки.

Замешательство было так велико, что они оба обрадовались, услышав новый зов Хруста. Выбравшись из лаборатории, они молча пошли по институтскому коридору.

Ребята не даром торопили Марка. Как и все участники аврала, они не хотели пятнать своей чести. Шел уже двенадцатый час ночи, и аппарат нужно было доставить на аэродром как можно быстрее.

Ночью Сажин проснулся. В просторной комнате аэроклуба, отведенной для ночлега стратонавтам, горела синяя ночная лампа и слышалось дыхание людей. В голубом сумраке мирно белело на койках постельное белье да тлел на столе огромный букет цветов. Водруженная тут еще с вечера чьей-то заботливой рукой целая шапка розового пламени источала чуть слышный аромат.

Соседи Сажина, видимо, крепко спали. Свернувшись в клубок и подогнув под себя ноги, приткнулся к подушке Марк. Одеяло почти сползло с него и лежало большей своей частью на полу. Сонное похлупывание, слетавшее с полураскрытых марковых губ, было мальчишески сладким и безмятежным. Хлынов, по обычаю, храпел и разделявал носом такие сложные арии, какие иному музыканту не произвести и на флейте. Он еще с вечера, устраиваясь на своем ложе, так судорожно зевал, что сразу было видно: человек нагулял добрый сон, и будет спать, как убитый.

Сажин тихонечко встал и, поправил на Марке одеяло. Дьявольски хотелось курить. Наскоро одевшись и накинув на плечи меховое свое пальто, инженер вышел через смежный зал на кровлю аэроклуба, чтобы уж кстати проведать и о погоде.

С кровли, представлявшей собой нечто вроде огромного балкона, был виден почти весь аэродром. Туман, как было предсказано метеорологами, значительно поредел, и сквозь морозную дымку уже мерцали над головой звезды. Внизу, на аэродроме, все еще шла непрерывная суетня. Блистали, ощупывая землю, слепящие лезвия прожекторов. Передвигались в полосе света маленькие человеческие фигурки. А над кругом стартовой площадки все еще росла и лезла к небу гигантская масса стратостата, теперь подобная исполинскому грибу.

Все, стало быть, обстояло благополучно. Служба погоды не подвела на этот раз. Жадно затягиваясь папиросой, Сажин закинул голову и посмотрел в мерцающую над ним высь.

Роящаяся бездна дрожала над его головой. Как ковш, повешенный на край небесного чана, висело созвездие Большой Медведицы. Ровно сверкала голубая Вега. Знакомые очертания Персея и Кассиопеи указывали на расположение неясно видимого сейчас Млечного пути. Перед лицом этой звездной панорамы Сажина охватывало привычное чувство торжественности и грусти. Он блуждал взглядом по мерцающей сфере и в тысячный раз дивился непостижимой ее глубине. Миллиарды миров блистали в темной синеве, поражая его ум диковинностью своего устройства.

Здесь мелкими становились все земные масштабы. Чудовищные числа вмещал в себе звездный хаос. Одна только галактическая система заключала 180 миллиардов солнечных масс. Даже современный студийный рефлектор мог уловить и сделать зримыми полтора миллиарда звезд. Ближайшая из внегалактических туманностей лежала на удалении 850000 световых лет.

Это были цифры, реальное значение которых было почти недоступно для ума. Это были только символы мироздания, поражавшие мозг таинственным своим смыслом. Сажин, как и полагалось всякому живому человеку, кроме того представления о космосе, которое было внушено ему астрономической наукой, имел и свой собственный кустарный образ мира, употреблявшийся, так сказать, для личных надобностей. Вселенная уже издавна представлялась ему чем-то вроде круглого мешка, в котором пространство и время стягивали, как клей, песчинки миров.

Он видел перед собой воочию то выдуманное кривое пространство, где современные физики помещали весь мыслимый мир. Был ли это цилиндрический мир Эйнштейна, плотно набитый материей и тесный настолько, что световые лучи, obeжав его, загибались на самих себя? Или это был разреженный и неуютный мир де-Ситтера, в котором звездные системы панически разбегались друг от друга в холодную зияющую пустоту? Или он менялся, как утверждал Леметр, и переходил от жилой тесноты к мертвенному разрежению?

Во всяком случае, он был обманчив и лукав, этот мерцающий в морозной дымке хаос. Вот в эту самую минуту в нем рождались, быть может, новые миры и солнца, но первый световой луч, знаменующий их рождение, мог долететь до земли только через многие тысячи лет. Вот эти яркие сочные звезды, так неколебимо блиставшие в синеве, быть может, давно уже были разрушены неведомой мировой катастрофой. Последний их луч еще миллионы лет мог нестись к человеку, так и не подозревавшему, что от звезды остался только призрак. И даже то, что бесспорно существовало, могло являться здесь глазу в удвоенном и даже в утроенном виде.

Сажин вспомнил серьезные астрономические предположения, что две слабые туманности *h 3433* и *M 83*, видимые в одной стороне неба, могли оказаться в то же время ближайшими к нам туманностями *M 33* и *M 3*, видимыми в стороне другой. Круглым путем, обогнув все кривое пространство вселенной, свет этих туманностей, если прав Эйнштейн, мог снова попасть в людские телескопы, и астрономы дважды видели бы на небе один и тот же предмет. Сферическое пространство, в котором совершались все превращения, имело, по Хебблю, радиус в 84 миллиарда световых лет. Чтобы обежать его по кругу, световому лучу, мчащемуся со скоростью 300 000 километров в секунду, понадобилось бы 500 миллиардов лет.

Сажин грустно улыбнулся, вдруг сопоставив тот крохотный мир, где он двигался и дышал, с развернутой вокруг него звездной пастью. Какой ничтожной пылинкой была здесь земля, населенная дерзкими карликами, мечтающими наложить руку на космос! Он глянул вниз, на тесный и темный аэродром, на бледные огни спящего за ним города, и его пронзило чисто физическое ощущение собственной мизерности и одиночества. И что мог сделать, в конце концов, какой-то жалкий клочок пытающейся мыслить материи, называемой Сажиним, когда он совершал сейчас вместе с галактикой невероятно огромный и не подвластный ему круг бытия?!

Не то от этой мысли, не то от холода инженер зябко поежился и плотнее закутался в лохматое свое пальто.

Оно дрожало над ним, точно колеблемое ветром, и, казалось, звенело, это чугунное непроницаемое небо с миллиардами сверкающих заклепок. Сажин понимал сейчас, почему библейское слово *gokia* (твердь) означало в то же время и железо. Недаром же в средние века метеориты считались обломками небесного свода. Это кованое небо походило на решетку тюрьмы, за которую, быть может, не суждено никому выйти.

Да и что можно было ожидать там, за этой решеткой, где висела косная масса бесчисленных миров, состоящая из плотнейших видов материи или клубов раскаленного газа? Быть может, этот глухой мешок вселенной был безжизненен и необитаем, как выжженный пламенем горн. Сажин всегда ощущал в звездные ночи вот это горьковатое чувство беспричинного тоскования, какое овладевало им сейчас. Среди этих блистающих множеств ему было почти страшно человеческого своего одиночества и затерянности. Но он, как и всегда, отнюдь не спешил уходить. Его влекла эта бездна, как влек когда-то первых мореплавателей океанский простор, за которым скрывались неведомые, но подобные люди и земли.

Желая устроиться поудобнее, инженер сел на какое-то возвышение кровли. В эту минуту на плечо его легла чья-то рука, и он увидел в темноте огонек зажатой папиросы.

— Ох, уж эта мне привычка курить по ночам! — произнес сердитый голос. — Ведь вот тоже и я: спал как мертвый, а пришло время — проснулся! Ты что тут сидишь, оракул? Температурой любишься или звезды считаешь? Кто спать-то за тебя будет?

Хлынов ворчал и, казалось, был в самом деле недоволен, но лицо его, освещаемое вспышками папиросы, добродушно улыбалось. Чуть-чуть смущенный, Сажин счел нужным оправдаться.

— Да я тоже вот покурить вышел.

Пилот рассмеялся, учтя резонность замечания, и сел на возвышение рядом с инженером.

— Ну, ну! — сказал он, добрея. — О чем думаешь-то, планетный путешественник? Или ты и тут наяву сны видишь?

Сажин немножко помолчал.

— Пожалуй, если хочешь, я в самом деле вижу сны, — ответил он потом, — только не очень веселые. Ведь вон он какой, мир-то! — кивнул он в небо. — Как подумаешь о нем, как следует, так и грустно станет.

— Но это через почему же? — насмешливо спросил Хлынов. — Мир, он, кажется, ничего себе, уютный мир и, пожалуй, даже симпатичный. Если счет от Октября вести, так мы, думается, начинаем себя в нем чувствовать вполне прилично!

Сажин повернулся к приятелю, и ему показалось, что он даже в темноте видит его снисходительную усмешку.

— Мир велик и богат, — тихо пояснил он, — да человек-то вот слаб и ничтожен. Мир — это миллиарды тел, пространств и нераскрытых загадок, а человек — это только несколько килограммов не очень прочных костей и мяса. Человек очень легко умирает. Вот что, Матвей, плохо.

Хлынов посасывал зажатую в кулак папиросу. По всей вероятности, он уже не улыбался, а думал.

— Эх, ты, гидальго с Кирочной! — проговорил он после паузы тоном ласкового укора. — И всегда-то ты либо недолет, либо перелет в своих мыслях делаешь. Ты думаешь, один над человеческой судьбой убиваешься?

Пилот придвинулся к Сажину ближе и обнял его одной рукой за плечи.

— Когда такое припрет, так каждый человек, если в нем душа есть, голову над этим ломает. И знаешь, мой милый!.. Я тебе сознаюсь... Тут я себе собственноручную теорию сочинил.

Он опять помолчал, точно из уважения к предмету, о котором шел разговор.

— Помнишь, как мы своих товарищей, со стратостатом-то погибших, на Красной площади хоронили? Ведь я знал их всех живых, разговорчивых, умных! Думаешь, легко было мне согласиться, что вот был человек, двигался, мыслил, дышал и множество самых чудесных вещей производил, и что вот нет теперь этого производителя чудес, а есть только грудка пепла, прах, зола.

Хлынов шмыгнул носом и издал какой-то странный звук, похожий на стон или кряхтение.

— Вот и решил я тогда, что жив не буду, но то, что они начали, стану двигать дальше... И разве наш с тобой аппарат не факт? И разве завтра не предстоит нам, хоть немножко, но двинуться дальше?.. Смертен, дорогой Федя, один человек, но зато бессмертны мы все, вместе взятые, решившие изгнать от себя и смерть, и уничтожение. Мир широк и упрям перед нами, но мы прибираем его постепенно к рукам. Был человек в начале, потом род, нация, государство, потом Союз республик, ну а затем уж, само собой, и Мировая советская! И мы знаем, конечно, чего это стоит!.. Он стремится стереть нас в порошок, этот, как ты его называешь, голый поток бытия. Вселенная полна руин и обломков. Меркнут и загораются миры, рождаются и умирают планеты. Тучи астероидов и космической пыли носятся в пустом пространстве, вопя о неудавшихся жизнях. Астрономы и романисты пугают нас бесславной кончивой, которая должна настигнуть людей на холодной опустошенной земле в красном свете гаснущего солнца... Но мы живые: мы не хотим умирать. Тысячи добровольных смельчаков каждодневно отражают натиск слепых вещей и случайностей! И если не делить, как прежде, Я и Мы, — то все обстоит не так уже страшно. Смертен, Федор, человек, но бессмертно человечество. Оно возникает уже, это Человечество с большой буквы, в нашей стране, где стираются между людьми все перегородки и уничтожаются классы. Мы имеем теперь право говорить от имени Всех. Мы копим запасы ума, знаний и бешеной смелости, чтобы кинуть их навстречу любой опасности и катастрофе. Ведь мы молоды, Федор, дьяволь-

ски еще молоды. Каких-нибудь семь-восемь тысячелетий насчитывает сознательная жизнь людей. А в запасе у нас, даже по самым скромным вычислениям, еще не один миллион лет, Мы и за двадцать лет сдвинули жизнь с мертвых ее причалов, а в эту-то уйму времени и подавно заставим ее плясать по нашей дудке, Техника уже сейчас стоит почти на пороге во вселенную, а через сотню лет путешествие между землей и Марсом будет, быть может, удивлять не больше, чем перелет через Ламанш. И ты пойми, печальник мой милый! Нужно отказаться от прежней религии индивидуализма и перестать считать свой личный чахлый мирок средоточием всех ценностей. И если наш Союз представляет собой невиданную еще историей силу, то мировая республика будет творить чудеса. А когда она состарится и одряхлеет, родная наша Земля, мы займем и возделаем ближайший к нам мир, что растет и почкуется пока в черноте нашей неисследованной вселенной...

Они сидели бок-о-бок и разговаривали, двое этих людей, которым следовало бы спать. Туман все редел и редел, и небо над их головами блистало все отчетливее и ярче. На стартовой площадке продолжалось шевеление, слышались команда и возгласы людей. Сажин с удовольствием вбирал в себя свежий воздух и слушал Хлынова молча.

Он должен был, конечно, настать, такой момент! Это должно было случиться не сегодня, не завтра и даже, может быть, вообще не при их жизни, но человек когда-нибудь проникнет в эту роящуюся глубь!

Полет, вероятно, будет дан ночью. Такие же люди будут стоять на кровле первого космического порта и обсуждать маршрут предстоящего путешествия. Вот так же, как сейчас, будут сверкать в синеве звезды. В пространстве неведомого ракетодрома рассыплются огни гигантских прожекторов. Сотни рефлекторов нацелятся в небо. Население города не будет спать, ожидая старта. Снарядоподобный прибор некоторое время мирно полежит в объятиях направляющей станины, похожей на ферму исполинского моста, потом толпы собравшихся всюду людей замрут в напряжении, и в

какую-то минуту услышат грозный грохот ракетного мотора. Над городом пронесется невиданный болид, направленный в звездные дебри. Нечто кометообразное мелькнет над железобетонными крышами и, помигав на прощанье сигнальным огнем, исчезнет в пустоте.



Сажин слушал Хлынова, не вполне отделяя свои мысли от его слов. Ему приятно было, что приятель говорил смелым языком завоевателя, но то тихое, скупящее чувство, которое возникло в нем раньше, все еще продолжало свою работу.

— Так-то вот, милый! — говорил откуда-то из ночи голос Хлынова. — Ради этого и скрипим! Да, полагаю, ради этого и всякому поскрипеть не зазорно!

Он закурил новую папироску и, подобно соседу, задумался.

— Жаль только, — медленно выговорил Сажин, — что мы с тобой, Матвей, будем, вероятно, тогда лежать в земле, и от наших костей, может, не останется даже пыли.

— Зато в тех, кто будет жить и топтать землю, сохранится смелость мысли и дел!.. Я вижу, ты что-то все ловчишься, все какую-то скидочку для себя выторговать хочешь! Жизнь и смерть надо принимать, милый Федя, такими, каковы они есть.

— Но мы живем в далеко не законченном мире, Матвей! возразил инженер. — Мы только остров в океане вражды, подлости и убийств! Привычки жизни очень косны, к несчастью, и кто знает, не потопит ли нас этот древний океан?..

Хлынов неожиданно для своего собеседника расхохотался.

— Это знаем мы, Федор! — воскликнул он. — И мы не станем отделяться от жизни, как это склонен делать ты, незнанием или сомнением в своих силах. Грезы о будущем не мешают нам думать о настоящем. Мы видим, как скалят на нас зубы и с Востока, и с Запада, и мы давно уже позаботились о существующих зубоврачебных инструментах. Тучи желтой саранчи давно уже грозят налететь на наши поля, чтобы пожрать на корню урожай нашего счастья. Но мы живем и работаем так, чтобы никто не мог повредить нашему росту.

Он вскочил, видимо, взволнованный и разгоряченный, и схватил Сагина за плечо.

— Мы делаем мирное дело, — продолжал он, — и не заримся на чужое добро. Мы впервые вводим порядок, при котором человеку не нужно воевать со своим соседом и братом. Наши фабрики и заводы работают для того, чтобы жить было приятнее и легче. Наши машины возделывают землю, самолеты опыляют поля, дирижабли развозят почту

и грузы. Наука у нас творит те ценности, которые делают людей сильнее в борьбе со стихиями и природой. Но если враг поднимется на нас и встанет у наших границ — трактористы обернутся танкистами, мирные рекордсмены — пилотами грозных кораблей, а ученые сменят лабораторные халаты на форму военспецов. Вот тогда-то, мой милый, может пригодиться и наш с тобой ракетоплан. Мы его успеем к тому часу малость усовершенствовать, конечно! Мы полетим над рубежами нашей земли всех выше и всех быстрее и, если надо, прольем на врагов огненный дождь, который будет для них страшнее стрел их лукавого бога!.. И гады должны будут или уползти, или погибнуть!

Хлынов говорил с необычным для него пафосом и восторгом. Мысли рождались в нем бурно, как электрический разряд. Видно, исключительность этой ночи, предшествовавшей важному делу, проняла пилота до самой сердцевины.

— Я завидую тебе, Матвей,— сказал инженер — твоей ясной вере в жизнь и в свои силы...

— Эта вера не заказана и для тебя, — усмехнулся Хлынов. — Напрасно ты на себя напяливаешь этот заношенный фрак скептицизма. Я ведь тебя знаю, мой милый!.. Ты не от неверия колобродишь! Ум-то у тебя с кривинкой, да сердцето правильное, советское! Оттого ты хоть и ворчишь, а идешь-то все-таки с нами. Это у тебя пройдет. Это — как корь, у одних дольше, у других короче, но подержится-подержится, да и пройдет!

Вместо ответа Сажин медленно пожал Хлынову руку.

— Может быть, ты и прав, — произнес он совсем тихо. — Я очень тебе благодарен, что ты меня, как иные, огулом не судишь!

— Но зато плохо вот, что я спать тебя не гоню! — засмеялся Хлынов. — Завтра ведь нам в восемь на ногах надо быть. Пойдем-ка, дорогой, а то мы тут с тобой до утра проболтаем!

И он поднял приятеля за руку с каменного их сиденья и тихонько подтолкнул в спину.

IV

В семь часов утра стратонавты были разбужены неунывающим баском Решетова. Доктор явился, чтобы произвести положенный правилами осмотр, а кстати уж и помочь в последних сборах.

— Вставай, сонная команда, поднимайся! — весело кричал он, расталкивая спящих. — А то смотрите: упорхнет ваша птичка без хозяев! Ну, живо! Двигайся, давай! Действуй!

Он бегал по комнате, стаскивая со стратонавтов одеяла, и все бубнил и бубнил, словно считал своей обязанностью не давать никому вымолвить слова.

Впрочем, к благодушному его жужжанью и необидной бесцеремонности и Хлынов, и Сажин, и Марк давно уже привыкли, потому что жизнерадостный этот мешок с костями был не только их лекарем, но и приятелем.

Погромыхивая длинными своими конечностями, Решетов хлопотал о завтраке, проверял продовольственный запас, предназначенный в полет, и оберегал помещение от начинавшихся вторжений.

— После, после, после! — махал он на кого-то руками, недвусмысленно загораживая дверь. — Дайте людям поесть и одеться! Через двадцать минут все будут на площадке!

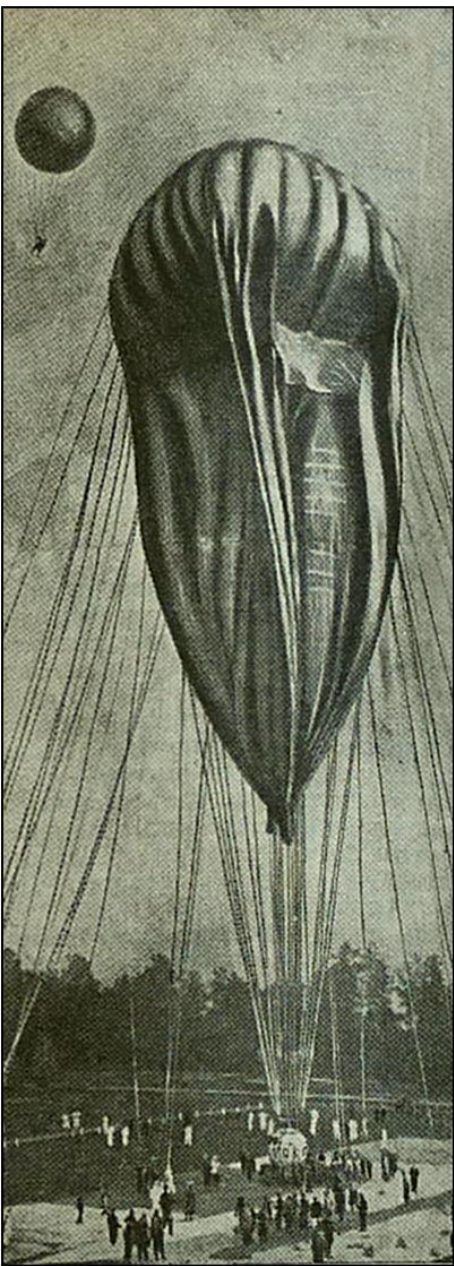
И на вопросительный взгляд Хлынова:

— Ничего существенного. Это корреспонденты. За последним интервью охотятся. Подождут!

Он спешил рассказать, как употребляются бульонные кубики и в каком термосе будет находиться горячее молоко, а в каком — какао. От сухого его тела исходили потоки тепла и благоволения. Он наполнял пространство грохотом и суетой, в одном себе совмещая целую толпу людей. И кто знает, исчезни из комнаты эта шумная фигура, утро, быть может, казалось бы менее бодрым,

В начале девятого стратонавты появились на аэродроме.

Одетые в специальные комбинезоны и шлемы, они быстро направились к месту старта. Стайка щебечущих



корреспондентов бойко вилась вокруг них, выдергивая по зернышку скупые ответы. Стегляеющий морозец почти уже сменился мягкой прохладой рассвета. Утро прошло безоблачным и тихим, и небо разве только у самого горизонта было припудрено легкой дымкой.

Подготовка к старту была закончена, сооружение — заполнено газом и взвешено. Алюминированная груша стратостата с привешенным к ней ракетопланом возвышалась теперь на фоне неба, точно гигантский восклицательный знак. Стартовая команда располагалась двумя кругами, у аппарата и у поясных. Сдерживаемая канатами оболочка легонечко покачивалась, изобличая движение незаметного внизу ветра. К оболочке липло несколько шаров-прыгунов. Прикрепленные к ним люди в последний раз проверяли целостность материи. Было похоже, что чудовищный этот баллон, окруженный крохотными шариками, целовался на прощанье со своим многочисленным потомством, цепеневшим от уважения к пышному размеру.

Вокруг стартовой площадки образовалось кольцо зрителей и провожающих. По мере того, как стратонавты приближались к нему, им все слышнее и слышнее становился многоголосый приветственный гомон. И не успели они войти в это живое кольцо, как их окружили люди.

Десятки рук тянулись к ним, ощупывали их, подталкивали и почти несли. Сажин внезапно очутился среди толпы рабочих, строивших ракетоплан. Не раз встречавшиеся в цехах лица смеялись, кричали и улыбались ему навстречу.

— Ну, не подгадь теперь, товарищ Сажин! — возглашал чей-то горячий тенорок. — Вместе строили, вместе и ответ держим!

— Передайте там привет поднебесью-то! — шутил кто-то сзади. — Скажите, что ЦИВТ наш еще скоро «птичку» пришлет!

Прямо на Сажина надвинулась чья-то пышущая жаром туша. Он увидел красный каленый лик, дремучие чьи-то усики, но прежде чем сообразил дело, оказался в объятиях Балабана,

— Желаю успеха, Федор Петрович! — жарко шепнул мастер в ухо инженера. — Думаю, сварка моя не подведет. Меня, старика, попомните там. Хоть и остаюсь, но душой с вами лечу!

Сажин пробормотал в ответ что-то не очень вразумительное, и, словно это было давно решенным, вдруг ткнулся губами в мокрые усы Балабана. Рядом люди тискали Хлынова и Марка, и инженеру слышны были их взволнованные голоса. Он окинул взглядом шумящую вокруг толпу и почувствовал в горле странную щекотку. Что-то вроде смущения испытывал он сейчас, как будто его уличили в неблагоприятном проступке.

Нет, чорт побери! Они далеко не одиноки в этой стране, где каждый человек заинтересован в общем деле. Нет, не напрасны здесь умные грезы и не сумасшедши смелые желания. Ни один удар рейсфедера и ни одна найденная форма не может пропасть там, где созидают все!

Сквозь сеть протянутых рук и благожелательных возгласов Сажин пробрался, наконец, в середину круга, и мог теперь, стоя на просторной площадке, обозреть все людское множество. Резинщики, сварщики, слесаря, пилоты, инженеры, ученые — все они обступали место старта с заинтересованностью прямых участников. В приветственном шуме и в обращенных к нему взглядах Сажин отмечал то общее возбуждение, какое охватывает единую армию перед сражением. Он глянул туда, еще дальше, за пределы аэродрома, и увидел по обочинам шоссе и на пригорках пригорода огромную и смутно шевелящуюся массу людей, ожидавшую старта. Ему вдруг стало стыдно ночных своих мыслей об одиночестве, и он, сделав озабоченную мину, быстро пошел к аппарату.

Был объявлен короткий митинг.

Над импровизированной трибуной выросли сухощавые плечи Ратнера. Он заговорил о значении полета и о бесстрашных людях смелой страны.

Потом, среди торжественного молчания поля, на помост выбрался Хлынов. Он, видимо, хотел сказать что-то очень важное и значительное. Лицо его горело, движения были быстры и нервны. Он долго медлил, прежде чем начать говорить, и, так и не подыскав достойного выражения тому, что чувствовал, ограничился в конце концов немногими отрывистыми фразами. Впрочем, в каком-то из его слов все-таки проскочил невысказанный его восторг, и он сошел с трибуны, сопровождаемый бурными криками одобрения.

Начальник старта распорядился очистить площадку от посторонних. Людское кольцо раздвинулось еще шире и замерло в ожидании. Вернувшийся из воздушной разведки летчик сообщил, что метеорологические условия на высоте благоприятствуют полету. Хлынов отрапортовал Ратнеру о готовности экипажа и получил приказ покинуть землю ровно в девять.

В последний раз, как полагалось летчику, он осматривал перед полетом ответственные части машины.

Огромная птица, с непонятным для большинства зрителей устройством, спокойно висела под грушей стратостата. Поблескивали фасетчатые окна кабины, похожие на глаза насекомого. Фюзеляж заканчивался сзади тупо, точно обрезанная сигара. Здесь открывалось отверстие сопла, спереди же и сбоку топорщились жабры воздушных приемников. Вот они-то и возбуждали недоумение в мозгах непосвященных, потому что никакой конструктор не допустил бы в обыкновенном самолете такого нарушения обтекаемости.

Обходя ракетоплан, Хлынов постукивал ладонью по элеронам, пробовал толчками устойчивость оперения и заглядывал в герметические сальники, откуда выходили тросы управления. Все его манипуляции постороннему человеку могли показаться бесцельными, словно он, только играя, пошлепывал свое детище по спине и по плечам. На самом же деле форма, звук и упругость материала, к которому он прикасался, рассказывали ему о состоянии всего организма.

Все было в порядке.

Крылатая «птичка», сваренная из добротного сверхлегкого металла, поражала глаз цельностью своих линий. Только кабина была сделана в виде отдельной конструкции, вложенной в переднюю часть фюзеляжа. Для сохранения полной герметичности она не должна была подвергаться нагрузкам при работе мотора. Напоминавшая легкостью очертаний планер, машина сверкала в лучах восходившего солнца. Розовые блики ложились на гладкую ее поверхность. Вдоль фюзеляжа, с обеих сторон, тянулась красная надпись:

Рп-I СССР

Видимо, эти буквы заключали в себе немало смысла, и Хлынов, обойдя машину, прочитал их еще и еще раз. Он оглянулся туда, где в ожидании команды стояли Сажин и Марк. Встретившись со взглядом физика, пилот лукаво подмигнул ему, словно намекал на какой-то общий секрет. И тот расцвел навстречу этой непреднамеренной оглядке, улыбаясь разом и ртом, и лицом, и глазами.

Впрочем, Марк цепенел от распиравших его чувств с той самой минуты, как вступил на поле. Стоя рядом с сооружением, которое должно было унести его в голубую пустоту, он видел себя средоточием внимания. От этого ему, как и всегда, было немножко стеснительно и неловко. Да и еще, больше того, он хотел и боялся встретить взгляд той одной пары глаз, присутствие которых ощущал всем телом.

Анна находилась в окружавшей площадку толпе. Взяв под руку своего гиганта-отца, она все теснилась и теснилась к передней линии, пока не стало все хорошо видно. С теплой усмешкой глядела она на одетого в меховой комбинзон Марка, очень похожего на плюшевого Мишку из магазина детских игрушек. Ко всему, что здесь происходило, она чувствовала себя близко причастной. Какой-то военный рядом с нею выразил удивление, зачем, собственно, «аэроплан» привесили к груше, когда он мог бы летать и сам. Испытывая почти жалость к его невежеству, Анна снисходительно и терпеливо объяснила, что ракетные аппараты технически выгодны только при больших скоростях и на больших высотах, потому что в нижних слоях атмосферы вся энергия такого мотора была бы быстро потрачена на преодоление сопротивления воздуха. Она с особенным удовольствием подчеркнула, что это первый экспериментальный полет. В будущем, быть может, придумают и другие способы забрасывать ракетные машины на большую высоту («хотя бы буксировкой» — обмолвилась она с небрежностью сведущего человека), но что теперь стратостат является почти единственным таким средством.

Мера почтения, с каким пожилой военный выслушал Анну, была ей наградой и за себя и за тех, собиравшихся лететь людей.

События развивались своим чередом. В какую-то минуту разговоры в толпе притихли, и над полем прокатилась новая команда.

— У поясных! — проревел предупреждающий голос начальника старта. — Отдать поясные!

Глухой шум падающих тросов, и огромная туша стратостата слегка качнулась и немножко стронулась с места. Теперь вся система удерживалась только группой красноармейцев, стоявших у самого ракетоплана.

Неожиданно обнаружилась некая заминка.

Отвисшая рогулька аппендикса, через который должен был выходить разогревшийся газ, была затянута одной из веревок. Несмотря на усилия стоявших внизу людей, веревка не хотела освобождать добычи. Шары-прыгуны уже снизились, газ был истрачен, и, стало быть, пустяковое это препятствие грозило задержать старт.

Уже сулил Хлынов кому-то чорта, уже нервничал и без надобности кричал начальник старта, а на глаза Анны от досады и напряжения набегали слезы. Вызванная пожарная машина оказалась бесполезной, потому что никакая лестница не могла достать до запутавшегося отростка.

Чуть колыхалась чудовищная груша оболочки, готовая к полету. Люди толкались и поругивались внизу, не зная, как победить смешное, но ядовитое препятствие.

Вдруг из толпы зрителей вынырнуло чье-то юркое тельце и, переступив запретную зону, покатилося к стратостату.

— Дозвольте, товарищ командир, я слазию,— прокричал бойкий мальчишеский голос.— Мне это не впервой, я по веревке на руках доберусь!

Перед Хлыновым, чуть запыхавшись от волнения, оставился всклокоченный подросток, смахивавший на ошестившегося ежа.

— Вы не думайте, что я так... Вон хоть Марка Андреевича спросите!

Хлынов оглянулся на Марка и встретил его улыбку.

— Это наш Хруст! — сказал физик. — Помнишь, я тебе говорил о подшефных ребятах институтских... Пожалуй, он в самом деле может слазить.

Пилот с сомнением оглядел Хруста, но тот ответил таким просящим взглядом, что не хватило духу отказать. Да, кстати, другого средства и не было.

— Ну, что ж, попробуй! — не очень, впрочем, решительно, проговорил Хлынов.

Хруст рысцой подбежал к веревке и, словно прицеливаясь, прищурил один глаз.

Он качался больше чем на десятиэтажной высоте, этот предательский крючок с затянувшейся петлей. Следуя за взглядом подростка, головы зрителей заламывались вверх.

Хруст сбросил с ног сапоги и, оставшись в одних носках, полез по веревке. Красноармейцы тотчас же растянули на руках брезент, чтобы не допустить несчастья. Сотни встревоженных глаз следили за маленьким человечком, медленно подвигавшимся в высоту.

Задача была не из легких. Морозец пощипывал голые руки Хруста, и было боязно, как бы не отказались служить пальцы. Где-то на середине пути, зажав трос ногами, «пацан» подул себе в ладони и посмотрел вниз. Растянутый брезент, видимо, обидел его, и он полез дальше еще щеголеватее и быстрее. Прошлая блатная практика пришлось здесь на пользу. Ловко и быстро, как гимнаст, Хруст перехватывал канат руками, и расстояние до узла все сокращалось и сокращалось.

Он добрался, наконец, до рокового места и, бравируя, еще раз глянул на землю. Вероятно, ему доставлял удовольствие вид этой головокружительной высоты. Он крикнул что-то отрывистое и веселое, чтобы показать, что он не трусит. Он попробовал держаться одной рукой и ногами, но это оказалось невозможным. Тогда, подтянувшись к узлу, он захватил конец веревки зубами и так вот, медленно покачиваясь на тросе, распутал петлю.

Брезент, к общему удовольствию, остался безработным. Хруст быстро спустился обратно, и под шум и аплодисменты толпы попал прямо на руки Хлынова, Ратнера и Марка.

— Ну, брат, летчик из тебя самый заправский будет! — сказал пилот, опуская подростка на твердую почву. — Натура у тебя самая что ни на есть авиаторская.

А строгий председатель ЦС, волосатый, как ламповый ерш, деловито пожал ему руку и без лишних слов приказал:

— Ты к нам в Центральный совет приходи, поговорим там!

Последние приготовления и последние на ходу брошенные слова. Металлический голос начальника старта отдал очередную команду:

— Эки-паж в ка-а-бину!

Толпа провожающих замерла в безмолвии.

Стратонавты подошли к ракетоплану и по специальным стремянкам полезли к люкам. Первым скрылся в кабине Марк. За ним втиснулся в круглое отверстие Сажин. И, наконец, последним опустился в люк до половины тела Хлынов.

Резиновая груша стратостата, как будто предчувствуя минуту освобождения, заметно подалась вверх. Словно серое вулканическое облако, дрожала она над стартовым кругом. Мягко шевелились складки материи и переливался внутри газ. На длинных стропах висела крылатая птица, в которую теперь вместе с людьми вдунута была отважная и умная душа.

— О-о-тдать аппарат!

— Есть в полете!

И серая махина, точно всплывающая в воде масляная капля, ровно пошла вверх.

Тот момент, которого Хлынов ждал как самого большого счастья своей жизни, настал, наконец, и стартовая площадка, уменьшаясь в размерах, поплыла вниз.

Видно было, как задираются вверх человеческие лица. В середине круга стоял врастающий в землю Ратнер и махал рукой. Что-то жаркое вдруг ударило Хлынову в голову и пронеслось по всем закоулкам тела. Хоть этого он и не собирался делать, ладони его сами собой сложились, как рупор, вокруг рта, и, вкладывая в слова весь невыраженный пыл минуты, он крикнул в ширящееся пространство:

— Да здравствует Мировая революция!

Иных, более значительных слов он не знал, и ему неважно было, что этого возгласа, быть может, никто уже не слышал.

Итак — он уходил в пустоту, чудесный этот корабль, подвешенный к газовой груше. Гигантская серая медуза быстро всплывала в голубом водоеме неба. Было видно еще, как по тонкой и зыбкой оболочке пробегало иногда легкое волнение, подобное нервной дрожи. Чуть покачиваясь, стратостат набирал высоту и незаметно уклонялся к востоку.

Закинув голову, Анна смотрела в небо. Вокруг нее хрустел снег и тесный людской поток двигался уже к выходу. Нарастающий гул человеческого говора вливался в уши, точно шум прорванной плотины. Возгласы восторга или удивления, достигавшие до слуха Анны, были ей так же приятны, как если бы относились к ней самой. Какой-то толстяк в оленьей дохе, весь изогнувшийся назад и явно страдающий от непривычного положения тела, взволнованно сопел рядом с нею.

— Вот пошел, вот пошел! — громко бормотал он. — Ну и пошел!

Он оглянулся на Анну, ища сочувствия, и, встретив благожелательный взгляд, широко улыбнулся.

— Догнать и перегнать! — хитро подмигнул он. — Не дремлют наши пилоты!

Подвешенный к стратостату ракетоплан поворачивался под солнцем и то сверкал, словно рыба, длинными плавниками, то показывал темную спину. Стаей мальков кружились около него вылетевшие провожать самолеты.

Розовый шар, уменьшаясь в размерах, все уплывал и уплывал в высоту.

Анна заправляла под шапочку мешавшую ей прядь и никак не могла с ней справиться. И земля и люди — все исчезло из ее глаз, кроме этого шара. Она не заметила, сколько времени прошло с начала полета, но колкий холодок уже чувствительно пощипывал ее ноги.

Стайка самолетов начинала от стратостата отставать.

— Ты идешь? — проговорил над ухом Анны низкий басок отца. — Замерзла, наверно?

— Нет, нет! — сказала девушка поспешно.

Ей не хотелось говорить, и она предпочитала сейчас быть одной. Толпа на аэродроме уже значительно поредела и потянулась к выходу. Черная шуба отца затерялась среди кожанок и серых летних шинелей. Анна постояла немного и, все еще закидывая вверх голову и поглядывая на аппарат, медленно пошла к воротам.

Почти у самого выхода ее нагнал Моложаев.

— Я вас подвезу, Анна! — сказал он, беря девушку под руку. — У меня машина. Куда вас прикажете доставить?

Анна легонько, но настойчиво освободила руку и холодно ответила:

— Мне совсем в другом направлении. Я еду на трамвае.

Моложаев усмехнулся.

— Кажется, вы начинаете избегать меня, как избегают дорожной тряски? — выговорил он после паузы. — Вы напрасно, Анна, думаете, что самые приятные люди — это те, с которыми говорить, что дремать в лонгшезе. Иногда полезно и более бурное общение.

Он снова овладел рукой Анны и наклонил к ней гладко выбритое лицо, окутанное серым дымом воротника.

— Но я не гордый человек, — заключил он. — Если вы не хотите ехать на машине, так я провожу вас так!

Это было похоже на издевку. Анна строго посмотрела на Моложаева. Учтивый и пустой его взгляд не выражал ровно ничего. Не найдя подходящего слова, девушка только глубже засунула руки в муфту и презрительно пожала плечами.

Они шли к трамвайной остановке: девушка впереди и на полшага от нее Моложаев. Закутанный в шумящую от холода кожанку, он неотступно шагал за Анной, касаясь ее то плечом, то локтем, то рукой.

— Час от часу, — говорил он, — вы становитесь, Анна, все заносчивее. Может быть, вы все-таки снизойдете до разговора с простым смертным? Или вы это считаете для себя опасным?

Стараясь увеличить разделявшее их расстояние, Анна прибавила шаг.

— Как и всегда, вам свойственно преувеличивать значение своей личности! — сказала она. — Ведь, кажется, вы и в сегодняшнем полете предполагали играть более крупную роль.

Удар, видимо, попал в цель. Моложаев вытянулся и заметно побледнел.

— Что вы хотите этим сказать?

Переходя от обороны к нападению, Анна рассмеялась ему в лицо.

— Какой же, однако, вы стали недогадливый! Или проницательность только удел счастливых? Я хочу сказать, что вам не везет, мой бедный искуситель! Те чудодейственные ключи успеха, которыми вы похвалялись, увы, не открыли, как видно, ни одного замка!

— Вы напрасно глумитесь надо мной, Анна! — хмуро возразил Моложаев. — Во всякой большой игре неизбежны иногда тактические проигрыши. Но решают дело, в конце концов, не они, а общий результат,

Девушка и ее спутник подошли уже к остановке трамваев и встали немножко поодаль.

— Вы похожи на того самого индусского проповедника, — произнесла Анна, — который, когда его били палками, возносил своему божеству похвалы за то, что его не режут ножами. А когда резали ножами, благодарил, что не убивают совсем! Нет спора, это стоицизм! Но, дорогой мой Борис Николаевич, ведь это стоицизм отчаяния!

Она вынула руку из муфты и, сдунув приставшую к перчатке меховую пушинку, беспечно следила за ее полетом.

— По человечеству вы, конечно, заслуживаете жалости и снисхождения, — продолжала она, — но сегодня я настроена совсем не благотворительно. Я советую вам обратиться за помощью к врачу или к гадалке. И тот, и другая постараются поддержать ваш оптимизм.

На повороте показался нужный Анне трамвай, и она двинулась, чтобы примкнуть к ожидающим.

— Боюсь, что скоро вам придется изменить этот тон, — проговорил Моложаев, все еще следуя за нею. — Дело не

так-то уж просто обстоит, как вам представляется. И вам не придется оказывать мне помощь даже в порядке филантропии.

Анна оглянулась на него и ласково, почти нежно, улыбнулась.

— Да? — с нарочитой наивностью переспросила она. — Вы так думаете? Но ведь они уже улетели, они улетели, мой милый Борис Николаевич! И видите, как трудно их теперь достать?

Она подняла в последний раз голову и указала пальчиком в небо. Ярко освещенный солнцем, стратостат все уменьшался в размерах и уходил в голубую омытую высь. Моложаев неожиданно наклонился к самому уху Анны и больно сжал ее локоть.

— Мало полететь, уважаемая мисс, — со свистом прошептал он, — мало полететь, надо еще...

Он пожевал губами, проглотив конец фразы, и, резко повернувшись, пошел от девушки обратно к аэродрому, где ожидала его машина.

Анна вошла в забитый людьми трамвай и встала в укромном местечке на задней площадке. Очередной выходке Моложаева, как и прежним, она не придала значения. Девушка думала о своем. Прежде чем направиться к Балабану, с которым она по праву знакомства условилась слушать полет по радио, ей нужно было обязательно заехать в консерваторию и договориться насчет предстоящего концерта.

Она давно уже втайне готовила день своего торжества. Сюита, которою она угрожала Марку, была-таки, наконец, написана. Неделю назад она исполнялась в одном из зал консерватории перед узким кругом специалистов. И Анна до сих пор еще видела перед собой все подробности этого события.

Оркестр настраивал инструменты, и старый мэтр Анны, профессор Горчаков, стоя у дирижерского пюпитра, разговаривал с представителями печати и союза композиторов. Анна сидела в дальнем углу зала и теребила в руках сумоч-

ку. В противоположность недавней уверенности ей казалось, что музыка ее необыкновенно нелепа и дика, и что пробный этот концерт должен превратиться для нее в своего рода общественную экзекуцию.

Несколько последних месяцев она много и бурно работала, тщательно скрывая это от Марка. Случалось, что приятель приходил в разгаре ее занятий, и Анна, наскоро захлопнув рояль и смахнув исписанные нотами листы, принимала беспечный и праздный вид.

Эта новая музыка увлекала и поглощала ее целиком. Анна переводила на сложный язык звуков историю всех тех важных превращений, источником которых в какой-то мере был Марк. Сюиту она назвала по его имени. Ей приятно было установить, что дыхание заново открытого мира начинает звучать в ее музыке все отчетливей и яснее. Новое произведение было пробой на жизнь, и вот потому Анна так и волновалась перед началом пробного концерта.

Сухое лицо дирижера тонуло в пуху нежных седых завитков, густо покрывавших его курчавые щеки. Он улыбнулся Анне через весь зал, словно сбросил со сцены спасательный круг. Плотная костистая спина повернулась к многочисленным слушателям, и дирижер замахнулся палочкой на притихший оркестр.

Вступительные звуки сюиты заполнили тишину зала. Мощный нарастающий мотив распирал тесные стены. Это было похоже на говор приближающейся толпы, и среди общего звучания оркестра возникали уже отдельные голоса.

Анна смотрела на черные локти дирижера и на мелькавшую его палочку, то грозившую, то успокаивавшую, то молившую. Придиричивая и настороженная, девушка вначале не слышала в своей музыке ничего стройного и законченного. Она различала звуки каждого инструмента, но не объединяла их вместе. Сюита вдруг показалась ей сборищем диких, враждебных и ничем не объединенных шумов. Озноб стыда и страха пробежал по ее спине и неприятно подтолкнул сердце. Ревнивое ее ухо проверяло инструментовку и находило множество ранее не замеченных недоде-

лок. Она морщилась от обилия трубных партий, и звучащая сила тромбонов казалась ей грубой и неоправданно резкой.

Впрочем, были не одна, а две Анны, которые слушали сейчас эту музыку. Анна прежняя, развинченная и недоверливая, критиковала и придиралась. Анна настоящая, еще неуверенная, но возникающая, втайне радовалась и предчувствовала победу. Лавина исполненных жизни звуков обрушивалась в зал, одновременно и возбуждая девушку, и пугая.

Был в Анниной сюите такой момент.

Фагот разговаривал с флейтой, сопровождаемый приглушенной поддержкой оркестра. Фагот разносил, настаивал, увещевал, и флейта, ведя свою партию, лишь слабо сопротивлялась. Добродушное ворчание фюгота переходило в гневный рев, и флейта испуганно начинала вторить ему, только временами сбиваясь к прежнему мотиву. Фагот добрел, нежнел, успокаивался, и теперь уже сам примолкал, вслушиваясь в игривую мелодию флейты. Густой, убежденный голос его был солиден и деловит, тогда как партия флейты то и дело прерывалась капризными вспышками. фюгот добродушно порывивал иногда, точно призывая свою партнершу к порядку.

Отрывок сюиты был пронизан тонкой и мягкой иронией, Анна видела, как улыбаются вокруг люди. Ей ясно представились собственная комната, некрупная фигурка расхаживающего Марка и убеждающие его жесты. Перед самыми ее глазами выросли немного смущенные глаза победительного комсорга, и она слышала простодушный его голос, похожий на голос вот этого фюгота.

Оркестр умолк, и взрыв самых яростных аплодисментов ударил в уши Анны. Хотя была окончена только первая часть сюиты, но к девушке уже подходили, жали ей руки, поздравляли ее и высказывали всяческое одобрение.

— Это настоящая советская музыка! — говорил знакомый ей музыкальный критик. — Сколько ясности, здоровья, оптимизма. Можно вас поздравить, товарищ Волженцева, а кстати, и пожурить за долгое молчание!

Критик этот, как знала Анна, принадлежал к породе ценителей, похвалу которых может исторгнуть только искреннее убеждение. Она слушала дельные и недельные замечания подходивших людей, но понимала только то, что сюита нравится и имеет успех. Взглянув туда, на сцену, где профессор Горчаков уже сердито стучал по пюпитру, призывая к молчанию, она опять уловила его несоответственно веселый и ободряющий взгляд. И тотчас же чувство счастливой свободы и уверенности, с которым она работала над сюитой, снова вернулось к ней.

Сюита была безусловно одобрена и принята к публичному исполнению. Вместе с ней были приняты также несколько только что написанных Анной массовых песен. Теперь только от нее зависело, когда назначить первый концерт.

Этот концерт был сюрпризом, который она готовила Марку. Приятель ее должен был вытаращить глаза, когда после возвращения из полета увидит на афишах консерватории свое собственное имя. Анна мысленно уже видела эту афишу:

Концерт
Анны Алексеевны
ВОЛОЖЕНЦЕВОЙ
I отделение: Сюита «Марк»
II отделение: Массовые советские
песни

Она подведет его, этого заносчивого мальчишку, к афише и скажет, сделав вот так рукой:

— Ну, вот видите, Марк, я тоже старалась не терять даром времени!.. И пока вы работали там,— она повторит жест, — пока вы работали там, я старалась не дремать здесь!

И пусть он тогда повторит свои слова о равнодушии!

Трамвай уже подходил к консерватории, и Анна соскочила с задней площадки, не дожидаясь остановки. Быстро переступая, она побежала по скользкому асфальту к тротуару, и там, не остыв еще от бега и волнения, сильно рванула к себе знакомую дверь.

VI

В кабине было очень светло от непривычно яркого солнца, и Хлынов распорядился надеть серые очки, чтобы не утомлять зрения. Стратостат пожирал 16-й километр высоты. Голубоватый воздух вокруг него становился все прозрачнее и тоньше. Он был очень странен, этот резкий, не имеющий переходов, очищенный от влияния пыли, высотный, солнечный свет. Круглые блики, образованные падающими из иллюминаторов лучами, блестели как маленькие солнца. Но тут же, рядом с ними, лежала черная, с резкими гранями, тень, и царствовали густые недвижные сумерки. Этой сменой теней и света замкнутое пространство кабины было разграфлено, точно геометрический чертеж.

Цветная шкала, которой Сажин пользовался для сравнения с цветом неба, была монтирована на черном бархате. Она лежала перед ним, как и должно, в полосе сумерек, и освещалась маленьким фонариком с голубым желатиновым фильтром. Широкой рамкой черного бархата были, между прочим, оклеены все иллюминаторы кабины. И вот из этих-то черных провалов и смотрело на стратонавтов меняющее цвет небо.

Для визуальных определений Сажин снимал иногда очки и записывал тот цвет, какой представлялся его незащищенному глазу. Иногда он обращался с просьбой о такой же отметке к Хлынову или к Марку, чтобы иметь потом возможность сравнить определения. Пользуясь спектрографом Цейса, он успел уже сделать много спектрограмм и занялся теперь снимками земной поверхности.

Стратонавты лишь изредка обменивались односложными замечаниями, в остальное же время предпочитали работать молча. Обязанности их были давно и до мелочей рас-

пределены. Марк и Сажин, не думая ни о чем другом, спокойно занимались наблюдениями. За поступью же аппарата следили руки и глаза Хлынова.

Огромный их шар, с привешенной к нему птицей, все поднимался и поднимался, размеренно набирая высоту. Вооруженный дымчатыми очками, пилот смотрел в передний фасетчатый иллюминатор. Лишь розоватый оттенок белых равнин, что лежали внизу, свидетельствовал о вчерашнем тумане. Сытная, упитанная и залитая солнцем, раскинулась под ним молодая, покинутая земля. Горизонт был размыт и неясен. Казалось, розовый нимб сиял вокруг видимого диска земли. Разрезанный на несколько частей четкими гранями иллюминаторов, он плыл под ними, ровно и мягко блистая. И Хлынову опять и опять хотелось смотреть только вниз, тем более, что там, вверху, над головой, небо все густело и меняло оттенки цвета.

Она постепенно темнела, эта бездонная пустота, куда упрямо стремился стратостат. Из голубой она делалась темно-синей, точно небо покрывалось луганской эмалью. Потом, ближе к зениту, цвет его начал принимать какой-то не очень приятный фиолетовый оттенок. Эта странная и непривычная для земных завсегдатаев окраска, тревожная, жутковатая и предостерегающая, невольно вызвала мысль о пожарном зареве или о мировой катастрофе.

Кабина ракетоплана, где работали сейчас стратонавты, напоминала по форме усеченный эллипсоид, несколько вытянутый в длину. Защищенные мягкой оплеткой стойки разделяли ее на секторы. В передней, суженной части, находился Хлынов, властвующий над доской приборов и над органами управления. За ним помещался Марк, окруженный электрометрами, вильсоновской камерой, приборами для земного магнетизма и радиоаппаратурой. Два задних отсека, вместе с выходным шлюзом и аварийным скафандром, подлежали ведению Сажина. По длине кабин, снизу, с боков и сверху, располагалось несколько круглых иллюминаторов, позволявших каждому стратонавту смотреть наружу, не покидая места.

Это был своего рода маленький мир — микрокосм — со своей атмосферой, своим небом и своим запасом энергии. Был даже здесь свой ветер, производимый маленьким вентилятором, прогонявшим воздух через очистительные патроны, и даже свой дождь в виде конденсационного пота, собиравшегося на стенках кабины. Это был прообраз того будущего космического корабля, который отправится когда-нибудь в звездную пустоту на разведку новых миров и жизней. И не было ничего удивительного, что трое людей, несмотря на скромность их ближайшей цели, чувствовали себя так, как будто делали первый шаг во вселенную.

Стратостат поднимался спокойно и без вращения, со скоростью не выше трех метров в секунду. В кабине никто не нарушал тишины. Хлынов, заняв свою позицию, молча смотрел в нижний иллюминатор.

Стратостат лишь очень снесло в сторону, и внизу, под легкой розовой пленкой, виднелись смутные очертания Москвы. Хлынов узнавал продолговатое пятно динамовского стадиона, неправильный треугольник Кремля и линию Садового кольца. Знакомые контуры мирового города в тысячу первый раз пробуждали в нем гордую нежность. И хоть он не видел этого, но чувствовал, что все эти расходящиеся по кругам и радиусам улицы, тонко нарисованные на снежном фоне, наполнены сейчас, как вены, горячей и пульсирующей жизнью.

Одновременно он все посматривал и посматривал на вариометр. Чуть-чуть беспокоила малая скорость подъема, немножко не совпадающая с расчетной. Проверив показания прибора по альтиметру и секундомеру, пилот установил, что вариометр чуть-чуть подвигает. С момента старта прошло сорок минут, и стратостат уже достиг высоты около семнадцати тысяч метров.

— Алло, алло! — зазвучали в кабине очередные позывы Марка. — Говорит «Астероид». Высота семнадцать тысяч метров. Наружное давление семьдесят один миллиметр. Температура минус сорок шесть градусов. Отвечайте, хорошо ли нас слышите!

Рация действовала вполне исправно, и в наушники стратонавтов почти тотчас же понеслись ответные слова. Со всем близкий голос Ратнера, чуть торжественный и необыкновенно четкий, приветствовал первых ракетоплывателей и желал им успеха.

Все шло, как и должно. Температура и давление внутри кабины держались ровно на нужных цифрах. Тихохонько посапывал вытекающий из баллонов кислород. На верхней стенке кабины и верхних иллюминаторах появлялись нежные хлопья изморози от замерзавшей конденсационной воды.

Сажин продолжал свои оптические измерения и следил за исправным действием регенеративной установки. Фотометры, люксометры, оптические шкалы и фотоаппараты, кислородные баллоны и патроны для очищения воздуха, — все это теснилось вокруг него, торчало под руками, в ногах и висело над головой.

Спектрографическим методом он определял относительное количество озона в окружающем воздухе. Этот газ выполнял роль фильтра, пропуская к земной поверхности ровно столько ультрафиолетовых лучей, сколько было необходимо для жизни. Немножко меньше этого газа, и вся масса испепеляющих жестких лучей низверглась бы на землю и опалила бы на ней животных, растения и людей, как паяльная лампа палит клопов.

Инженер заглядывал в ближайший иллюминатор и ощущал взглядом небо. Фиолетовый цвет его с каждым километром темнел и становился грознее. Стратостат проваливался в огромный пустой мир, неслышно движущийся, наполненный тысячами неведомых опасностей. Чем больше росла высота, тем сильнее охватывало Сажина сладкое чувство сопричастности ко всему миру, что посещало его в минуту космических мечтаний. На двадцатом километре небо в зените стало аспидно-серым, почти черным. Казалось, вот-вот мелькнет в этой черноте одна-другая звезда, и аппарат поплывет среди них, топча мирозданье.

Окраска неба на этой высоте совсем не соответствовала

реллеевским предположениям. И при одной мысли, что он стоит у подножья многих тайн и открытий, Сажина пронизывал терпкий холодок восторга.

Нечто подобное испытывал также и Марк.

Оптические наблюдения не входили в его обязанности, но время от времени он все-таки поглядывал в круглые кабинные зрочки.

Мир пустоты и света, мир четырех измерений, прекрасный и страшный мир физиков и математиков, лишенный земной тесноты и уюта, был совсем рядом с ним, почти под боком, за тонкой стальной перегородкой. Мурашки пробегали по его коже, когда Марк пытался представить себе тот холод, который господствовал здесь, всего на полметра от его тела. Он жмурился от обилия жестокого стремительно-го света, что несся в этой морозной пустоте неизвестно куда. Стратостат был уже на высоте двадцати четырех километров. Здесь, где барометрическое давление становилось ничтожно малым, и воздух был разреженным, точно внутри катодной лампы, не могло уже жить ни одно живое существо.

Какая-то жутковатая ясность переполняла мозг и все тело Марка. Мысль работала точно и безотказно, как авиационный мотор, делая невиданное количество оборотов в минуту. Склоняясь над своими приборами, по внешности спокойный и неторопливый, внутри он дрожал и вибрировал каждым мускулом. Ни страха, ни опасений, каких он ожидал, не было, но были зато восторг и трепет, похожие по силе на страх.

Через равные промежутки времени он производил отсчеты ионизации своих электрометров. Слабо светили освещающие окна приборов лампочки. Заглядывая в окуляр, Марк смотрел на ползущие по шкале нити. Он то и дело заряжал электрометры с помощью эбонитовой палочки, потеряв ее предварительно о кусок шерстяной ткани. В течение какого-нибудь часа он сделал более семидесяти определений.

Это было вполне похоже на мирную работу в лаборатории. Только в кабине было потеснее, да странная тишина немножко тревожила кровь. Мерно постукивали по ящикам

анероидов специальные молоточки, препятствующие отставанию приборов. «Так стучит в дверь судьба», — откуда-то вспомнилось Марку. По связи с этой мыслью припомнился какой-то мерный и грозный мотив из недавно слышанной у Анны вещи. И в то же время он точно отмечал все показания электрометров и взглядывал иногда в иллюминатор на серое темнеющее небо.

Казалось, он чувствовал их, эти таинственные космические лучи, которые мчались сейчас в пространстве, пронзая кабину, приборы и тела стратонавтов. Он ясно представлял эти невидимые потоки корпускул, падающие на землю, как град, из мирового пространства. Он ловил их приборами, как ловят косячную сельдь, когда идет она в русла рек, подгоняемая инстинктом жизни. Нити электрометров наглядно показывали ему силу невидимых частиц, несущих разгадку атомного распада или созидания. Наблюдения Марка, насколько он мог уже судить по своим записям, больше приближались к наблюдениям Пикара, чем к наблюдениям Регенера. Ионизация вместе с нарастанием высоты и падения барометрического давления резко усиливалась. По показаниям электрометров, сделанных из разных металлов, Марк составлял уже кое-какое мнение о вторичных лучах, возникающих в стенках приборов. И он все увеличивал и увеличивал количество записей, жадничая, словно старатель, напавший на золотоносную жилу. Маленький, прицелившийся и полусогнутый, он прикасался к приборам движениями скряги. Можно было подумать, что невидимый золотой поток молотит его в спину, и он сгибается как под дождем, стараясь занять поменьше места.

Временами Марк оставлял приборы и обращался к обязанностям радиста. Он был переводчиком и связистом между двумя различными мирами. Радио работало безукоризненно. Физик слышал даже покашливание и дыхание тех людей, что стояли далеко внизу у микрофона.

Казалось, и люди и ракетоплан находились в центре какого-то огромного храма, и над ними раскрывался чудовищный купол, расчерченный сложным рисунком. Внутри

оболочки было очень светло, так как материя легко пропускала солнечный свет. Зеленоватый просвечивающий купол, точно сделанный из гигантских плит корунда, источал ровное и мягкое сияние.

Наступила минута торжественности и невольного благоговения. Уж если и нужно было строить на свете храмы, так только такие вот храмы мощи и знания. А если и необходима людям вера, так пусть это будет вера в победную силу человеческого разума! Хлынов улыбнулся, глядя на задраженныеверху лица своих спутников: так откровенно отражалась на них одна общая мысль. Чтобы подняться выше, нужно было сбросить имевшийся небольшой балласт, и пилот повернул ручку балластосбрасывателя.

Он видел в нижний зрачок кабины, как дробь падала тонкой отвесной струей, совсем не развеиваясь в стороны. Он приказал Марку сбросить прибор для улавливания спор. Прибор также полетел вниз, как камень, и Хлынову так и не удалось заметить раскрытия его парашюта. По-видимому, воздух здесь был столь разрежен, что условия приближались почти к полной пустоте.

Следя за исправностью всего аппарата, пилот все время находился в крайнем напряжении. И слух его, и зрение были обострены до той грани, за которой у людей более нервных начинаются уже галлюцинации. Он слышал мягкое жужжание вентилятора, посвистывание выходящего из баллонов кислорода и мерное постукивание анероидных молоточков. Этот маленький замкнутый мир, в котором он находился, имел уже для него, как хорошо настроенный музыкальный инструмент, свой тон, свой тембр и свою игру. Вот поэтому-то он вдруг и заволновался, оглядывая кабину, когда до слуха его дошел новый и непонятный звук.

Звук был тих и совсем не страшен, но в ушах Хлынова он гремел точно вырвавшийся из котла пар. Почему-то заскакала в барометрах ртуть. У пилота почти тотчас же возникла уверенность, что кабина дала трещину. Взгляд его ошаривал стенки, нигде не находя неисправности, но ему уже чудилась катастрофа.

Помимо воли, перед ним вдруг встала физиономия Моложаева, и по той ненависти, которая его тотчас же охватила, пилот понял, что никогда ему не верил. Тихий шип, что свистел в его ушах, был грозен своей непонятностью. На шее у Хлынова бурно вздулись мускулы, словно он поднимал неимоверную тяжесть. Затопляя затылок, уши и лицо, побежала по коже алая краска.

Минутой позже, однако, пилот уже обмяк и успокоился, так как причина звука была открыта и оказалась нестрашной. Лопнул стеклянный колпак одного из барографов, не выдержав разницы давления. Хлынов одним толчком выключил барограф и смущенно оглянулся на спутников. Они, к его удовольствию, ничего не заметили и продолжали спокойно работать.

Хлынов легко вздохнул и поглядел вверх. Через боковой аппендикс, в виде тонкого беловатого облачка, выходил разогретый солнцем газ. На тросах такелажа был виден флаг ЦС. Красная, ярко освещенная ткань походила на язык пламени, лизавшего крепкие стропы.

Стратостат достиг потолка.

Внизу открывался сухой и почти бескрасочный пейзаж, в подробностях которого было уже не легко разобраться. Этакая беловатая и плоская, как гладильная доска, залитая солнцем, но неясная по очертаниям, распластывалась внизу земная поверхность. И разве только при напряжении можно было различить на ней черные нитки железных дорог, отходящих от серого городского массива.

— Ну, вот мы и на крыше! — сказал Хлынов, повертываясь к спутникам. Передай, Марк, рапорт!

Он помолчал немного, ради торжественности момента.

— Передавай:

«Рапортуем партии, правительству, Центральному совету авиаобщества и лету передовиков промышленности. Первый потолок в двадцать семь километров взят. Через несколько минут начинаем ракетный пробег в стратосфере. Да здравствует великий советский народ! Да здравствуют партия и ее гениальный вождь товарищ Сталин!»

Пилот пробурчал эти слова, словно немножко стеснялся их, сердитой скороговоркой, но зато уже Марк почти проревел их в микрофон. Быть может, если б дать ему волю, комсорг пропел бы их как песню, и только явная несообразность такого восторга побудила его сдержаться. Он бросал в пространство четкие торжественные фразы и так цепко держался за микрофон, словно боялся, что тот вырвется из рук.

— Ну, а теперь давайте подзаправимся!— приказал Хлынов, улыбаясь.— Работа нам предстоит еще немалая!

Он вынул из своей сумки две груши и бросил их приятелям, хоть у них у каждого был и свой запас. За тем пилот сам взял грушу, и пенный сок ее выступил у него на губах.

Стратонавты ели и изредка переговаривались, слушая центральную станцию. Толпы приветствий, теснясь и перебывая друг друга, рвались в их наушники. Марк включил на некоторое время громкоговоритель, и в кабине стало шумно, точно на людном сборище.

— Привет бесстрашным ракетоплывателям от Центрального совета авиаобщества!

— ЦК комсомола шлет мужественным стратонавтам пожелание успеха!

— Да здравствуют советские стратонавты!

В кабине было так мирно, уютно и безопасно, что все эти обращенные к ним слова казались ненужно преувеличенными и незаслуженными. Полные благодарности к оставшимся внизу людям, немножко возбужденные близостью знакомых голосов, стратонавты грызли сочные груши, только сейчас, может быть, сообразив, что они голодны, и что с момента старта прошло уже три емких часа.

VII

Из консерватории Анна направилась к Балабану. Она не раз уже заходила к нему с Марком, чтобы послушать какую-нибудь замысловатую перекличку или заграничную передачу. Сложные орудия его страсти и многие годы радиолюбительства внушали ей должное уважение.

— Ну, ну! Садись, дочка, садись! — радушно встретил он ее. — Я уже тут давно свою машину наладил!

Он кивнул Анне на стул, где лежали приготовленные наушники, и удовлетворенно ухмыльнулся. Кроме него, у приемника сидели двое молчаливых парней, по-видимому, товарищей Балабана по работе.

В комнате было тепло, светло, уютно. Даже всюду расставленные атрибуты балабановских радиоувлечений не портили колорита. Трое сидели у приемника, как у самовара, и с аппетитом слушали струящиеся из эфира звуки.

Анна сняла жакет, освободилась от вязаного шарфа и села на оставленное место. И тотчас же, как только задела она наушники, явственно зазвучал для нее знакомый Марков голос.

— ...тура минус сорок семь. Наружное давление семьдесят миллиметров. Самочувствие команды превосходное. Передайте, хороша ли слышимость!

Голос сохранял все интонации и, казалось, доносился из соседней комнаты. Анне даже почудилось, что она слышит Марково дыхание и уж, во всяком случае, она ни с чем не могла смешать знакомого докторального побрякивания. Послышался не очень разборчивый разговор стратонавтов друг с другом. Потом снова заговорил Марк, сурово и сухо сообщавший, что стратостат набрал восемнадцать километров высоты.

— Ишь ты! — с ворчливым одобрением проговорил Балабан. — Говорит, как штрафную ведомость читает, а у самого, наверное, поджилки от радости дрожат!

Анна представила себе тот далекий, уносящийся в высоту мирок, из которого неслись сюда звуки. Она увидела тесный полуовал кабины и работающих в ней людей. Он сидел, вероятно, сейчас, нахохлившись над своими приборами, этот милый и смешной Марк. И детские губы его, произнося самые мирные слова, подрагивали, надо полагать, и сердито сжимались!

— Вы слушайте, слушайте, Нил Максимович! — вос-

кликнула Анна, хватая за руку Балабана. — Это он о своих наблюдениях.

Марк говорил о работе электрометров и кстати сообщал, что сброшен прибор для улавливания спор.

— Дда! — раздумчиво комментировал сообщение Балабан. — Тут тебе, брат, не на пикник поехали. Дело серьезное.

Он очень строго посмотрел на своих гостей, и, пощипав седоватую щетину на подбородке, продолжал:

— Учитесь, ребята, как жить и работать надо! Люди четыре с лишним годика к экскурсии-то этой готовились! Тысячи работников над делом подумали да попотели! И эти вот руки кое-что сделали!

Он с уважением посмотрел на свои жесткие узластые руки. Мера его возбуждения росла с каждым новым километром высоты, о которых сообщали стратонавты, и когда ракетоплан достиг, наконец, потолка, Балабан вскочил со своего стула и неистово замахал руками.

— Крой, ребята, крой, милые! — кричал он, словно надеясь, что его услышат. — Дуй до горы, чтобы небу стало жарко! Показывай рабочему классу, что мы в нашей жизни сотворить можем!..

— Так-то вот, дочка! — пошутил он, немножко остыв. — Тут и тебе подумать надо! Уж коли жениха вздумаешь завести — из таких вот бери! Автогеном люди сварены, не рассыплются!

Анна взглянула в круглое лицо Балабана и неожиданно для самой себя густо и мучительно покраснела. Видимо, сообразив, что зашел в запретную область, сварщик помолчал немножко и, вздохнув, заговорил о другом.



В то же время в далеком городе С., лежащем на трассе полета, прокурор Обольянов завтракал в буфете областного суда.

День после полудня неожиданно помрачнел, и в буфетной было полутемно и холодновато. Прокурор, не сядя,

торопливо глотал чуть теплый чай и яростно жевал бутерброд, схожий по твердости с недолго ношенной подметкой. В хохлацких его усищах застревают крошки хлеба. Прокурор то и дело проводит по усам ладонью и, сердито пофыркивая, смотрел в окно.

Результаты ревизии, которую он здесь заканчивал, приводили его в состояние крайнего раздражения. Люди, с которыми он всю эту неделю воевал, возбуждали в нем не очень добрые мысли. Глотая чай и спешно расправляясь с бутербродом, прокурор явно избегал взглядов своего соседа, удобно расположившегося за тем же столом.

Руководящий работник областного суда, товарищ Лыбин, принадлежал к породе людей неторопливых. Он никогда, видимо, не терял из-за дел аппетита, и даже теперь, накануне приближающегося разноса, сохранял все признаки благодушия. Пухлые щеки его сияли, глаза были задумчивы и влажны. Он вкусно поворачивал на тарелке горячей шницель, вкусно позванивал ножом и вкусно глядел на коллегу из центра, словно и его уже включил в свой пищевой рацион.

— Вы бы котлеточку, котлеточку отбивную! — говорил он, приятно щурясь. — Бутерброды — пыль, воздух, обман один. Живая душа чего-нибудь посущественнее просит. Разрешите, я вам шницелек закажу?

Прокурор, сдерживая резкое слово, угрюмо ответил:

— Я сыт. Благодарю. Торопиться нужно!

— Ну, что вы, товарищ Оболянов! — младенчески рассмеялся сосед. — Дело не медведь, в лес не уйдет! Давайте-ка, давайте, я закажу!

Прокурор должен был отрезать уже более резко и определенно:

— Нет, избавьте, пожалуйста! Уж если понадобится, так я закажу сам.

При виде этих приятно щурящихся глаз прокурор чувствовал, как поднимается в нем густая сизая муть. Его не обманывало это лукавое простодушие. Он целую уже неделю возился, выводя этого человека на свежую воду, но тот,

несмотря на упитанность, был увертлив и скользок, как медюза.

В областном суде, как это установил для себя Оболянов, было очень неблагополучно и, быть может, пахло даже кое-чем посильнее служебных ошибок. Он имел основания подозревать, что Лыбин далеко не безгрешен, но следы здесь так ловко заматались, что с официальной стороны поймать его было трудно. Прокурор целое утро сегодня изучал материалы судопроизводства, всюду находя неясности и подозрительные детали. Ему было уже понятно, что мягкая лыбинская рука управляла кораблем правосудия несколько своевольно, но окончательных доказательств этого у него еще не сложилось. Нужно было спокойствие, чтобы довести свои поиски до конца, но спокойствия-то как раз и не было.

Откинувшись на спинку стула, Лыбин вытирал платком рот и довольно улыбался.

— Ничего, товарищ Оболянов! — говорил он. — Мы с вами тогда на обеде реванш возьмем. Я вас тут в одну столровку свожу. Там вы и Москвы не захотите!..

Прокурор резко поставил, почти уронил на стол стакан и повернулся к буфету. Он чувствовал, что вот сейчас, когда они возвратятся в суд, он может вскипеть, накричать, наговорить даже чорт знает что этому человеку и, стало быть, заведомо испортить все дело. Хитрая бестия, что дожевывала перед ним шницель, того, видимо, и добивалась своими идиотскими репликами.

Прокурор отошел к буфету, как бы желая что-нибудь взять, и увидел в руках буфетчика газету.

Ба, да ведь его Маркушка летит сегодня! Он ясно видел это — с первой страницы газеты смотрел на него портрет сына, и крупный аншлаг извещал о полете ракетоплана.

Какого же дьявола он не телеграфировал об этом, как было условлено?

Прокурор попросил у буфетчика газету.

В краткой биографии сына было упомянуто и его, отцовское, имя. Прокурор с удовольствием посмотрел на

портреты марковых спутников и, пробежавшись по многочисленным приветствиям, снова возвратился к знакомому и близкому лицу.

Лицо, к счастью, почти не искаженное, смотрело на него с газетного листа, как и всегда, исподлобья. Он видел детский очерк знакомых губ и прижатые к голове, как у зайца, уши. Волна теплой нежности вдруг прокатилась по телу прокурора, и он сел на подвернувшийся стул, расправляя газету на колене. Все бушевавшее в нем раздражение, усталость, злора и нетерпение — все это исчезло, и он почувствовал себя вот таким же молодым, сильным и упрямым, как лежавший на колене портрет.

— Вы мне разрешите у вас взять газетку?— вдруг попросил он у буфетчика.

Получив согласие, он встал, тщательно свернул газету и положил ее в карман с той осторожностью, с какой можно класть разве бомбу или заряженный револьвер.

— Ну, так двинемся, пожалуй! — сказал он, обращаясь к Лыбину. — Потому что дело, хотя и не медведь, как вы говорите, но осилить его все-таки надо!

И по тому, как было это сказано, любитель покушать, видимо, понял, что товарищ из центра снова обрел равновесие, и что когда-нибудь этакий вот голос может заставить его потерять аппетит.

VIII

Пилот застегнул на груди ремни. Поставив ноги на педали управления, он оглянулся на своих спутников.

— Готово? — сухо и почти сурово спросил он.

— Готово! — как эхо ответили они.

Укрепленные в гнездах и на кронштейнах, неподвижно покоились приборы. Инженер и физик, притиснутые ремнями к сиденьям, готовились к очередной перемене. По излишней хлыновской суровости, а главное, по напряженному его лицу, они поняли, что начинается новая мера времени.

Из скромных аэропланов, подвешенных к газовой груше, они должны были превратиться сейчас в рискованных летчиков, начинавших полет с головокружительного пика.

Хлынов дернул ручку автомата, приводящего в действие механизм отцепки. Нужного результата почему-то не последовало. Еще и еще раз дернул он эту дьявольскую ручку, но автомат, по-видимому, не действовал, и отцепка не наступала.

Пилот вскинул голову и посмотрел в верхний иллюминатор. Ракетоплан по-прежнему висел под оболочкой стратостата, освещенный ярким, стремительным солнцем. Туго натянутые стропы, казалось, издевались над пилотом. Хотел он того или не хотел, но перед ним опять возникла моложавая усмешка, и мозг его пронизывало холодком тревоги.

Чорт побери, ведь это же была не какая-нибудь пустячная помеха! Лишенный посадочного балласта, потерявший много газа от разогрева, стратостат не мог благополучно спуститься, если не удастся отцепить ракетоплан.

— В чем дело, Матвей? — уже спрашивал Сажин. — Почему не начинаем полета?

Хлынов вместо ответа издал неопределенное мычание, словно рот его был набит камнями,

Может быть, сальники автомата застыли от зверского высотного мороза? Может быть, он дергал ручку недостаточно сильно? Ведь он сам, собственными руками проверял отцепной механизм перед стартом?

Он оглянулся еще раз на Сажина. По злым и тревожным глазам пилота тот понял, в чем дело.

— Да ты предохранитель-то снял ли? — спросил он.

И Хлынов, точно пораженный внезапным открытием, шлепнул ладонью по могучему своему бедру.

Неделя предстартовых волнений, тревог и бессонниц давала себя знать. Этого с ним почти никогда не случалось раньше. Приводя в действие механизм отцепки, он забыл снять с ручки предохранитель.

— Все в порядке! — с веселым свирепством воскликнул он. — Есть в полете!

И в следующее мгновение все три стратонавта почувствовали, как пол кабины уходит из-под их ног.

Марку показалось, что внутренности его полезли к горлу, грозя вывернуться наизнанку. Хотя он и тренировался неоднократно в полетах, но это вот чувство внезапного падения в пустоту было по-прежнему неприятно. Вцепившись руками в сиденье, словно он не надеялся на крепость ремней, Марк старался смотреть в верхние зрачки кабины. Оболочка стратостата, отделившись от груза, неуклюже перевертывалась нижним концом вверх. Через аппендиксы облаком выходил газ.

В разреженном воздухе 27-го километра ракетоплан падал вначале плашмя, словно сорванный с ветки лист. Потом он медленно повернулся носом вниз и косо заскользил навстречу земле, набирая чудовищную скорость.

Секунды, пока аппарат не слушался еще управления, текли для Хлынова дольше вечности. Затем он постепенно почувствовал сначала слабо, потом сильнее ту упругую силу сопротивления, с которой рукоятка руля начинала давить на его ладонь. Это мгновение было мгновением его торжества, потому что оно возвращало пилота к привычным законам управляемого полета.

Ощущение невесомости сменялось стремлением падать вперед, на приборы. Хлынов висел на ремнях своего кресла и глядел на распределительный щит. Стрелки альтиметров быстро падали, все-таки, видимо, не успевая за скоростью истинного падения. Мысленно прикидывая возможные ошибки приборов, пилот считал эти набегающие на него десятки и сотни метров. И когда скорость достигла, наконец, нужной величины, он очень осторожно и плавно начал вытягивать ручку на себя.

По его расчетам, ракетоплан должен был, круто пикируя, падать в течение сорока секунд и потерять более трех с половиной километров высоты. На скорости свыше 240 метров в секунду Хлынову нужно было перевести аппарат на режим горизонтального полета. Нужно было вывести машину так, чтобы перегрузка не достигла опасных разме-

ров, и чтобы сохранилась та самая скорость, которая потребна была для начала работы мотора.

Тело пилота сильно, но плавно прижимало к сиденью, и он чувствовал, что выравнивание идет, как должно.

Машина хорошо слушалась руля. Опасность вибрации отпадала. Крепко сжимая ручку управления, Хлынов смотрел на огромную, надвигающуюся землю. Ту колоссальную скорость, какую развил аппарат, влекомый слепой силой тяготения, он ощущал всем своим телом. Он видел, как вынырнула в фасетчатых окнах кабины размытая линия горизонта. Ракетоплан по отлогой кривой шел теперь косо к земле, приближаясь к горизонтальному направлению. Возможно было включать мотор.

Хлынов благоговейно прикоснулся к дросселю, чтобы повернуть регулятор на самое малое деление. Знакомый звук нежного мелодичного завывания тотчас же возник в его ушах. Мотор вступал в действие именно с той осторожной постепенностью, которой Хлынов и Сажин так долго добивались при стационарных испытаниях на земле. Стрелка указателя скорости быстро полезла вверх. И, по мере того, как увеличивался бег, вой мотора становился все ниже и ниже.

Это было похоже на рев замирающей сирены. Все мягче и мягче становился тембр этого воя. Хлынов включил уже мотор на полную силу и медленно увеличивал угол атаки. Аппарат, даже набирая высоту, мчался со скоростью свыше тысячи трехсот километров. Гуденье мотора с каждой секундой слабело все больше. Стратонавты летели вперед со скоростью выше скорости звука и, стало быть, обгоняли все возникавшие в моторе шумы.

В кабине стоял лишь слабый музыкальный гул, словно люди были помещены внутри большого рояля, на котором взята низкая нота. Да и то, этот гул, может быть, происходил от дрожания кожуха воздушного приемника и от шума врывающихся в него струй. Стратонавтам ничто не мешало разговаривать, если бы они того пожелали, без всяких искусственных приспособлений. Однако, зачарованные сме-

лостью первого ракетного полета, они сохраняли суровое и набожное молчание.

Следуя по курсу, ракетоплан в то же время набирал высоту. Он вернул уже потерянные позиции и лез все выше и выше. Двадцать семь, двадцать восемь, тридцать — машина шла вверх, точно на приступ, яростно подминая под себя новые километры. За летные ее качества Хлынов не беспокоился. Ракетоплан был опробован уже не раз во время испытательных буксировок. Правда, тогда не было той сумасшедшей скорости, что развивала сейчас машина. Но она, кажется, неплохо (ей-ей, неплохо) справлялась со своей задачей.

Сажин и Марк смотрели в спину человека, который вел их корабль. Пригнувшийся над приборами и обо всем на свете позабывший, Хлынов вытягивался, точно летящая птица, и хищно подавался вперед. Казалось, он помогал ракетоплану движением собственных мускулов. Знакомым чувством летного азарта веяло от всей его собранной в комок фигуры.

Марк придвинул коробку микрофона и голосом, ослабленным от счастья и волнения, послал в пространство очередной рапорт:

— Алло, алло! Говорит «Астероид». Время: тридцать минут пополудни. Уже семь минут, как находимся в полете. Работа ЦИВТа оправдывает себя полностью. Приборы и механизмы действуют идеально. При пикировании потеряли не более шести километров высоты. Идем на подъем. Передайте привет сварщикам кабины! Да здравствуют могучий советский народ и его великие руководители!

Он сделал паузу, посмотрел на приборы, и уже более трезво и буднично проговорил:

— Высота тридцать два километра. Скорость тысяча семьсот пятьдесят километров. Наружная температура минус пятьдесят два градуса.

По-видимому, это в виде сюрприза было там давно уже подготовлено. Как только умолк Марк, чей-то хриплый от возбуждения голос выкрикнул неразборчивое приветствие, и тотчас же за ним военный оркестр заиграл летный марш.

Знакомые торжественные звуки, как свежий воздух, вливались в кабину ракетоплана. К спокойному пению инструментов сами собой подбирались слова.

*Все выше, все выше и выше
Стремим мы полет наших птиц...*

И молча, как будто совершая священный обряд, стратонавты слушали эти победные звуки, связывавшие их с оставленной, но не забытой землей.

IX

Они мчались теперь по горизонтали на высоте в тридцать шесть километров. Прямо перед собой Хлынов видел непривычное пестрое небо. Низко у горизонта оно было, как и всегда, голубым. Выше — его окраска незаметно становилась темно-синей. Затем появлялись уже тревожные фиолетовые тона. И дальше небо казалось аспидно-серым и почти черным над головой.

Земная поверхность, с неясно различимыми подробностями, плыла под аппаратом в виде плоской карты, кое-где отмеченной темными штрихами или слабо зеленевшими пятнами. Пейзаж был сух и линеен, да к тому же так медленно менялись его очертания, что, казалось, машина не двигалась с места. Кое-где уже появлялись внизу облака. Горизонт заволакивало временами густой сизой дымкой.

Усилием фантазии легко было теперь представить, как выглядела бы их родная планета перед людьми, отбывающими в мировое пространство. Вот так же должен висеть перед аппаратом гигантский размытый горизонт, обрисовывающий слепящий круг земли. Темные тона неба должны постепенно сгущаться и спускаться ниже. Земля проваливалась бы в пустое голое пространство, и вот, наконец, ночь заглотнула бы ее целиком. Спускающаяся сверху тьма тронула бы окраина планеты, и первые звездоплаватели увидели бы землю в виде огромного медного диска с пятнами материков и морей.

Машина мчалась с предельной скоростью в две с половиной тысячи километров в час. Скорость эта была достигнута постепенно, и стратонавты не ощущали поэтому никаких неудобств. Сажин, Хлынов и Марк, занятые работой, чувствовали себя очень буднично и спокойно. Здесь, в кабине ракетоплана, мчащегося по небу, точно падающая звезда, они располагались так же удобно, как в каком-нибудь газовском лимузине на земле.

Положив руки на органы управления, Хлынов следил за навигационными приборами. Земля внизу все чаще и чаще покрывалась облаками. Приходилось уже то и дело проверять штурманские расчеты. Маршрут Москва — Казань — Свердловск — Омск — Новосибирск машина проходила с диспетчерской точностью.

Над Казанью вымпел был сброшен над самым центром города. До Свердловска шли еще по земным ориентирам. Дальше, ввиду нараставшей облачности, пришлось идти слепым полетом, пользуясь компасами, секстантом и радиомаяками.

Точка — тире — точка...

Хлынов слушал эти монотонные повторения и старался вести аппарат таким курсом, чтобы оба сигнала были слышны одинаково отчетливо. Там, внизу, земля все затягивалась и затягивалась сплошными непогодными облаками, здесь же, в стратосферном пространстве, господствовали вечная ясность и покой. Чтобы ни происходило там, внизу — метель, буран, вьюга — здесь по-прежнему светило яркое солнце, и воздух был чист и прозрачен, как бемское стекло. Машина с чудовищной скоростью неслась над изрытой и блистающей под солнцем поверхностью, словно земля была закидана горам белоснежного хлопка.

Точка — тире — точка...

Марк и Сажин, погруженные в наблюдения, неслышно возились со своей аппаратурой. Неписанный ритуал работы был твердо усвоен ими и исполнялся с убежденным благоговением. Время от времени Марк посылал в пустоту очередные сообщения, и его, в свою очередь, догоняли ответные волны.

Обстановка работы в ракетоплане была не совсем такой, как он ожидал. Там на земле, перед стартом, все представлялось ему торжественней и пышней. Он видел двух занятых будничным делом людей, не замечательных ни видом, ни поведением. Шурясь и поморщиваясь, то сдвигая на лоб, то надвигая обратно на глаза очки, Сажин вел записи в бортовом журнале. Пользуясь сплошной облачностью, он производил снимки земной поверхности инфракрасными лучами. Хлынов же был виден физику только со спины, и о его состоянии предоставлялось судить лишь по движению плеч.

В наушниках Марка журчал жизнерадостный басок Решетова. Голос был так отчетлив и ясен, что, казалось, доктор сидит вместе с ними в кабине. Побеждая стихии и расстройства, голос его гнался за стратонавтами, неся с собой знакомую суету.

— Привет всем троем от лекаря! — говорил он. — В запасных патронах «Аудос» не вывинчены пробки! Имейте это в виду!

Это давно уже имелось в виду, но напоминание отнюдь не показалось лишним. Приятно было все-таки знать, уносясь в сверкающую пустоту, что там где-то, на твердой земле, над судьбой твоей думают близкие люди.

Марк собирался поблагодарить доктора, как вдруг с радией что-то случилось. Вместо отчетливых звуков и голосов в уши ворвалось целое стадо «эфирных свиней», и сколько уж Марк потом ни крутил реостатов приемника, не было слышно ничего, кроме дикого визга.

Связь с миром была прервана. Марк тщетно вызывал ближние и дальние станции, но в ответ неслись только шумы и пiski. Насколько мог, он пытался выяснить причины порчи и устранить их. Он проверил контакты, осмотрел батареи, лампы, катушки, конденсаторы, но дело нимало не изменялось. В конце концов, он должен был доложить об этом Хлынову.

— Рация испорчена! — мрачно сказал он, хоть это было ясно и без него. — Что, Матвей, делать?

В согнутую спину пилота он посмотрел с надеждой и ожиданием. Хлынов, к его удивлению, только гневно махнул рукой и ничего не ответил.

Это надвинулось на них внезапно и скопом, точно засада врагов, выжидавших удобного момента для нападения. Беда пришла в сопровождении другой, еще более страшной беды. Всего минуту назад Хлынов был горд и спокоен за свою машину, теперь же он тревожно всматривался в приборы и все теребил и теребил рукой какой-то коварный рычажок.

Стрелка манометра, отмечавшего давление в левом баллоне горючего, медленно, но неотвратно ползла вверх. Баллоны с горючим находились в крыльях ракетоплана. Давление в них регулировалось из кабины. Две минуты назад Хлынов заметил повышение давления и спокойно отрегулировал правый сектор. Беда была в том, что регулятор левого баллона не действовал, и давление в нем все повышалось и повышалось.

Увы, на этот раз здесь была не мнимая опасность! Рычажок регулятора легко вертелся туда и сюда, но все его вольты никак не отражались на манометре. Проклятая стрелка, чуть подрагивая, все лезла и лезла по циферблату, медленно приближаясь к роковой красной черте. Хлынова мороз подирал по коже при одной мысли о том, что могло за этим случиться. Стрелка доползет до своей черты. Баллон в крыле бурно взорвется, разворачивая стройное тело ракетоплана. Куча обломков стремительно полетит вниз. И то, что страдало, надеялось, мыслило и желало, — превратится от страшного удара о землю в кровавый кисель.

Неожиданно он вспомнил ту самую минуту, когда на аэродроме устанавливались в крыльях баллоны. Он с ужасом увидел при этом Моложаева, и внезапная догадка обожгла его мозг. Он никак не мог припомнить, какой именно — правый или левый — устанавливал Моложаев баллон, но он был уже совершенно твердо убежден, что дело не обошлось без его руки. Нет, не напрасно, чорт побери, все время возникала перед ним в полете отвратительная физиономия этого благовоспитанного хлыща! И какой же чудовищ-

ный дурак был он, что не заявил кому следует о своих подозрениях прямо, и не постарался устранить Моложаева от подготовки старта!

Хлынов озлобленно повернулся к спутникам и тотчас же встретил понимающий и тревожный взгляд Сажина. Он тоже, конечно, был доверчив тогда, как цесарка, этот философический пентюх, и уж, конечно, ему не пришло в голову проверить, что делал Моложаев у баллона!

— Ну, вот, — не удержался пилот от упрека, — твоя работка! Регулятор левого сектора не действует. Давление лезет на красную черту.

Он почти тотчас же пожалел об упреке, видя, как побледнело и сморщилось лицо Сажина. Инженер смотрел на пилота, словно просящее пощады животное. И в глазах у него отражалась глухая нечеловеческая боль.

— Ну, ну, ну! — с ласковой суровостью поправился Хлынов. — Все глядели, все проморгали! Нужно поправлять!

Ему не надо было долго объясняться с этим человеком. Инженер взглянул на стрелку манометра, потом на свои часы и начал молча отстегивать ремни, которыми все еще был прикреплен к сиденью.

Даже немедленная посадка не могла поправить дела, потому что баллон мог взорваться раньше, чем они достигнут земли. Тот жидкий газ, который был использован ими, как горючее, обладал большим коэффициентом испарения. Единственное спасение заключалось в том, чтобы как можно скорее сделать вылазку из кабины и отрегулировать предохранительный клапан на месте, в секторе левого крыла.

Скафандр и выходная шахта, рассчитанные лишь на самый крайний случай, должны были, как видно, пригодиться. Сажин посмотрел на них, как смотрят азартные шахматисты на собственного ферзя, пуская его в опасную игру. Он не спрашивал, кто должен был делать вылазку, потому что Хлынов не мог покинуть кабину, как водитель, а Марк не знал подробностей баллонного устройства.

Инженер просто вставал со своего места и залезал в сапоги подвешенного в шахте скафандра. По-прежнему под-

ражая кому-то и явно смущаясь этим, он излишне громко проговорил:

— Есть на вылазке, товарищ командир!

И проделав несколько движений в новом своем костюме:

— Ну-ка, помоги, Марк, затянуть мне этот бурнус! Вот так, так! Довольно!

Марк просительно повернулся к Хлынову. Понимая безмолвный вопрос физика, пилот сурово отрезал:

— Да, да! Придется идти Федору! Он знает это лучше тебя, Марк!

Немногие эти слова он произнес сердитой скороговоркой. Он махнул на Сажина рукой, не то прощаясь, не то торопя, и быстро отвернулся.

Инженер как-то мельком, с вороватой поспешностью, окинул взглядом кабину и людей, словно ему было нужно запомнить их навсегда. Он задержался на мгновение на затылке пилота и слабо улыбнулся Марку, как бы извиняясь перед ним. Может быть, он хотел сказать еще одно-два слова, но время, как он сам видел, не ждало, и нервная стрелка манометра неслышно ползла вперед. Инженер поднял над головой блестящий скафандровый шлем.

Хлынов повернул дроссель, сбавляя газ. Стерженек авиаприборовского «поксора» шатнулся и начал спадать вниз. В кабине стоял низкий и мягкий гул, и ярко светило солнце.

В узкой коробке выходной шахты вытянулся невысокий человек, похожий по облачению на водолаза. Сквозь стекла шлема видно было, как шевелятся его бледные губы, и он мимикой и жестами приказывал Марку, чтобы тот задержал за ним гофрированный заслон.

Х

Заслон был закрыт.

Несколько секунд, пока давление в выходной шахте не сравнялось с наружным, Сажин должен был переждать. Те-

ло его свободно облегал облегченного типа скафандр, рассчитанный на кратковременное пребывание в стратосфере. На спине торчал плоский горб, состоящий из кислородного прибора и парашюта. Инженеру было очень неудобно стоять в этом облачении в тесной коробке шахты, и он нетерпеливо поглядывал сквозь стекла шлема на падающую стрелку барометра.

Над головой поблескивал иллюминатор. Сажин видел в нем кусок аспидного неба. Никто, конечно, не мог знать, что ожидало его за люком. Теоретически стратонавты давно предвидели возможность вылазки, и потому не пожелали выделить в кабине место для устройства шахты. Однако каждый из них надеялся, что практической надобности в этом не случится. Мог ли человек выдержать напряжение встречного воздуха при той сумасшедшей скорости, какую развивал ракетоплан? Могли ли спасти человека электрические подогреватели от зверского холода стратосферы? Правда, люк шахты открывался так, что мог быть использован в качестве обтекателя. Но все-таки... не снесет ли его как самую малую пылинку при первой попытке высунуться наружу?

Этого Сажин не знал. Он рассчитывал только на то, что отсек с баллоном находился по соседству с выходным люком.

Он поставил ногу на скобку трапа; установив, что давление выровнялось, и, открыв крышку шахты, полез вверх. Скафандр действовал превосходно, и инженер не чувствовал никакого неудобства в дыхании. Кислородный прибор, помещавшийся у него на спине, давал ему полчаса беспрестанной жизни в пустоте.

Небо над Сажиним темнело, как ночью, и странно было, что, высунув голову из люка, он встретился с нестерпимым сиянием солнца. Оно было страшным, яркое это солнце, блестящее посреди черного неба.

Сажина передернула нервная дрожь. Он ощущал сквозь скафандр упругую силу воздушной струи, что ударила теперь в его тело. Выставив предварительно руку, он с удо-

вольствием установил, что в разреженном воздухе стратосферы, даже при этой чудовищной скорости, встречное сопротивление было разве немногим больше, чем при полете на скоростном самолете вниз. Стало быть, удержаться на поверхности аппарата при большой осторожности было можно. Низко пригибаясь и стараясь использовать обтекатель люка, Сажин начал выбираться наружу.

В сущности, он не выходил, а выползал из шахты, стелясь по поверхности ракетоплана. По сантиметрам вытаскивал он свое тело, стараясь придать ему устойчивое положение.

И пока длилось это медленное вытекание, в глаза его проник незнакомый и страшный мир высоты.

Огромное, почти черное над головой небо, медленно светлея книзу, широко опрокидывалось над воздушной пустыней. Нестерпимо острые лезвия солнца пронизывали ее повсюду. Там, внизу, под аппаратом, лежала снежная облачная пелена, изрытая теньями и отблесками света. Казалось, ракетоплан пересекал полярные края, и внизу вырастали лишь торосы и ледяные горы.

Сажин уже начал понимать, что значит упоминаемый в книгах холод мирового пространства. Леденящие струи воздуха, несмотря на подогреватели, давали себя чувствовать. У инженера стыли руки и ноги, а лютая сила стремилась сорвать его с аппарата и бросить вниз.

Он пожалел, что не снял в шахте парашюта. Скафандр и так мешал свободе движений, а тут еще этот парашютный горб и стягивающие тело лямки. Медленно, сантиметр за сантиметром, выползал он из шахты, неуклюже подбираясь к маленькому лючку баллонного отсека, отделенного от него теперь каким-нибудь метром расстояния.

Несмотря на огромную скорость, ракетоплан казался Сажину неподвижно висящим в пространстве. Однообразная белая пелена внизу не давала возможности установить ни малейшего движения. С неслышным инженеру воем вырывался из сопла светящийся хвост. Голубоватое пламя заметно вибрировало, отмечая ритм действия мотора. За ап-

паратом, уходя в неизвестность, тянулся прямой, как струна, тонкий и дымчатый след. Серебристая птица с низким клекотом мчалась по разреженному пространству, роняя огненные перья. И бег ее был подобен бегу метеора или кометы.

Свистела и обжигала холодом незнаемая стихия высот.

Человек полз по блестящей поверхности машины, судорожно цепляясь за скобы и неровности. На какое-то время он должен был вытянуться среди этого вихря плашмя и просунуть руку в отсек к предохранительному клапану. Этого нельзя было сделать быстро, и человек полз, совершая невероятные усилия, и брал приступом каждый клочок пространства.

Полметра, четверть метра, каких-нибудь двадцать сантиметров — но сажинская рука все еще не доставала до люка. Инженер лежал на животе, уцепившись ногами за крышку шахты, и подтягивался руками ближе и ближе к цели. Его подбрасывало иногда встречным ветром и отрывало от поверхности аппарата, и тогда ему стоило огромного труда удержаться. Вся жизнь его и все помыслы сосредоточились теперь на том маленьком лючке, в котором скрывалась гибель или спасение стратонавтов.

В висках бурно стучала кровь. Почему-то очень сильно першило в горле, и Сажин с трудом удерживался от желания прокашляться, очень несвоевременного в его положении. Временами вдруг точно серая пленка покрывала его мозг, и он переставал на какое-то мгновение отчетливо видеть и понимать. Так бывало с ним раньше, когда он после долгого воздержания затягивался папиросой. Сажин сообразил, что это головокружение, и испугался, что он не сумеет дотянуть до конца.

В это время три раза зажглась и погасла сигнальная лампа в левом крыле ракетоплана. Это значило, как было условлено, что прошло уже три минуты и что инженеру нужно было торопиться. Всего каких-нибудь три-четыре минуты оставалось у него в запасе. Он ясно представил себе состояние тех людей, что сидели сейчас в кабине и виде-

ли, как подбирается дьявольская стрелка к роковой красной черте. Перед ним вставали широко раскрытые глаза Марка и суровое лицо Хлынова. Ведь всего одно движение вот этой стянутой скафандром руки, поворот вентиля, и выражение этих глаз и лица могло совершенно измениться!

Собрав все силы, Сажин еще раз подтянулся на руках. До балонного лючка оставалось меньше десятка сантиметров. Инженер хотел только, чтобы прежде времени не разжались его цепенеющие пальцы. Чувство борьбы и упрямого озлобления охватило его в этой войне со слепым пространством.

Полярный холод визжал и неистовствовал вокруг него. Встречная волна воздуха мертвой хваткой вцепилась в его тело и стремилась смыть с поверхности крыла. Но он полз и полз, преодолевая сантиметр за сантиметром, и все силы его ума и мускулов были собраны теперь в одно емкое, как целая жизнь, желание.

XI

За полетом следила вся страна. Легионы радиолюбителей бессменно стыли у своих приемников, и сотни дикторов дежурили у микрофонов. На улицах, в квартирах, в учреждениях, на заводах, на вокзалах, в трамваях и поездах — везде говорили о стратонавтах. Уже встречаясь на улице или на службе, люди задавали соседям тревожные вопросы. Уже звонили друг другу по телефонам, осведомляясь о новостях. Радиостанция тщетно выщупывала эфир, разыскивая потерянный голос ракетоплавателей.

Напрасно по трассе взлетали самолеты — высокая облачность, начиная с Казани, мешала всем наблюдениям. Контрольные выпелы стратонавтов находили только до Свердловска. Но то, что ракетоплан молчал, еще не значило, что он не слушал. Аккуратно работали по трассе радиомаяки, и областные станции посылали в пространство очередные сообщения.

Наступила пора тревоги и неизвестности. Беспокойство охватывало всесоюзные радио-пути. Из всех городов маршрута летели в Москву смятенные запросы.

На центральной радиостанции у аппарата в молчании сидели люди. Время от времени диктор посылал в пространство позывные, но эфир был глух, как пустыня, и черная пасть репродуктора упрямо и враждебно молчала.

Тяжело висела на окнах и стенах темная бархатная драпировка. Причудливый орнамент пестрел на застеленном коврами полу.

Напряженный Ратнер сидел несколько в стороне, на диване, в окружении консультантов и членов стартовой комиссии.

Рядом с диваном, окутанный дымом пышной своей седины, стоял академик Мамонтов и, с миной скромного недоумения, наклонялся то к одному, то к другому человеку.

— Это печально, — говорил он профессору Ложкину, — но этого надо было ожидать. Зима полна метеорологических капризов. А случайности стратосферных экскурсий известны нам очень мало,

Как и всегда, сонный старик лишь неопределенно помычал ему в ответ.

Мамонтов опустился в кресло рядом с Моложаевым и вполголоса спросил его:

— Что вы насчет всего этого думаете, уважаемый коллега?

Тонкая складочка у сжатых моложаевских губ шевельнула хвостиком. Не то улыбка, не то сожаление мелькнули, как тень, по его лицу.

— К счастью, я ничего не думаю, Сергей Анисимович! — сказал он. — Да и что можно здесь думать?

В позе усталости и изнеможения он вытянулся в кресле и закрыл глаза. Мамонтову, видимо, очень хотелось с кем-нибудь поговорить. Он вышел в курительную комнату и присоединился там к профессору Волженцеву, одиноко сидевшему на подоконнике.

Матовые чаши плафонов, точно чьи-то слепые белки, светились на потолке курилки. Заволакивающий комнату синий табачный туманец напоминал о сумерках.

— Не везет нам с вами, Алексей Григорьевич! — с несоответственной веселостью проговорил Мамонтов — Придется нам, видимо, сменить сегодня тон на более сдержанный...

Он тщательно раскурил папиросу и, пыхнув раз-другой ароматическим дымком, взял Волженцева за пуговицу.

— Ну вы подумайте только! — продолжал он, аппетитно затягиваясь папиросой. — Я ли не предупреждал, я ли не скандалил, я ли не писал?! Ну, и разве я оказался неправ?!

Он откинулся от Волженцева, как бы в испуге, и вместе с ним откинулась седая грива на его голове. Он взирал на собеседника, высоко подняв брови, словно и сам ужасался собственной правоты.

Волженцев слез с подоконника, не очень вежливо отстранив своего коллегу, и, ничего не говоря, направился к двери. Впрочем, он, видимо, тотчас же переменял намерение и на полпути неожиданно повернулся.

— Мне стыдно за вас, дорогой Сергей Анисимович! — глухо вымолвил он. — Люди там борются... страдают, погибают может... а вы тут себя восхваляете...

И только тут Мамонтов вдруг увидел, что губы Волженцева дрожат, а в глазах стоят скупые гневные слезы.



Человек родился...

Нина лежала на койке в родильной палате, и акушерка что-то делала над нею, ловко и неслышно шевеля руками. До груди Нина прикрыта была простыней. Живот ее и согнутые колени, точно чудовищные горбы, выпячивались из-под белого полотна. Ей казалось, что внутренности ее распиливают надвое, и дикая нечеловеческая боль разрывала на куски все ее мускулы.

Что-то медленно пробивалось через ее тело наружу. Каждая новая секунда приносила ей нестерпимые мучения. Лицо ее багровело и даже синело от натуги. Трудно было узнать в этой маске физиономию миловидной Нины. Она металась по подушке и яростно закусывала губы. Пальцы ее судорожно вцеплялись в привязанные к койке лямки. Она кричала, стонала, рыдала, издавала звериные рыки. И акушерка, руки которой продолжали неслышную работу, сочувственно и ласково ее увещевала:

— Ну, потерпите, милая, потерпите! Ну, еще немножечко! Ну, покричите, покричите: так легче будет!

Каннибальская боль внезапно стихла. Наступил короткий блаженный покой, разом уничтожавший все страдания. У Нины возникало такое ощущение, точно она есть в одно и то же время и «она» и не «она». Существо ее как бы раздваивалось. Одно, памятуя мучения, мысленно еще извивалось, кричало, тужилось и изнемогало; другое же блаженно лежало на койке и чувствовало во всем теле счастливый покой.

Стыдясь недавних своих криков, робея и неловко улыбаясь, Нина умоляюще взглянула на акушерку и спросила:

— Скоро ли, милая Глафира Петровна? Мне кажется, я не выдержу и умру! Ей-богу, умру!..

— Ничего, не умрете, — отвечала акушерка. — Все так говорят, а рожают за милую душу! Скоро, милая, скоро! Еще немножечко!

В короткую минуту покоя Нина любила эту рыхлую добрую женщину. Она видела открытые белые локти, пухлое ласковое лицо и белоснежный халат акушерки. Может быть, оттого, что акушерка постоянно участвовала в обновлении жизни, от всей ее фигуры веяло необыкновенной свежестью и чистотой. Нина очень охотно отдавалась мягким ее рукам, и с почти суеверным благоговением следила за каждым ее жестом.

— Я так малодушна, что самой стыдно, — говорила она, — вы надо мной не смейтесь, Глафира Петровна!..

Акушерка подняла брови и сделала испуганное лицо.

— Что вы, что вы, милочка! — сказала она. — Да другие и не так еще кричат! Это уж в женском деле полагается. Когда я рожала, так орала, как поросенок, за милую душу!

Нина представила себе эту солидную женщину в своем положении и почему-то не поверила ей.

— Нет, это у меня характер портится! — с искренним сокрушением вздохнула она. — Раньше я как-то была покрепче и поупрямей!

— Так вы бы у мужа характера-то заняли! Летчики, говорят, народ твердый. Уж, наверно, не пожалел бы для вас?

Нина хотела ответить, но новый приступ боли вдруг стиснул ей горло, и у нее вместо слов вырвался короткий мучительный стон. Свет уходил из ее глаз, и она погружалась в жуткую мутную бездну, полную боли и звериного крика. Что-то рвануло, как ей показалось, ударило и разрубило ее пополам. Вслед за тем наступила внезапная тишина, и в животе у Нины стало легко и безболжно.

В руках акушерки шевелился какой-то розовый комок, и Нина не сразу сообразила, что это вот и есть ее ребенок. Акушерка шлепала по тельцу ребенка увесистой своей ладонью, и Нина испуганно протянула к ней руки. Раздался тонкий крик, потрясший Нину сильнее взрыва. Та же сильная ладонь ловко вскинула ребенка, как пойманную рыбу, и потащила его куда-то в угол.

— Ну вот и все! — весело прокричала акушерка. — Улов мы с вами неплохой подцепили!

Она оглянулась на Нину, что-то делая над ребенком, и, как бы снисходя к молчаливой ее просьбе, сказала:

— Мальчик, мальчик! Как по заказу!

И перед Ниной появился, наконец, завернутый в простынку комок, который уже имел лицо и голос человека.

ХII

В положенный час Рп-1 в конечный пункт своего маршрута не прилетел. Несмотря на тщательные розыски, никаких сведений о нем ни ночью, ни во весь следующий день

не поступало. Отправленные на поиски самолеты ничего не могли открыть. На большом протяжении трассы случился сильный снегопад, и ракетоплан, если б он потерпел аварию, все равно был бы занесен снегом. Таким образом, стратонавты бесследно исчезли, словно испарились в пустотах стратосферы. После свердловских выпелов никаких признаков полета не обнаруживалось. И в ЦС кто-то уже высказал предположение, что аппарат стал жертвой столкновения с болидом.

Поздно вечером следующего дня профессор Волженцев возвратился домой из Центрального совета. Не раздеваясь, прямо в пальто, он прошел в гостиную, где сидела Анна, и тяжело опустился на первый попавшийся стул.

— Что такое, папа? — бросилась к нему девушка. — Что-нибудь случилось?

В следующую секунду вероятная догадка вдруг стиснула ей голову, и Анна схватила отцовскую руку

— Что-нибудь с ними... с Марком? Да говори же скорее!

Узластая рука Волженцева, покрытая синеватыми венами, бессильно упала на колено, как только девушка ее выпустила.

— Сажина нашли, — сказал он тихо. — Мертвого, конечно, В скафандре. По-видимому, выбросился во время аварии.

Анна почувствовала, как задрожали у нее ноги, и села рядом с отцом.

— Сажина? — зачем-то переспросила она. — Почему Сажина?

Не произнося больше ни слова и ощущая только мерзкий холодок, поднимавшийся от ее колен к сердцу, она слушала известные Волженцеву подробности.

Тело Сажина было подобрано колхозниками села «Красные теши», почти на самой середине маршрута. Как извещала только что полученная в ЦС телеграмма, инженер был найден в скафандре, с распущенным, но разорванным парашютом. По-видимому, с ракетопланом произошло какое-то несчастье. Неизвестно, почему это выпало на долю

Сажина, но именно он выбросился из аппарата в скафандре. Парашют, вероятно, раскрылся слишком поздно, и материя не выдержала колоссальной скорости падения. Так как в ракетоплане был только один скафандр, то судьба других спутников инженера, надо полагать, была еще печальней.

Анна не помнила, что говорил отец еще. Она очнулась только спустя несколько минут. Лицо, волосы и грудь ее были почему-то мокрыми. В голове стоял странный гул, а в глазах прыгали светлые точки. Отец и домработница с кувшином воды в руках возились рядом. Все еще не раздевшийся Волженцев стоял на коленях и, сжимая холодные ладони Анны, быстро-быстро бормотал:

— Анна, Аннушка, Анюля! Что с тобой, моя милая девочка?.. Ну и балбес же я старей! Ну и дубина!..

Он пытался приподнять Анну, чтобы перенести ее на диван. Девушка ласково, но решительно отстранила его и провела рукой по лбу.

— Ничего, папа! — выговорила она не сразу. — Я сейчас...

Она поднялась на ноги и, жалко улыбнувшись, пошла к себе в комнату. Она уверяла, что чувствует себя вполне хорошо, и упростила отца оставить ее одну. И только войдя к себе и плотно прикрыв дверь, она бросилась лицом в подушку дивана, чтобы заглушить подступившие к горлу рыдания.



Вся эта ночь была нескончаемой, как вечность,

Анна лежала на диване, зябко кутаясь в плед. Ее очень раздражала ярко горевшая лампа, но не было силы встать и потушить этот холодный пронзительный свет. В гостиной слышался голос домработницы, убеждавшей отца поужинать. Потом начали греметь стулья. Домработница ходила по гостиной, что-то вполголоса бормотала и переставляла вещи. У доброй этой женщины не было, быть может, повода особенно огорчаться, но Анна уже негодовала на нее и при-

слушивалась к шуму почти со злобой. В конце концов, она не выдержала и крикнула в дверь:

— Да скоро ли вы там кончите, Маша?!

Стук стульев и звяканье посуды умолкли, но со стороны отцовской комнаты долго еще раздавались какие-то монотонные звуки.

Отец, видимо, ходил по кабинету из угла в угол. Пять шагов в одну сторону, пять шагов в другую. Это напоминало однообразное топтанье зверей в клетках зоологического сада. Шаги отца гулко отдавались и в ушах, и во всем теле Анны, словно там двигался не человек, а слон или трамвай. Но вот, наконец, и эти звуки постепенно заглохли, и девушка не могла уже теперь не слышать своих мыслей.

Они надвигались на нее ордами, полчищами, легионами, Подобно галлюцинанту, Анна лежала на диване, закрыв лицо руками, и точно защищалась этим от нашествия грозных видений.

Ей чудилось разбитое человеческое тело, лежавшее в смерзшемся снегу. Она видела детские губы Марка, подернутые мертвенной синевой. Занесенный сугробами, изуродованный страшным ударом, он лежал теперь, быть может, недвижно раскинув руки, и тонкая ледяная пленка заволакивала его незакрывшиеся глаза.

Она вспомнила его таким, каким был он в последний вечер. Стоя одной ногой на подножке машины, он протягивал ей руку и улыбался своей милой неуклюжей улыбкой. Она чувствовала еще его прощальное рукопожатье, и возбужденный голос кричал ей откуда-то из ночной мглы:

— До скорого свидания, Анна!

И тут же рядом возникали в ее памяти выбритые скулы Моложаева, и она почти ощущала, как грубая его ладонь больно сжимала ей локоть.

Анна вскочила со своего ложа и начала ходить по настиленному на пол ковру. Ей казалось, что в комнате очень холодно, и она все плотнее куталась в свой плед.

Ведь он, кажется, что-то сказал ей там, на аэродроме? «Мало полететь, нужно еще...» Что еще нужно? Что он хо-

тел еще сказать? Моложаевские слова загорелись в мозгу, словно начертанные огненным росчерком, и Анна почти застонала, судорожно сцепив пальцы.

Да, мало было полететь, нужно еще возвратиться. Видимо, именно это хотел сказать Моложаев.

И как могла она шутить до сих пор со всеми этими вещами? Как можно было так легкомысленно относиться к угрозам этого человека? Почему не рассказала она о его намеках Марку? И не причастна ли она, в конце концов, ко всему, что теперь произошло? И не вправе ли всякий честный человек считать ее виновницей катастрофы?

Анна остановилась у окна, цепenea от собственных мыслей. Знакомый гнусный холодок опять покатился от ее колен к сердцу. Стараясь овладеть собой, девушка оперлась на подоконник и прижалась виском к холодному косяку.

Чтобы не беспокоить отца и домработницу, она потушила огонь. Комната освещалась теперь только падавшим с воли светом. Через сад и через решетку палисадника Анна видела оголенную ночную улицу и матовые кляксы фонарей. Временами проскальзывали мимо ее глаз продолговатая тень авто или фигура запоздалого прохожего, неясная и туманная, точно призрак. Ночной мир был пустынен и страшен, как древний плутоновский ад, и Анна ничего не слышала в нем, кроме зубовного скрежета собственной боли.

Перед мысленным взором ее проходили толпы живых участников того дела, которому служили утерянные ею люди.

Они взрывали земные пласты, исследовали и порабощали недра. Они кроили поверхность планеты, как штуку сукна, расчерчивая ее тысячами новых магистралей. Они двигали чудесные города, бороздили моря и побеждали воздушные пространства. И как мелка была перед этим потоком щедрости и силы собственная ее жизнь, полная скупых оглядок и самолюбивого отчуждения!

Она представила себе того, другого, спокойного, довольного, надевшего на себя личину дружбы и втайне под-

готовлявшего предательство. Как и всегда, он учтиво улыбался и шел по житейской дорожке, расталкивая встречных локтями. Он сидел за общим столом и потихоньку поплеывал в тарелки соседей. И как же можно было не раздавить эту человеческую гадину одним движением, одним ударом, как давят мокриц или клопов!

Анна хрустнула пальцами, вкладывая в движение всю свою ненависть и гнев.

Надо полагать, он торжествовал сейчас и готовился пожинать плоды своих стараний. Он шептался уже, вероятно, с нужными людьми, намекая на свою проницательность и дальновилность. И никто, конечно, не видел в скромно опущенных глазах огонька торжества и злорадства.

Во рту Анны пересохло. Налив из графина воду, она залпом выпила целый стакан.

Да, да! Нужно пойти и рассказать! Рассказать обо всем: о каждом слове, о каждом намеке, о каждом изменении интонации! И вот тогда-то можно будет взглянуть, как вытянется физиономия этого человека и как в самодовольных его зрачках мелькнет тень трусости и беспокойства!

Анна села, пораженная простотой своего вывода. Что-то вроде мстительной радости толкнулось у ней в груди. Она ясно вообразила здание, комнату, людей, к которым она придет, и ей вдруг... стало страшно.

Этакая трусливенькая, отдаленная и неясная еще, но колючая боязнь за себя вдруг шевельнулась в ней и больно ущипнула сердце.

Она очень ясно понимала, что может за всем этим последовать. Ну, конечно, ее выслушают, учтут, что-то предпримут. Все может оказаться даже хуже ее предположений. Но ведь, в конце концов, вероятно, спросят и ее.

— А почему, — скажут ей, — вы сообщаете нам об этом так поздно? Может быть, вы хотели, так сказать, полюбопытствовать подробностями этой истории? Чем можете вы доказать, что вы не соучастница этого человека?

И в самом деле! Что ответит она, чем оправдается, что возразит на такой естественный вопрос?

Анна встряхнула головой, как бы отгоняя эту опасливую мысль. Роговая гребенка вылетела у нее из волос и, упав на пол, высоко, точно мяч, подскочила.

Увы, ей уже ничем нельзя оправдать своего молчания. Она никогда уже не сможет смотреть прямо в глаза людей. Да и скажет она или не скажет, поверят ей или не поверят, это все равно уже не воскресит тех, кто умер. Нет, нет! Все, что угодно, но только не мука самооплевания, только не стыд запоздалых признаний!

Гребенка, которую Анна поймала и теребила в руках, вдруг слабо треснула и сломалась. Красивая, тонко выделанная вещь разлетелась сразу на несколько кусков. Из глаз девушки капали слезы, и она неподвижно смотрела на розовые обломки, валявшиеся на ее освещенных коленях.

Да, все на свете очень хрупко! И вещи, и люди. Одни немного раньше, другие немного позже, но все исчезают из жизни, когда приходит срок.

И, может быть, только неизбежность этой всеобщей казни и извиняет перед мертвыми оставшихся в живых.

Анна почему-то очень ярко вспомнила ту ночь, когда ее вызвали к матери в больницу. Как и тогда, она видела перед собой оскаленное лицо и буроватую струйку, стекавшую с мертвых губ. Ведь может же вот и она сама лежать когда-нибудь недвижно, как камень, и грязная жижа будет стекать из ее раскрытого рта.

Дрожь отвращения вдруг передернула плечи Анны. Она бросилась ничком на диван. Уличный фонарь освещал теперь ее дрожавшую спину.

Слезы были обильны и горьки, но они не освобождали ни от дум, ни от муки.

ХІІІ

Самолет из области прилетел к селу рано утром.

Прокурор в сопровождении экспертов выпрыгнул из кабины на снег и хмуро оглядел собравшуюся толпу. Седые усы его шевелились, губы подрагивали, словно он не мог сразу раскрыть рта.

— Где тело? — глухо спросил он наконец колхозного председателя. — Сведите нас, пожалуйста, поскорее!

И прибывшие вместе с толпой двинулись в глубину поля.

Тело погибшего стратонавта было оставлено до прибытия комиссии на том же самом месте, где обнаружили его накануне возвращавшиеся из лесу колхозники.

— Только наш врач немножко потревожил его, — сообщил председатель, — но где уж там: почитай все кости переломаны, а одного глаза и совсем нету.

Прокурор посмотрел на председателя как-то очень странно, словно именно его и считал в этом виновным. Какая-то спазматическая гримаса стянула его лицо, и он резко прибавил шагу.

По занесенному снегом полю идти было нелегко. Ноги то и дело проваливались в сугробы. Седоусый прокурор бежал впереди всех, и долговязый председатель едва за ним поспевал.

Начинался легкий снегопад, и даль заволакивало белой сеткой. На месте падения стратонавта горели костры. Охранявшие труп колхозники грелись около костров и похлопывали рукавицами. Тело лежало в снегу, покрытое брезентом. И вокруг него поле было вытоптано сотнями ног.

Прокурор остановился у брезента, трудно и со свистом дыша. Председатель хотел было откинуть покрывало, но старик схватил его за руку и довольно невежливо оттолкнул.

— Сам, сам открою! — с непонятным гневом закричал он. Председатель удивленно приподнял плечи и оглянулся на сопровождавших прокурора экспертов. Один из них, в летной форме, наклонился к председателю и тихо шепнул:

— Вы не сердитесь, товарищ! У него сын... сын в полете-то участвует.

И для вящего внушения он приложил палец к губам.

Прокурор опустился на колени и медленно отвернул смерзшуюся материю. То, что лежало здесь, нелегко было распознать. Какой-то серый мешок, окрашенный кровью,

разорванный, скомканный, смятый, бесформенно лежал на снегу. На трупе был надет скафандр, но, очевидно, врач снял уже с него шлем, и прокурору видно было разбитое, вдавленное в плечи лицо, с раздробленным виском и вытекшим глазом. Другой, хорошо сохранившийся глаз задумчиво смотрел в небо, и падающие снежинки не таяли на нем.

Прокурор, точно слепой, ощупывал лицо трупа руками. Стоявшие вокруг люди видели, как все быстрее и быстрее шевелились седые прокурорские усы, и как все ниже и ниже отваливался дрожавший его подбородок. Точно сердясь на себя, прокурор вдруг дернул головой и пристально посмотрел в лежавшее перед ним месиво.

— Это Сажин! — выдохнул он, наконец, повертываясь к эксперту в летной форме. — Вы не ошиблись, товарищ Махотин, в своих предположениях.

Очень ярко горели почти не дымившие костры. Сухие смолистые ветки трещали, выбрасывая фонтаны искр. Прокурор сердито смотрел в сторону, и на щеке у него дрожал красноватый отблеск огня.



Несколько часов спустя у здания краснотешинского сельсовета собралась большая толпа колхозников.

— Гляди, всю округу теперь изрыли! — сообщала кому-то бойкая бабенка, окутанная пестрой шалью. — Каждый кустик ошарили, каждый бугорок повзрывали. Поле-то словно вспахано. Говорят, остальные-то полетчики где-нибудь поблизости упали... Так и не нашли пока никого, кроме этого...

Бабенка кивнула головой на сельсовет и посмотрела на стоявшего рядом колхозника в меховом малахае.

— Где ж тут найти, — угрюмо поддержал тот, — снегу-то за ночь на два аршина нанесло. Всей земли не оползаешь, хоть товарищи-то из области и башковитые приехали.

— Особо старичок-то этот, с усами! — сказала бабенка. — Бают, какой-то прокурор, что ли, из центру. Сам с лопатой весь день лазил.

Прислушивавшаяся к разговору старуха в дубленом полушубке сердобольно вздохнула при этом и подперла кулаком щеку.

— И что это людям по земле не ходится? — с искреннейшим недоумением спросила она. — Все, видишь ты, в поднебесье-то забраться норовят. Вот и долетались!

Колхозник в малахае свирепо скосил на старуху глаза.

— Ну, ну! — прорычал он. — Тебя не спросили! То-то бы жизнь пошла, кабы всем на печи лежать да по старушечьим побаскам все делать!

В это время толпа зашевелилась и зашумела сильнее.

С крыльца сельсовета сбежали люди, расчищая дорогу к саям. Тяжелое изделие местного столяра, увитый хвоей и обитый красной материей гроб несли шестеро колхозников с обнаженными головами,

— И, милый ты мой! — запричитала бабенка в пестрой шали. — Молодой еще совсем: почитай, и сорока-то годков ему нету. Красивый ты мой! Живой совсем, как на картине! Только головушка проломана.

Гроб между тем поставили на сани. На крыльцо вышли из сельсовета прилетевшие из области товарищи, и среди них старик-прокурор.

Пощипывая нависшие усы, он задержался на лестнице и тревожно оглядел толпу.

— Товарищи колхозники! — негромко сказал он. Толпа постепенно затихла, и прокурор опустил голову.

— Товарищи колхозники и колхозницы! Мне не надо вам говорить, что трудящиеся массы живут в нашей стране одним делом и одними мыслями. И тот, кто пашет, и тот, кто работает на заводе, и тот, кто изобретает новые машины и летает на них в небе — все у нас связаны общей целью и общим желанием. Тяжело, ох, как тяжело, терять близких людей, но лучший способ по-настоящему почтить их память у нас только один. Дело наше трудно, цель наша велика.

Могут быть у нас и неудачи и трудности. Но нужно нам... нужно вот, как эти люди, честно жить, хорошо работать и, если надо, не страшиться умирать! Конечно, нелегко иногда переносить несчастье. Хочется иногда человеку и пожаловаться, и поплакать... ничего дурного в том нет.. Но нам нужно помнить, что лучше всего мы справимся с горем своей работой. Будем, товарищи, продолжать работать... чтобы поубавить на земле горя, а по возможности, и уничтожить его совсем!

Прокурор, как-то глухо крикнув, сбежал с лесенки и махнул шапкой. Сани с гробом тронулись по селу туда, где ждал их готовый к отлету самолет.

— Кремень старичок! — говорил, идя за гробом, колхозник в малахае. — Из такого слезу не скоро выжмешь!

А парень с розовым лицом пригнулся к его уху и возбужденно произнес:

— Большевичок, дядя Федор! Большевичок, говорят, — с девяноста восьмого году!

XIV

Со странным чувством одеревенелости Анна целое утро бродила по комнатам особняка. Она то подолгу сидела у стола, подперев голову руками, то зачем-то перебирала валившиеся на рояле ноты, то, стоя у окна, смотрела на занесенный снегом двор. Слез больше не было. И в ней самой, и во всем мире была только огромная, страшная пустота. У Анны было такое ощущение, что ни ее, ни мира уже не существует. Хоть это было и дико, но ей казалось, что она, как дух, могла бы сейчас проходить сквозь вещи.

На улице лязгали и дребезжали трамваи. В гостиной громко тикали часы. На диване лежал отцовский пиджак, все еще сохранявший форму его плеч. Все было, как вчера, как год назад и как будет, вероятно, десятки лет вперед. Жизнь шла своим путем, оставляя позади лишь пыль да пепел. На все перед ней происходившее Анна смотрела теперь глазами школьника, которого неожиданно исключили из

списков. Все это было, дом, суета, звуки, — но все это не имело к ней отношения, шло стороной и представлялось далеким, точно жизнь на другой планете.

Зазвонил телефон, и Анна машинально взяла трубку. Некоторое время она никак не могла осмыслить той короткой фразы, которая звучала в ее ушах.

— Какое несчастье, Анна! — неся откуда-то слалковатый, приторный голос. — Вы, конечно, обо всем уже знаете?

Анна молчала, еще не уразумев вопроса.

— Нам нужно теперь уже перестать ссориться, — многозначительно прогремело в телефоне. — Раньше ведь нас объединяла лишь общая склонность к философии, теперь же... Нам теперь невыгодно ссориться, дорогая Анна!

Анна осмыслила, наконец, что ей говорили, и узнала моложаевский голос. Она бросила трубку, не отвечая, точно в руку ее ударил ток. Он, кажется, осмеливался намекать ей на что-то или даже угрожать, этот гнусный человек! Ведь она, в самом деле, была теперь связана с ним теми двусмысленными разговорами!

Телефон через минуту зазвонил снова, но Анна уже не подходила к нему, словно этот шумный механизм мог ужалить ее или укусить. И имя, и лицо того человека она хотела бы забыть. Ее передергивало от отвращения к самой себе.

В два часа пришел доктор Решетов, и Анна, как уже они условились утром, начала собираться, чтобы поехать в клинику к Нине.

Решетов был непривычно тих и мрачен, и вместо сочно-го баска говорил каким-то шершавым шепотом.

— Это наша святая обязанность! — без нужды уверял он Анну. — Женщина, знаете, на особом положении находится. Сынишку только что на свет произвела. Надо ей сообщить обо всем как-нибудь поделикатнее, подготовить надо.

Он смотрел на девушку исподлобья, точно ожидал упрёков или возражений. Под глазом у него дергалась и дрожала какая-то жилка.

— Ах, друзья, друзья! — вздыхал он в пространство. — Ну, где теперь прикажете таких снова взять?

Он вытащил трубку и кисет и, не спросив, вопреки обыкновению, согласия, окутал себя облаком зеленоватого дыма.

В прихожей нервически заверещал звонок. Спустя минуту какое-то бурное существо ворвалось в комнату и бросилось к Анне на грудь.

— Анна, милая Анна! Ну, что мне теперь делать! Ну как я могу все это пережить!

Цепкое и крикливое существо громко зарыдало, повиснув у Анны на шее.

— Я умру! Я не могу жить! Я не могу терзаться! Убейте меня, дайте мне что-нибудь!

Женщина в котиковом манто, похожая на большую черную кошку, жалобно вскрикнула и повалилась на бок. Анна не сразу узнала в ней жену Сажина. По-видимому, ее известили о катастрофе телеграммой, и она приехала в Москву с курьерским.

Решетов очень кстати подхватил ее под руки и усадил на стул.

— Ну, полно, полно! — бормотал он, немножко растерянный. — Ну, не нужно так отчаиваться!

Женщина плакала, смеялась и ломала себе руки.

— Как я буду жить одна! Я ничего не могу и не умею! Меня в машинистки только, в машинистки!..

Через несколько минут, уже раздетая и укутанная пледом, она лежала на диване, беспомощно откинув голову. Решетов хлопотал над нею и уговаривал успокоиться. Как бы приходя в себя, женщина обводила комнату непонимающим взглядом и по-детски спрашивала:

— Где я? Я боюсь!

Она хватала Решетова за рукава и молила его:

— Спасите меня, доктор! Спасите меня! Я не могу за себя поручиться! Я не вынесу этого! Я умру!

Светлые ее волосы картинно рассыпались по подушке. Она металась, принимая множество скорбных поз.

Анна стояла рядом почти безучастно. Ей почему-то казался оскорбительным весь тот шум, который принесла с

собой жена Сажина. И в слезах этой женщины, и в отчаянии, даже в жестах, какие она делала, заламывая ладони, было что-то напоминавшее плохих провинциальных актрис. Горе было здесь слишком шумным и нестыдливым, чтобы ему можно было слепо доверять. Женщина плакала, кричала, ежеминутно впадала в обморок и, вместе с тем, не забывала кокетливо оправлять платье и придавать лицу выражение живописной скорби. Анне было немножко стыдно этого чувства, но она смотрела на гостью почти с неприязнью. «Неужели я могу быть такой?» — с отвращением думала она.

Спустя полчаса жена Сажина затихла и благополучно заснула. Оставив ее на попечении домработницы и возвратившегося из института отца, Анна с Решетовым уехали в клинику.



В небольшую комнату, где помещалась Нина, они вошли одетыми в белые халаты и, погромыхав табуретами, поспешили сесть.

Нина кормила ребенка.

Опершись спиной на грудь подушек, она полусидела на койке. Анне показалось странным, что при виде посетитель на сосредоточенном лице Нины не появилось и тени удивления. Впрочем, это ведь было, пожалуй, очень естественным, что знакомые приходили поздравить ее с сыном.

Маленький комочек красного мяса тихо лежал у тугой и напряженной женской груди. Он морщил временами личико и блаженно почмокивал, вытягивая из соска теплую струю. Нина, точно естествоиспытатель, смотрела на ребенка строго, изучающе и ревниво.

— Вот, пришли к вам! — с некоторым замешательством промолвил Решетов.

Почувствовав, что немножко перемахнул в беспечности тона, Решетов вопросительно оглянулся на Анну.

Нина молча кивнула головой.

Было что-то в ее внешности торжественное, когда она кормила ребенка. Не то сознание материнского торжества, не то тайная работа раздумья делали каждый ее жест медленным, осторожным и мыслящим.

Видя, что помощь не приходит, Решетов раз-другой кашлянул.

— Ну, как сын?. Сколько фунтов?..

Он решительно не мог найти нужного тона.

— Хе, хе, хе! Ишь ты, пузырь какой! Надулся!

Он потянул руку и тихонечко отвернул край детского одеяльца. Ребенок, видимо, уже насытился и отпал от груди, сладко и ровно дыша. Он еще шевелил во сне губками и делал сосательные движения, но на крохотное его личико наплывала уже счастливая безмятежность.

Нина спокойно перечисляла подробности события: как сосет, сколько весит, как решено назвать. Она почему-то очень грустно смотрела на тощую фигуру Решетова, ерзавшего на табурете, и неопределенно щурилась на Анну. Вопросы она не задавала, и гостям приходилось выкручиваться самим.

Немного помолчали.

— Ну, как вам здесь?— спросил Решетов, все еще не решаясь перейти к роковой теме.— Довольны клиникой?... Чувствуете себя хорошо?

Он выбросил эти слова отрывисто и сурово, словно злобствовал на себя за недостаток смелости.

Нина приподняла спящего ребенка и передала его вошедшей в палату няне.

— Спит! — сказала она.— Можете отнести. Следующий раз принесите полпятаго.

Разговор получался совсем не о том, и совсем не такой, как было нужно. Анне было мучительно жалко Решетова, терявшегося перед необходимостью стать вестником чужого несчастья. Но ее изумляла также и женщина, лежавшая на койке.

— Вы нас простите, Нина Николаевна, — выдавил из себя Решетов. — Нам тяжело, знаете... но мы пришли... Вам

только не надо волноваться, надо быть твердой... Всякое, знаете, бывает...

Он, видимо, искренне хотел сдвинуться с мертвой точки, но смысл ускользал из его речи все больше и больше. Он петлил и кружил около темы, точно птица у ловчей приманки, не решаясь ни приблизиться, ни удалиться. В конце концов, так и не сказав ничего, он затих.

Маленькая женщина, лежавшая на кровати, ждала продолжения с печальным вниманием.

Она вдруг зашевелилась на койке и, придвинувшись к Решетову, тронула его за полу халата.

— Да вы говорите, не бойтесь! — тихо сказала она. — Я все равно все знаю.

Анна и Решетов смотрели на Нину с молчаливым страхом. Вот с этой-то стороны они уже никак не предвидели подмоги! И как бы отвечая на их удивленные взгляды, разом уничтожая напряжение и все приводя в ясность, маленькая женщина чуть слышно заключила:

— Здесь радио!

Только сейчас гости заметили висевшие на койке наушники. Глаза Решетова были влажны и туманны. Он, очевидно, стеснялся этого и все старался отвернуться в сторону. Потом он вдруг склонился к Нине и, ничего не говоря, почтительно поцеловал ее бледные пальцы.

XV

В пять часов по поводу событий было назначено собрание в ЦС. Времени оставалось мало, и Анне не стоило возвращаться домой. Из клиники она только заехала в консерваторию и прошла за чем-то по знакомым коридорам.

Молодежь обоего пола кучками и порознь непрерывно сновала здесь по многочисленным лестницам и переходам. Какой-то юноша в вельветовой куртке вдохновенно набежал на Анну, чуть не свалив ее с ног. Прошла мимо, почти проплыла по воздуху, девушка с лицом, озаренным молодостью

и счастьем. Из учебных комнат доносились звуки инструментов. Привычный и близкий шум отдавался в Анне с болью, и она шла по консерватории так, как если бы прощалась с ней навсегда.

На стенах висели афиши, много афиш. Большие и маленькие, черные цветные буквы пестрели и прыгали в глазах Анны. В декадном анонсе музыкального бюллетеня сообщалось и об ее концерте, но девушка лишь мельком глянула на текст объявления. Теперь все это казалось уже ненужным и лишеным смысла. Чувство внутреннего смещения, то решимости, то отчаяния, ни на минуту не покидало Анну. И только иногда приходившая мысль о той, оставшейся на клинической койке, женщине странным образом и пристыживала и приободряла ее.

Собрание уже началось, когда Анна пришла в ЦС. Вместительный конференцзал был плотно забит людьми. Сидели на скамьях, на подоконниках и на коридорных диванах. Стояли в проходах, в дверях и вокруг возвышения трибуны. Атмосфера напряженности и волнения господствовала в этой каменной коробке, согретой дыханием сотни грудей. Было тихо, тревожно и жарко. И только голос Ратнера да черное пламя его ассирийской гривы метались над председательским столом.

Анна осталась стоять, как вошла, у двери. Ноги у нее дрожали. Какая-то гнусенькая слабость, почти дурнота, разливалась по телу. Она с удовольствием бы села, но среди поглощенных вниманием слушателей не нашлось ни одного галантного человека, который уступил бы ей стул.

— ...и как ни грустно это сделать, — говорил председатель ЦС — но мы должны быть готовы к худшему. Аппарат еще не разыскан, но все подробности гибели Сажина свидетельствуют, что с ракетопланом произошла катастрофа. Стратонавты должны были, по-видимому, выбрасываться из кабины на большой высоте... но скафандр, к сожалению, был у них один, и другим участникам полета оставалось еще меньше шансов на спасение. Нам, большевикам, не приличествует закрывать глаза перед опасностью. Поиски

продолжаются, но мы не должны утешаться розовыми предположениями...

Он еще что-то говорил, мучительно морщась и встряхивая головой, но Анна уже плохо слушала его. Значит, смерть, гибель, уничтожение! Значит, вечные самоупреки, сомнения, раздумья! Значит, нет больше ни покоя, ни радости, а есть только неустанные терзания и скрытные мысли о своей вине!

Нервный озноб прокатился по спине Анны. Чтобы устоять на ногах, она прислонилась к стене. Огромного усилия воли стоило ей не разрыдаться. Хоть первое известие и было страшно, но где-то в глубине у Анны все еще сохранялся проблеск надежды. Трезвые слова Ратнера угашали и этот слабый огонек. В мире воцарялся холод, и жизнь превращалась в пустыню.

Анна в самом деле зябла, и все куталась в пуховый свой шарф. Она старалась не смотреть на соседей. Ей чудилось, что в какой-то момент все эти люди вдруг повернутся к ней, и сотни глаз пронижут ее тело, и сотни пальцев протянутся в ее сторону. Она уже видела эти непрощающие глаза. Судорога удушья подкатывалась к ее горлу.

На трибуну входил ее отец и торопливым жестом проводил по лбу и по бороде.

— Вы меня простите, товарищи! — сказал он не сразу. — Человек я старый, и скажу о том, что чувствую, быть может, не совсем ладно... Да уж что с меня взять, что думаю, то и выложу перед вами. Слишком легко мы, товарищи, судим иногда о чужих неудачах и слишком благосклонно относимся к собственным оплошностям. Мне вот тут довелось до собрания кое-что услышать. Я не буду называть имена, но скажу, что так относиться друг к другу в нашей стране нельзя.

Волженцев немного помолчал, комкая в кулаке сивую свою бородищу.

— Люди, о которых мы сегодня говорим, — продолжал он, — это люди настоящие... подлинные. Они сделали все, что могли, что знали и что умели. Благодаря им, что бы там

ни говорили, ракетный полет в стратосфере стал таким же неоспоримым фактом, как и случившийся некогда перелет через Ламанш. В нашей войне с природой, товарищи, неизбежны жертвы... Мне думается, больше мужества и ума нужно иметь тому человеку, который делает первый, пусть не вполне удачный, шаг, чем тому, кто уже побеждает готовым оружием. Наша страна — это страна пионеров... не только, конечно, в том смысле, что у нас пионерам дворцы строят! Мы должны быть пионерами в быту, в общественной жизни, в социальных своих устремлениях, в науке, в искусстве, в технике. И потому вот мы должны научиться ценить в своих товарищах чувство мужественной готовности принять на себя всю тяжесть и неудобства первой стычки и первого боя. Вы меня не судите, товарищи! У нас, мне думается, в виду всего случившегося может быть только один вывод... Я вот прошу Центральный совет, чтобы меня зачислили в качестве физика в команду для полета на Рп-2. И вы не думайте, пожалуйста...

Он посмотрел на стол президиума.

— И вы не думайте, пожалуйста, что я стар. Я крепкий, живучий... и я сделаю все, как должно.

Анна наблюдала за своим стариканом с нежностью и печалью. Он сошел с возвышения и развалистой походкой направился к своему стулу. Глаза сидевших в зале людей почти все упирались теперь в эту чуть сторбленную, но прочную спину. Анна могла бы радоваться и гордиться своим отцом, если бы не это гнетущее ее отчаяние.

Над темным дубом трибунной колонки, между тем, поднимались уже прямоугольные плечи Моложаева. Приличествующая случаю мина расплывалась по его скользкому лику. Тоном грусти и сожаления он тоже заговорил о необыкновенных качествах тех людей, судьба которых обсуждалась уважаемым собранием.

Он не жалел ни жара, ни похвал, и можно было подумать, что вот он-то и был самым близким сторонником пропавших стратонавтов. Со скромным убеждением в своих силах он напоминал, что неудачи не могут помешать делу.

По примеру профессора Волженцева он сам готов предложить свои услуги для следующего полета. Ему кажется, что достаточно нескольких месяцев, чтобы выстроить новый ракетоплан, тем более, что подробности конструкции ему, как участнику бригады, хорошо известны. Конечно, розыски нужно продолжать, и он сам хочет нечто предложить по этому поводу, но нужно все-таки, не откладывая, наметить сейчас же людей для руководства новой подготовкой. И он сам готов потратить на это все, что имеет: и силы, и время, и, если понадобится, жизнь.

Слушая Моложаева, Анна все крепче и крепче сжимала руки. Каждое слово звучало на этих губах кошунством. Ей казалось, что невидимо для всех он смеется над молчаливо слушавшим его собранием, Волны ненависти, стыда и злобы то поднимались, то спадали в ее груди. Она впивалась взглядом в учтивую моложаевскую фигуру и неотрывно следила за каждым шевелением белых его рук, делающих над трибуной плавные жесты.

Окончив говорить, он соскочил с трибуны куда-то в сторону, в теснившуюся в передней части зала толпу. На минутку Анна потеряла его из виду и потом почти испугалась, услышав за спиной его вкрадчивый голос.

— Оказывается, вы здесь, Анна! — произнес он, дохнув девушке в затылок. — Это очень, очень кстати. Мне нужно с вами потолковать.

Еще не видя его, Анна сжалась и втянула голову в плечи. У нее было такое ощущение, словно на спину ей должно было прыгнуть сейчас какое-то отвратительное животное. Все мускулы ее, как при опасности, разом отвердели и напряглись. Она никак не хотела оглядываться и только сильнее стянула на груди свой вязаный шарф.

— Я очень огорчен за вас! — шептал сзади Моложаев. — Очень ведь трудно с воинственного мажора переходить на эгегические арии. К нашему общему сожалению, все сложилось так печально.

Он, кажется, даже руками всплеснул, произнося это. Шепот озноблял Анну, точно холодный ветер. По плечам и

по спине у нее поползли колючие мурашки. Они стояли совсем рядом с дверной нишей, и девушка едва удерживалась, чтобы не сбежать. Сбежать куда угодно, хоть на край света, только бы не слышать этого шепота и не чувствовать рядом большого рыхлого тела, от которого несло душным и потным теплом.

Анна передвинула на плечах шарф и отодвинулась вперед.

— Вы не сердитесь, Анна! — преследовал ее тихий голос. — Сердиться поздно. Я, ей-богу, не виноват, что фортуна повернулась к нам задом!

Он попробовал по привычке взять девушку за локоть. Ее передернуло от прикосновения, и Моложаев убрал руку.

— Вы напрасно дуетесь на своих друзей, дорогая бунтовщица. Мы будем оплакивать вместе нашу потерю.

Анна упорно молчала и старалась смотреть в сторону. Она чувствовала, как что-то надвигается на нее, сильнее, чем ее воля и рассудок.

— Вы должны быть только довольны, — шептал Моложаев, — ведь он, кажется, и наяву видел сны, ваш маленький ученый поклонник. Все вышло, как ему грезилось, и он попал-таки в историю!

Он подчеркнул это последнее слово, намекая на заключающийся во фразе каламбур. Внезапный спазм вдруг перехватил дыхание Анны, и она круто повернулась к Моложаеву грудью.

На какую-то секунду она увидела гладкий выбритый лик и ровный пробор, перехватывающий любезно наклоненную голову. В глазах Моложаева мелькнул блудливый испуганный свет. Шарф пополз и свалился с плеч Анны. Ощущая в теле лишь легкость и освобождение, девушка взмахнула рукой и радостно ударила в еще улыбавшуюся, но уже бледную физиономию.

Ей казалось, что пощечина прозвучала в зале, как выстрел. Она видела, как сотни глаз повертывались к ней. И, точно это было заранее ею решено, Анна поправила растрепавшиеся волосы и, глядя прямо на приподнимавшегося ей навстречу Ратнера, пошла к председательскому столу.

XVI

Моложаев вывалился в те же самые двери, у которых стоял с Анной, и, схватившись за голову, побежал по лестнице вниз. Вывав у раздевальщицы кожанку, он на ходу оделся и выскочил на улицу.

Моложаев шагал, не разбирая дороги. Он нелепо размахивал руками и походил сейчас немножко на сумасшедшего, не вовремя выпущенного из больницы. Прохожие шаркались от него и оглядывались ему вслед. Пощечина горела на его щеке, точно рана, и он все тер и тер ее ладонью, как будто это можно было стереть, как кровь или как грязь.

Он проскочил оставшийся кусок улицы Горького и, завернув вправо, побежал по Манежной площади. Идти ему, в сущности, нужно было по университетской стороне, но яркое освещение раздражало его, и он уклонялся ближе туда, где во мраке и пустоте тонула решетка Александровского сада.

Ему впервые бросалось в глаза широкое это пространство, открывавшее новый, подаренный Москве пейзаж. Асфальтовая пропасть, поросшая снежным пушком, была со всех сторон доступной и открытой. Прямо на Моложаева надвигались тяжелые колонны манежа, справа сверкал университет, слева же поднимались зубчатые стены Кремля, и взлетал к небу шпиг Боровицкой башни. Десяток лет назад здесь легко было затеряться среди тупичков и переулков, теперь же просторная, как поле, площадь не позволяла ни скрыться, ни быстро убежать.

Подняв воротник и глубоко засунув руки в карманы, Моложаев бежал по площади, стараясь как можно скорее ее пересечь. Он был почти один посреди этого огромного простора, пронизанного ветром и светом прожекторов. Чужой и сразу ставший враждебным город следил за ним тысячами зрачков. Мощные колонны манежа ожидали его впереди, точно шеренга часовых. Ему был непереносим тот праздничный блеск, что лился из университетских окон. И он бежал, непривычно горбясь, и бормотал сквозь зубы, как буд-

то молился какому-то своему неведомому богу или нещадно его проклинал.

В середине площади было пусто, по обочинам же ее кипела жизнь. Взгляд Моложаева выхватывал отовсюду только то, что грозило, давило, наступало. Рота вооруженных красноармейцев проходила по Моховой, и Моложаеву казались нарочно подобранными для него слова угрожавшей врагам песни. Промчался мимо закрытый автомобиль, без окон, может быть с хлебом, но Моложаев продолжительно посмотрел ему вслед. Из тьмы вынырнул человек в форме пилота, и Моложаев отшатнулся от него, испуганный — навернувшимся сходством с Хлыновым.

Они боролись с ним даже мертвые, эти люди, и стаскивали его с дороги успеха руками живых! Они не дышали уже, но были сильны и живы, как никогда. Он же кусался, двигался, изобретал, но был мертв и бессилен. Они не хотели для себя ничего, но к ним сами собой текли и слава и поклонение людей. Он же ни с чем не считался и всем пренебрег ради собственной удачи, и вот терял даже то, чем раньше располагал. Женщина, на которую он потратил так много ловкости и сил, уходила от него, как дым, а кстати наносила напоследок удар, разбивавший все его планы. Неужели же самый принцип его ошибочен? Или он только допустил случайные тактические ошибки? Может быть, они правы, эти люди, говоря, что с социализмом исчезает вся беспощадность жизни и что на земле совершается новый геологический переворот? Может быть, он, в самом деле, несмотря на свои бивни, обречен в этой стране, как мамонт, на вымирание, и, может, нет уже в мире силы, которая могла бы его воскресить?..

Моложаев добежал почти до самого манежа и собирался уже юркнуть в расщелину между ним и Александровским садом. Прохожих здесь не было, и, повернувшись обратно лицом к площади, Моложаев погрозил в ночь судорожно сжатым кулаком.

В эту минуту над головой его что-то захрипело, и сверху, со столба, внезапно заговорил уличный репродуктор.

— Алло, алло, алло! Слушайте экстренное сообщение! Только что получено известие о судьбе ракетоплана Рп-1, гибель которого специалистами считалась вероятной. Как оказалось, аппарат благополучно приземлился в день старта в районе Волошихинских лысин двести тридцать семь километров севернее Черной Буденьги. Порча радио помешала правильной ориентировке, и ракетоплан отклонился от заданного курса. Удаленность района посадки от населенных мест не дала возможности экипажу своевременно сообщить о завершении маршрута. Участник полета, физик Оболянов двое суток блуждал в тайге, пока напал на дорогу к заимкам промышленников. Командир ракетоплана товарищ Хлынов сообщает, что инженер Сажин, тело которого найдено позавчера, погиб смертью храбрых, исправляя серьезную поломку вне кабины. О подробностях полета и посадки слушайте в ночном выпуске «Последних известий».

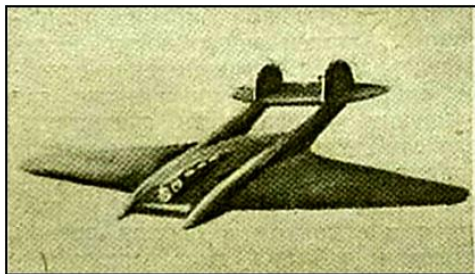
Это был последний удар — он расплющивал, стирал, уничтожал. Подняв руки, Моложаев застыл у столба в неудобной позе, словно пораженный приступом каталепсии. В короткую минуту, пока говорил репродуктор, в голове его родились и увяли тысячи мыслей.

Они смеялись над ним, чорт побери, эти любимчики судьбы! Хотя и не все, но они были живы, и случай продолжал благоприятствовать им! Но ведь, быть может, и ему теперь удастся легче — выкрутиться и доказать свое моральное *alibi*. Неизвестно еще, как истолкуют победители затруднения полета!

Моложаев медленно опустил руки. Над площадью висело тяжелое ночное небо. Лиловатое зарево от городских огней дрожало на облаках. Моложаеву очень ясно представилось лицо Анны и ее навсегда ненавидящий взгляд.

Разве новое известие меняло что-нибудь? Живы они или нет, эти люди, разбились или победили, — для него оставался только один исход. Сам он был мертв, и ничто уже не могло вернуть его к жизни!

Выходя из неподвижности, Моложаев скрипнул кожей пальто. Надвинув на лоб шапку, он втянул голову в воротник и шагнул в наплывавшую из переулка тьму.



СЕРГЕЙ КОЛДУНОВ



КОМАНДИР

Глава, не вошедшая в текст
романа «Ремесло героя» при
публикации в «Красной нови»

Художник Г. Балашов

Журнал «30 дней», № 10, 1937 г.



Печатаем две главы нового одноименного романа С. Колдунова, посвященного героической советской авиации.

КОМАНДИР

Только добравшись, наконец, до летной своей части, вступив на знакомый аэродром, Хлынов вздохнул свободнее и легче.

Здесь развевалась простая, понятная и близкая ему жизнь. Привычным деловым возбуждением дышало это просторное поле. Около ангаров озабоченно копошились люди. На красной черте выстроились подготовляемые к полету машины. Несколько легких бомбардировщиков подруливали к старту. Нежно ворчали работающие на малом газу моторы. Дежурный по полетам, человек, видимо, живой и веселый, упоенно размахивал руками. Красный флажок порхал вокруг него, повелительно управляя подвластной ему суетой.

Мороз после полудня значительно ослабел. Небо было безоблачным и ясным. Над аэродромом запрокинулась глубокая синева, лишь по краям, у самого горизонта, схваченная легкой сизоватой дымкой. Умноженное и отраженное снегами солнце слепило глаза, дробясь, как шрапнель, на осколки.

В сверкающем этом месиве Хлынов невольно задержался, с удовольствием втягивая в себя воздух. Синие посадочные полотнища зияли на белом фоне, точно промоины. Доступное взгляду пространство омывалось суматошливым, но легким норд-остом, приятно пощипывающим щеки. Пестрый, как раковая шейка, конус кокетливо извивался на сигнальной мачте. Рядом свисал черный тетраэдр — знак открытия полетов и указатель сегодняшнего их направления.

Машины скользили по обледеневшему полю и порывисто наплывали друг на друга. Рулежка сегодня была особенно трудна, но дежурный хорошо знал свое дело. Предупреждая опасную тесноту, красный флажок вовремя оставливал одних и освобождал дорогу другим. Спустя минуту первые аппараты с грозным рокотом оторвались уже от линии старта и, ровно набирая высоту, пошли в воздух. Впрочем, можно было заметить, что крайняя машина сделала взлет «горкой». По-видимому, летчик намеренно перескочил какое-то невидимое отсюда препятствие или неровность площадки. «Горка» была безукоризненной, но Хлынов чертыхнулся сквозь зубы и сердито нахмурился.

Командир крупного авиасоединения, известный служебной ретивостью, он любил появляться в своей части незаметно. Он редко пользовался штабным «фордом» и, хоть аэродром находился на далекой окраине, приезжал, как и все, на автобусах и трамваях. Как хорошо прилаженный винт, Хлынов входил в повседневную работу без скрипа. Никто не дивился его появлению на аэродроме в любом его пункте и в любое время. Он был осведомлен обо всех, даже мельчайших событиях. Не дивились поэтому и в штабе, когда Хлынов, едва туда ввалившись, уже говорил:

— Старт сегодня подготовили скверно! Давно без аварий, видно? Соскучились! Послать сейчас же к дежурному! И чтобы через пять минут площадка была как стеклышко!

Он не любил шутить, когда дело касалось порядка, и тем менее был расположен к этому сейчас. Голос его звучал жестко. Лицо имело то самое выражение окаменевшего спокойствия, по которому соработники издавна научились распознавать дурное настроение командира. В штабе при появлении Хлынова словно сквознячком пахнуло. Движения сидящих за столами людей стали как бы зябче и поспешней. Дежурный красноармеец громче и сердитее заговорил по телефону. Даже привычно сонная машинистка быстрее застрекотала на «ремингтоне».

Грузно ступая, Хлынов прошел в свою комнату. Портреты вождей и видных авиационных деятелей встретили его требовательными взглядами. На красном сукне стола сиял большой хрустальный графин, личное его приобретение. Залитое светом стекло мерцало мягко и успокаивающе. Пронзительные его грани светились голубоватым пламенем.

Хлынов вошел, сел, посмотрел секунду-другую на ясный хрусталь, переложил в сторону тяжелое пресс-папье, подвинул пепельницу и как-то сразу ощутил в себе тот тихий холодок упрямого напряжения, какой охватывал его в

деловой обстановке. Что бы там ни случилось и каково бы ни было его настроение, нужно было жить и выполнять свои обязанности». Он так именно и подумал, именно этими словами, застрявшими в его памяти при чтении одной суровой книги. Командирские его обязанности, в самом деле, не ждали. Не успел он



войти и сесть, как над ухом его заверещал телефон, а в дверь уже протискивалась бритая голова начальника штаба.

И тотчас же дела и заботы этого дня встали у его стола.

Вначале чей-то сладкий и ласковый голосок приглашал Хлынова принять участие в каком-то банкете. С тех пор как имя пилота упоминалось в печати, это случалось довольно часто. Голосок, убедительно скандируя, настаивал и увещевал. Выходило, что от присутствия пилота зависят чуть ли не международные судьбы. Едва не посулив телефонному дипломату чорта, Хлынов неласково рыкнул и бросил трубку.

Затем начался разговор с помощником.

В связи с подготовкой к старту Хлынов не был в части два дня. Приятно было услышать, что ночная учебная бомбежка прошла прекрасно. Бомбардировщики показали высокий класс работы, процент попаданий был на «отлично». Поломок и вынужденных посадок не было. Зато не очень-то хорошо, что помощнику пришлось наложить на трех летчиков взыскание за производство в воздухе нерегламентированных фигур.

Начальник штаба Пухов был отменным и педантичным службистом. Вытянувшись и не садясь, несмотря на приглашение, он подробно рапортовал всех имевших значение событиях. Бритая голова его, состоявшая из бугров разной величины и очертаний, крепкие скулы и крупный горбатый нос были высечены из одного куска твердой породы. Неплохой человек и работник, он был ушиблен немножко пристрастием к артикулу и не признавал в военном деле никаких «психологий». Провинившиеся летчики были уже отправлены им «на губу». Хоть возразить против этого было нечего, Хлынов невольно поморщился, решив про себя устроить с летчиками беседу.

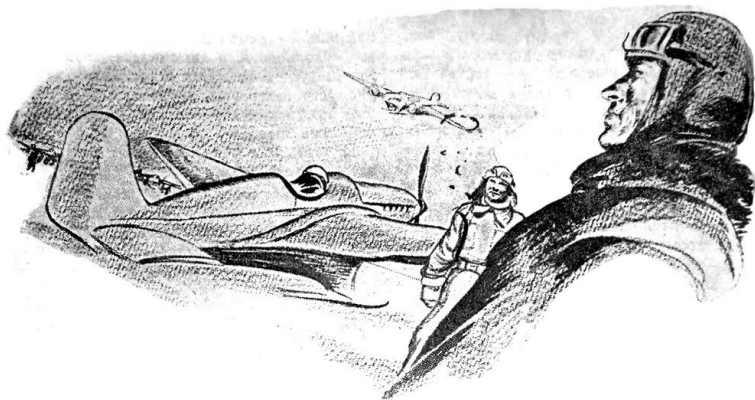
— Новые истребители прибыли вчера, — как бы задабривая, сообщил Пухов. — Посмотрите их?..

Здесь он не выдержал бесстрастного тона и улыбнулся. Новость эту, не без оснований, можно было считать приятной.

— Ну, наконец-то, — в самом деле оживился Хлынов.
— Добро, добро! Как машинки? Путные?.. Впрочем, я их сегодня сам пошупаю!

Такова уж была традиция в части Хлынова. Самолеты новые или прошедшие капитальный ремонт нередко опробывались самим командиром соединения. Хлынов приносил из воздуха подробную опись качеств машины, индивидуальных ее странностей или капризов. Аппарат передавался потом летчику, точно решенная формула, с ответом на все вопросы.

— Так вы скажите там, чтобы заправили одну машинку!
— приказал он, предчувствуя будущее удовольствие: —
Надо будет попробовать.



Пухов не успел еще изложить всех событий последних суток, когда в комнату вломился парторг соединения Гущин.

Обладая характером резвым и беспокойным, сорокалетний парторг был юношески подвижен. Грохотом передвигаемых стульев и дробным стуком веселых каблучков сопровождалось внезапное его появление. Он жил со счастливой

уверенностью, что его дела всех важней и неотложней, а потому и перебил Пухова, заговорив о своем.

— Заткнись, Петруша! — дружески, но достаточно твердо приостановил его Хлынов. — Всякому делу свой срок. Сядь, пожалуйста, погрузи!

Человек этот одним своим видом и неутолимой потребностью в движении пробуждал в нем симпатические чувства. И спустя минуту он уже вдосталь напорился и накричался с ним.

Потом принесли из канцелярии бумаги. На некоторое время Хлынов по уши увяз в потоке разного калибра листов и листочков. Тут были и выплатные ведомости, и ассигновки, распоряжения высших инстанций, запросы, анкеты, инструкции. Нужно было отписываться, надписывать, «принимать к сведению» и запоминать. Пропуская через себя эту кипу, Хлынов вздыхал, как маслобойная машина. Что бы там ни говорили, но склонности к подобным занятиям у него не было.

Он почти обрадовался появлению техника Рыбина, заведывавшего производящимся в части строительством. Существо это было не глупое, но скользкое и жуликоватое, как уже не раз имел случай убедиться Хлынов. С ним нужно было держать ухо востро. Он тараторил, перечислял проделанные работы, и забрасывал начальство множеством жалоб, требований и попреков. Личико его, подбитое медными гвоздиками веснушек, имело при этом безнадежно обиженный вид. На собеседника он взглядывал с непонятной пугливостью, словно опасался, что у того вырастет третья рука или второй нос. Вместо длинных разговоров Хлынов предпочел встать и сказал, беря в руки шлем:

— А ну-ка, пойдёмте, посмотрим, что вы там наработали! Этак-то будет лучше!

Они ходили по возникшим за лето жилым зданиям для летного состава и высчитывали кубы и метры. Как и ожидал Хлынов, за многословием техника скрывались далеко не пышные дела. Штукатурные работы и внутренняя отделка, сравнительно с прошлой шестидневкой, почти не сдвину-

лись с места. Хлынов вспомнил о летчиках, живущих в тесных наемных помещениях или в старом общежитии, и где-то на переходе окатил Рыбина таким потоком слов, что техник посмотрел на него с доподлинным страхом.

— Куда это годится? — бушевал Хлынов. — Это никуда не годится, товарищ Рыбин! Скверно работаете, товарищ Рыбин! Так и запишите — скверно! Имейте в виду, что, если через две недели отделка не будет закончена, я вас отблагодарю особо!

По-видимому, он имел дар внушать людям нужные мысли и вызывать подражание, потому что по его ухому Рыбин бегал по строительству и ругался с десятниками:

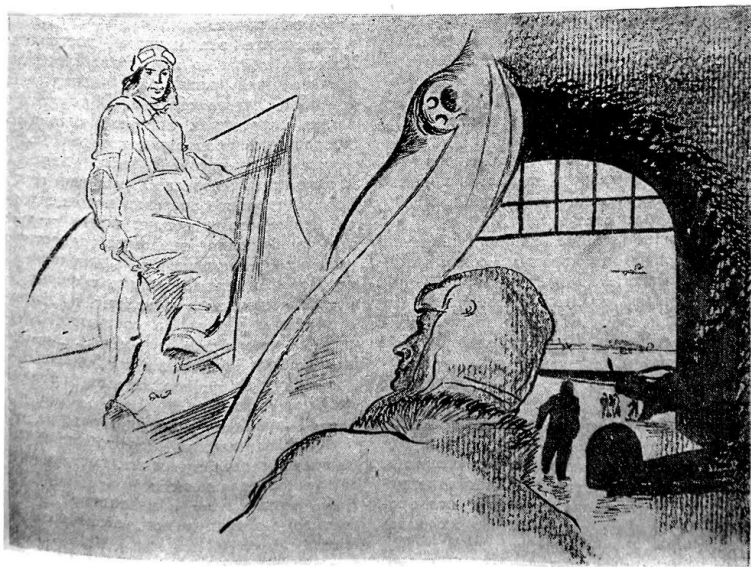
— Куда это годится? Это никуда не годится, товарищи! Скверно, скверно работаете, товарищи! Так и запишите!

На пути к ангарам Хлынов был пойман клубным работником части. Розовощекий парень в желтой кожанке набросился на командира со всей пылкостью своей профессии. Он вдохновенно убеждал, что лучшая летная часть должна иметь и лучшие показатели художественной самодеятельности, что просто струнный оркестр — хорошо, но симфонический — еще лучше и т. д., и т. п. Хлынову после некоторых препирательств по поводу сравнительного достоинства народных песен и классической музыки пришлось пообещать раздобыть лишнюю толику потребных средств.

Спустя две минуты он уже входил в один из ангаров. Привычно глянув на табельную доску с отметками о состоянии самолетов, он сделал в уме нужные зарубки. Поблизости от входа выводная команда «раскантовывала» застрявшего между соседей «разведчика». Дежурный по ангару, рапортую, щегольнул перед начальником мягким своим баском. Приглядываясь к шевелящимся здесь вещам, Хлынов двинулся дальше.

Около только что вернувшегося с поля бомбардировщика возились озабоченные комбинезоны, выискивая слабины растяжек. Тут же стоял и летчик, вглядывавшийся в шасси с преувеличенным вниманием. Он «скозлил» на посадке, и теперь вот уныло созерцал последствия своей не-

ловкости. До аварии тут было еще далеко, но, завидев Хлынова, летчик густо побагровел. Вид у него был настолько несчастным и виноватым, что у командира не повернулся язык для бесполезного внушения. За неплохим этим летчиком была известна слабость впадать в уныние от «разносов», и Хлынов прошел мимо, сделав вид, что ничего не заметил.



Хорошо знакомый ему младший авиатехник Гдыня, стоя у самолета на стремянке, делал что-то, изогнув длинное свое тело в виде вопросительного знака. По свойственному ему обычаю, работая, он разговаривал с неодушевленными предметами.

— Врешь, милая, не уйдешь! — хрипел он, запуская куда-то руку. — Мы вас вот этак... коли не так!

По неестественно вывернутому плечу Гдыни было видно, что он скорее вывихнет его, чем откажется от не дающегося движения.

— Ага! Испугалась, пошла-таки!.. Крутнем вот тебя — и амба!

Он блеснул навстречу Хлынову лукавым своим глазом, выпрямился и застыл на стремянке, напоминая теперь памятник или статую.

Немного дальше, старший инженер части Бритов производил осмотр очередных машин. След давней рубленой раны, сизая складка пересекала его щеку, придавая лицу выражение свирепой мрачности. Взгляд инженера был резок и прям, движения нетерпеливы и отрывисты. Казалось, он сердился на себя, на людей, на вещи — столь недружелюбно и презрительно подергивались его плечи. На самом деле это был человек каменной невозмутимости, и никто еще в части не высекал из него недоброго слова. Хлынов поздоровался с инженером и тотчас же заговорил о текущих заботах.

Большое и сложное человеческое хозяйство, летная его часть требовала напряжения всех сил. Лишь многолетняя привычка помогала ему не упускать из виду нужные подробности дела и пестрые свойства людей. Он ходил с Бритовым по ангару, проверял результаты осмотра. Бодрый ветерок делового возбуждения выдувал из его головы остатки утренних мутных домыслов. Здесь, среди простых и понятных отношений, не было нужды ни в дипломатии, ни в мелкой хитрости. Каждое слово и каждый шаг превращались тут в полезную и важную для всех работу. Ангар, точно мощный вентилятор, оттягивал от Хлынова всю душевную пыль. Ум его быстро яснил, мысли становились отчетливыми. И когда, час спустя, пилот вспомнил о ждущем пробы истребителе, к нему уже вполне вернулось прежнее чувство уверенности и полноты жизни, как будто он из чуждой и неприветливой страны возвратился, наконец, к берегам знакомой и близкой родины.

Короткотелый, хищно присевший на лапки, истребитель походил на большое насекомое. Лаковый блеск его крыльев был молод и ровен, как свежий загар. Точно кусок упавшего неба, голубели они на сером снегу аэродрома. Над подогретым уже мотором вился тонкий морозный парок.

Новенькая эта машина доставляла Хлынову почти то же удовольствие, какое азартный кавалерист испытывает при виде лихого скакуна. В упругих и легких очертаниях аппарата были соблюдены все пропорции, которые могут радовать наметанный глаз летчика. Мускулистый фюзеляж, мощная грудь мотора, стройное оперение и тонкое жало вонзенного в воздух винта — все это пробуждало знакомую радостную щекотку. Покончив с необходимой проверкой и ознакомившись с формуляром, Хлынов влез в кабину и застегнул ремни. Теперь он составлял с машиной одно целое существо, наделенное новыми чудесными свойствами.

— Готово! — послышался тонкий фальцет моториста.

— Готово! — привычно отвечал он.

Моторист ловким профессиональным движением повернул винт, поставив его в нужное положение.

— Контакт! — с непонятной веселостью выкрикнул он, отскакивая от винта.

— Есть контакт!

Винт, проворачиваемый самозапуском, начал медленно вращаться. Мотор чихнул, и затем ровно и мягко взревел.

Несколько минут, как и полагалось, Хлынов выдержал его на малом газу. Тренированное ухо пилота различало в шуме ту самую плавную музыкальную ноту, которая говорила о четком действии механизма. Определяя здоровье мотора, он слушал его, как врач выслушивает сердце.

Придерживаемый подложенными под лыжи козелками самолет слегка подрагивал, но не двигался с места. Легкую эту дрожь, похожую на свежую горячку нетерпения, Хлынов ощущал всем телом. Он чуял уже нервную повадку машины, ее способность отзываться на каждый оборот винта. Осторожно дросселируя, он следил за стрелкой тахометра. И в известный момент, освобожденный по его знаку аппарат вырвался на старт и упруго скользнул вперед.

Есть чувства, которые кажутся новыми, сколько бы раз они ни повторялись. Хирург с волнением берет в руки операционный нож. Писатель стыдливо ликует при выходе в

свет своей книги. Строитель с замиранием сердца следит за первым составом, переезжающим сооруженный им мост. Нечто от всех этих чувств, вместе взятых, Хлынов переживал каждый раз при пробе новой машины.

С того самого момента, когда аэродром быстро поплыл мимо его глаз, он уже впадал в состояние своеобразного летного вдохновения. Чувства его обострялись; руки действовали с микрометрической точностью.

Резвая машина порхнула с земли, не исчерпав положенных ей метров для разбега. Подминая под себя вязкий и плотный воздух, она взмыла плавно и почти неощутимо для летчика. Развернувшись вправо, Хлынов спокойно набирал высоту. Для крупного разговора с истребителем нужно было набрать, по крайней мере, тысячу метров. Подобно опытному объездчику, он выводил своего коня из тесного двора на луговое раздолье.

Внизу открывалась знакомая площадка аэродрома. Левее лежал пепельный городской массив. Темными гроздьями рассыпались мелкие пригородные поселения. На однородном зимнем фоне отчетливо выделялась сетка железных дорог. Почти неразличимой была запорошенная снегом река. С высотой горизонт раздвигался, как занавес. Земля становилась невсамделишной, макетной, точно перед глазами вместо подлинного мира возникал фантастический кадр из кино.

Альтиметр показывал тысячу двести метров. Для начала Хлынов проделал несколько простых виражей. Приятно было свалить землю в сторону и, лишив ее обычной власти, почувствовать себя в наклонной плоскости так же удобно, как на танцевальной площадке. Это немножко походило на катание при помощи «гигантских шагов». Во взвешенном виде, подобно частице жидкости или газа, пилот витал в вязкой осязаемой пустоте. Мощный мотор позволял делать очень крутой вираж без всякого скольжения. Земля мирно становилась сбоку, точно уличная стена. Она уже не тиранствовала и не тянула. Верх, низ, падение, взлет — все эти понятия теряли смысл. Соответствующих им ощущений не

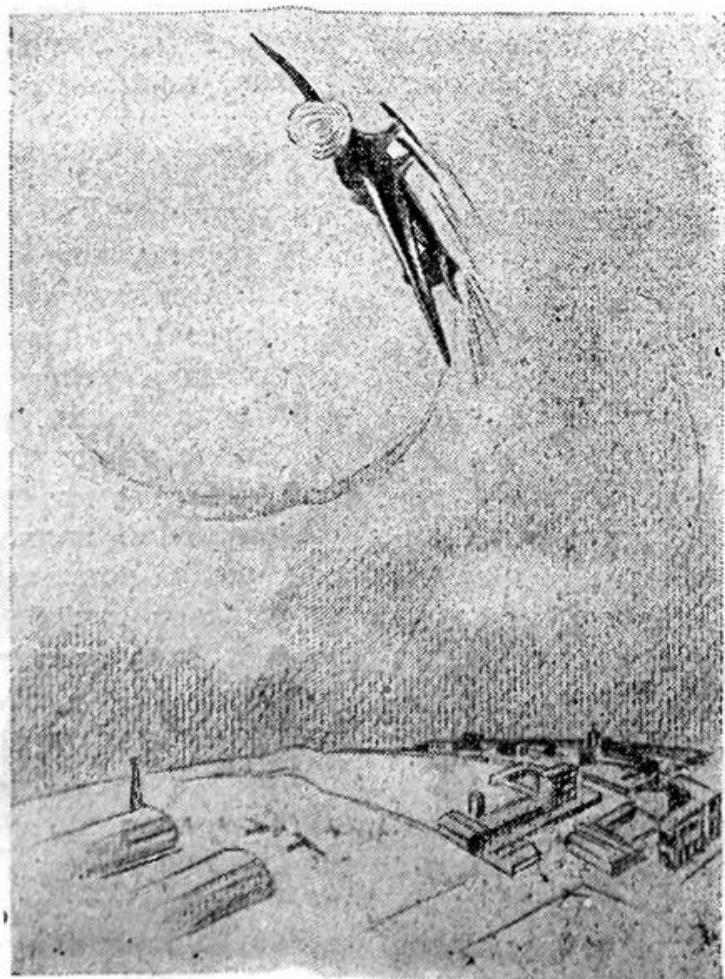
было. Неузнаваемая земная поверхность плыла мимо плеча, словно берег покинутой страны.

Затем аппарат начинал скользить на крыло. Хлынов угадывал это по тому инстинктивному движению, с которым все его тело устремлялось к противоположному краю кабины. Пузырек поперечного уклономера уходил в сторону. Самолет терял высоту. И вот здесь Хлынов уже отметил первую индивидуальную склонность машины. При скольжении на крыло она стремилась повернуться носом вниз. Чтобы не перейти в пике, нужно было прибавлять газ и соответственно работать рулями.

Впрочем, самолет идеально подчинялся управлению. С той самой благожелательной теплотой, с какой думают о сильном, но добродушном животном, Хлынов подумал: «Шалишь, дурочка!» Почему-то он уже окрестил истребитель в женском роде. Породистая машина подкупала его своей отзывчивостью. Она была даже немножко нервна и требовала мягкости обращения. При резком управлении она слишком быстро воспроизводила намерение пилота.

Он разогнал машину до скорости вдвое больше посадочной и сделал крутую петлю. Спасаясь бегством, земля бросилась под лыжи. В лицо Хлынова прянула сияющая голубизна. Даже на вершине петли скорость еще сохранилась, и его прижимало к сиденью. На одно мгновение земля повисла над ним, точно огромный причудливый потолок. Потом белая ее громада грузно перевалилась через голову и потекла на пилота из-за затылка, чтобы снова возвратиться на свое место.

Хлынов был доволен точностью движений аппарата и стремительной его готовностью выполнять любое задание. Это было одно из тех изумительных творений, в которых наглядней проявляется мощь человеческого разума. Мотор работал безукоризненно. При каждом шевелении дросселя тембр его голоса менялся: становился густым и свирепым, или, наоборот, мягчел и переходил в добродушное ворчанье. Он пел, этот мотор, как валторна. Ему можно было доверять.



Хлынов дал полный газ и пошел почти вертикально вверх. Маленький верткий истребитель вползал по отвесной линии, точно муха. Он держался на тяге одного винта, подобно вертолету. Когда скорость спадала до нуля, пилот закрывал глаз, и самолет начинал скользить на хвост. Рули обнаруживали стремление отклониться в крайнее положение. Соблюдая осторожность, Хлынов брал ручку на себя, и машина эластично выравнивалась.

Затем он набирал высоту и переходил в головокружительное пикирование, наслаждаясь волнующим нарастанием скорости и ощущением невесомости. Он падал в снежную солнечную пустоту, чувствуя, как бьет в грудь машины тяжелая плотная масса воздуха. По смелой кривой самолет быстро выходил из пикирования, и Хлынова прижимало к сиденью силами растущей перегрузки. Здесь он реально познавал законы тяготения. Тело его наливалось свинцом, кровь густела, мышцы напрягались.

В этой зыбкой прозрачной стихии, где ежеминутно менялись условия тяжести, скорости и направления, Хлынов испытывал странное чувство могущества, близкое к бреду. Впрочем, это был необыкновенный бред — бред ясности, точности и веры в чудесную человеческую силу. В пилоте вспыхивала хищническая гордость спортсмена. Между мозгом его и мускулами протягивались какие-то дополнительные провода. Голова приобретала ту самую молниеносность соображения, которая, как говорят, появляется только в момент подлинного душевного подъема или смертельной опасности.

Он бросал машину в штопор, и мир вращался вокруг него, подобно смерчу или звездной туманности, неразличимый, сплошной и тревожный, как в дни перевозданий. Он делал стремительные боевые развороты, переворачивался через крыло, летал вниз головой. Покорная опытной руке, машина кувырчалась в воздухе, как цирковой гимнаст. Дав ей большой разгон, Хлынов шел в мертвую петлю, и на вершине ее переворачивался, делая так называемого «иммельмана». Перегрузка при этой фигуре была колоссальной.

Огромная тяжесть обрушивалась на плечи пилота. Похоже было, что, вскинув над собой землю, он атлетическим рывком снова швырял ее под ноги.

Это была увлекательнейшая игра в превращения, от которых слегка екало сердце, и терпкий холодок пробежал по членам, несмотря на привычку. Здесь нарушались все земные обычаи и самые прочные для земноводных чувства. Казалось, не аппарат вертится и скользит в воздушном пространстве, а сама земная поверхность приобрела необычайное свойство подвижности и колебаний. Она то уходила в сторону, то висла сбоку, то надвигалась навстречу пилоту смертельной своей грудью, а то трусливо уползала под самолет. Хлынов имел теперь силу титана и мог играть земным шаром, как детским мячом.

Все тусклые чувства дня, война с Моложаевым, тревоги мужа и будущего отца, оскорбленное самолюбие и тайные страхи — все это было выметено вдохновенным азартом его ремесла. Мотор пел, воздух пел, и в Хлынове все пело, наполняя грудь ощущением мощи и счастья. Истребитель, как ловкое перо, вычерчивал в синеве отважные линии. Дерзкие петли, спирали и параболы ложились на лакированный глобус неба.

Внизу, на аэродроме, у ворот второго ангара, младший авиатехник Гдыня, заслонясь от солнца развернутым, как ветер, щупом, смотрел на вольтижировку командира.

— Вот, брат, учись, пока жив! — говорил он, толкая в бок стоящего рядом летчика, неудачно посадившего сегодня свою машину. — Это тебе не в «козлы» играть! Тут, брат, работка классная: «на три точки»!

II СТРАТО- НАВТЫ



И.БАСКАКОВ



КАК ИДУТ К ЗВЁЗДАМ

Фантастический очерк

Журнал «Вокруг света» (Ленинград), № 8, 1933 г.

КАК ИДУТ К ЗВЕЗДАМ

И. БАСКАНОВ

Вернувшись с работы домой, Артамонов весело посмотрел на календарь. Завтра выходной день! Где же его провести? Окрестности Москвы в достаточной мере приелись, Центральный парк культуры и отдыха изучен вдоль и поперек.

Хорошо бы придумать что-нибудь новое... Эти размышления не отняли много времени: «А ну-ка, махну на денечек в Крым!»

Расчет у него был очень простой. Электрические часы на письменном столе показывали всего два часа дня. Поездка в Крым из Москвы по воздуху займет каких-нибудь два часа. «Что же, — думал он, — пожалуй, еще сегодня я успею выкупаться в Черном море. Завтра подпекусь на южном солнце, совершу прогулку по Крымскому полуострову, превращенному, как известно, во всесоюзный парк культуры и отдыха, а послезавтра к восьми утра снова на работу...»

И вот он вышел из дому, взял такси, и через короткое время стоял перед кассой аэровокзала.

— Будьте добры, — обратился он к кассиру, — один обратный билет Москва—Крым!

— Вам на южном страто-экспрессе? — переспросил кассир и выписал квитанцию.

Предъявив квитанцию контролеру, Артамонов занял место в кабине стратоплана. По внешнему виду он мало чем отличался от обычного самолета. Бросался в глаза непривычно-большой пропеллер, снабженный поворотными лопастями. Стекла в кабине были похожи на пароходные иллюминаторы: небольшие, круглые, очень плотные, по видимому, сделанные из какого-то специального состава.

Сосед-инженер, видя, что Артамонов впервые совершает такое путешествие, охотно пояснил ему подробности.

— Сейчас, — рассказывал он, — дверца кабины будет герметически закрыта, и мы двинемся в путь.

— А для чего это? — любопытствовал Артамонов.

— На той высоте, куда мы поднимемся, воздух очень разрежен, — сказал инженер. — Вы, конечно, знаете, — продолжал он, — что земной шар окружен воздушной оболочкой, которая называется атмосферой. Высота этого слоя относительно невелика, и вряд ли многим превышает сто километров. Главная масса воздуха сосредоточена внизу, подле земли. Нижний слой атмосферы называют тропосферой, в ней мы и живем. Выше десяти километров начинается стратосфера. Здесь воздух сильно разрежен. В этой разреженной среде человек жить не может. Но мы с вами находимся в герметически закупоренном помещении. На какую бы высоту мы не поднялись, мы как бы везем с собой кусочек тропосферы.

Оглядывая каюту, Артамонов заметил в углу небольшие электропечи. Инженер сейчас же пояснил:

— На большой высоте очень холодно, нам придется передвигаться в таком слое, где постоянно бывает 60^0 мороза. Благодаря особой системе вентиляции и электропечам у нас в каюте будет свежий, ровный воздух.

Артамонова занимал еще один вопрос:

— А как же в такой разреженной среде дышат моторы? Ведь им тоже не хватит воздуха для полного сжигания топлива.

— Это предусмотрено, — успокоил его инженер. — Стратоплан снабжен специальным высотным мотором, у которого есть турбокомпрессор, иначе говоря, нагнетатель добавочного воздуха.

Между тем, последние приготовления закончились. Механики, забравшись на крылья самолета, привели в движение три пропеллера, и те, поднимая сильнейший вихрь, угрожающе гудели, искусственный ветер заворачивал полы пальто и рвал с головы фуражки. Дежурный не без больших

усилий придерживал маленькую дверцу, последние пассажиры с деланным равнодушием лезли в кабину, удобно размещались в лонгшезах и независимо глядели в круглые окошечки.

Моторы гудели пронзительно и однотипно, в ушах звенело. Но вот, дверка захлопнута, и самолет уже катится по полю. Несколько секунд пренеприятной тряски, потом дома и люди почему-то оказались внизу и начали странным образом уменьшаться. Колеса по инерции еще вертелись, чуть вздрагивал амортизатор, не оправившийся от той нагрузки, которую ему пришлось нести.

Артамонов увидел, что он в воздухе. Самолет, делая поворот, чуть наклонился на один бок, и земная плоскость со всем, что к ней приделано, угрожающе поднялась на Артамонова. Самолет уже выправил свое положение, земля плавно, словно на шарнирах, опустилась на прежнее место. Забирая высоту, самолет занес пассажиров выше облаков, и продолжал подниматься. Все предыдущие страхи казались нелепыми, и Артамонов чувствовал себя в кабине стратоплана более спокойно и уверенно, чем на палубе корабля или в вагоне поезда. Тем более, что движение отличалось необычайной плавностью — не было ни качки, ни толчков, ни провалов.

Барограф показывал, что до земли 20.000 метров. Артамонов посмотрел в окошечко, и был поражен восхитительным зрелищем. Вместо привычной синевы, все небо почему-то стало глубоко-темно-пурпуровым. На нем вечно светит солнце, которое ничто не может заслонить, разве только тень земли или планет. Здесь нет ни дождей, ни туманов, ни ветров, и царит исключительное безмолвие, лишь на время и весьма слабо нарушенное движением стратоплана.

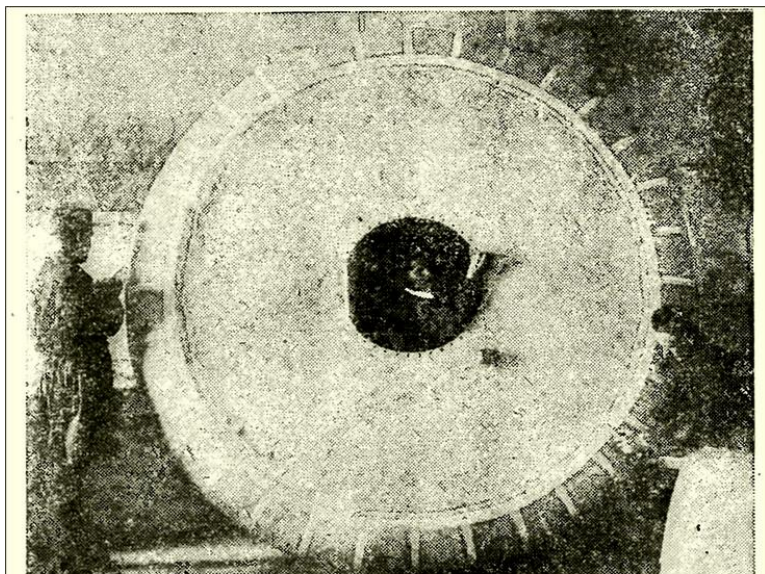
Прибыв в Крым, Артамонов констатировал, что стратоплан выдержал среднюю скорость в одну тысячу километров в час. Это его не удивило, он был склонен даже немного поворчать. «В разреженной среде, — думал он, — сопротивление воздуха очень незначительно. На высоте в 20 ки-

лометров самолет идет со скоростью в четыре раза большей, чем тот же самолет вблизи земли. Очевидно, нормальная скорость нашего самолета 250 километров в час. Это весьма посредственная сквозь. Если на линии Москва—Крым поставить машину, делающую четыреста километров в час, то в стратосфере она за час пролетит 1600 километров. Вот это будет скорость, так скорость, — восхищался Артамонов, — с такой скоростью можно облететь вокруг Земли над экватором за 24 часа. Позвольте, но и Земля оборачивается вокруг собственной оси в течение 24 часов. Значит, мы будем лететь со скоростью вращения Земли...»

— Это что же, — перебивает наше повествование нетерпеливый читатель, — очевидно, отрывок из какого-нибудь фантастического романа? Где же виданы такие скорости? Ездил я недавно в Крым. Двое суток меня трясло по железной дороге, а тут вашего Артамонова за два часа домчали...

Если хотите — это отрывок из романа, но только не фантастического, а сугубо-реального, название ему — «наша социалистическая действительность». Одна глава этого романа — «первая пятилетка» — уже перелистана, на очереди — вторая глава, с невиданной быстротой облачающаяся в сталь и бетон. Отрывок, приведенный выше, взят из третьей главы, и в нем нет ни капли фантазии. Наши темпы и возможности порукой тому, что недалеко то время, когда мы перенесем часть нашего транспорта из тропосферы в стратосферу, стратосфера станет таким же заезженным путем, как, к примеру, Казанская или Октябрьская железные дороги.

Технических затруднений к тому, чтобы летать на больших высотах в разреженном воздухе — уже нет. Изобретение турбокомпрессора разрешило эту проблему. И не дальше, как в прошлом году, английский летчик Юнис поднялся на биплане с обыкновенной открытой кабинкой до рекордной высоты в 13¹/₂ километров. Сейчас Франция, Англия, Германия усиленно проектируют и даже строят высотные самолеты-стратопланы.



Постройка первого советского стратостата
Проверка амортизатора для стратостата

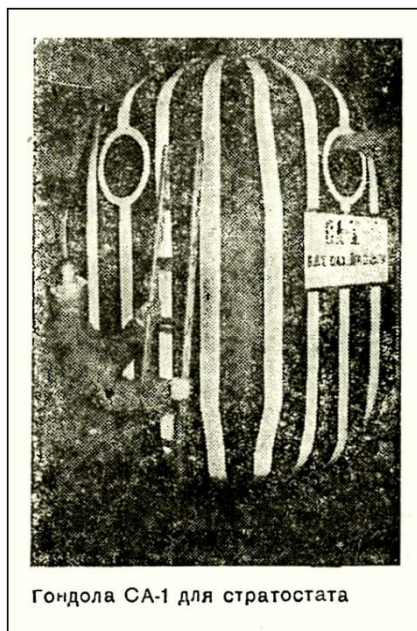
Но раньше, чем пересечь на стратоплан, надо во всех подробностях изучить особенности того пути, по которому он будет передвигаться. Мы должны знать, что представляет собою стратосфера, как себя чувствует в ней человек, даже если он находился в герметически закрытой кабине, каковы электрические и другие свойства стратосферы и т. п.

Недавно ученые, занимающиеся атмосферой, отрастили себе необычайно длинные руки, чуть ли не в сорок километров длиной, и ими довольно удачно прошупывают верхние слои воздуха. Такими «руками» являются шары-зонды и радиозонды. Они несут с собой автоматически действующие приборы, по которым можно установить температуру, давление, влажность и другие свойства верхних слоев атмосферы. Однако эти наблюдения носят случайный характер, и исчерпывающей картины нам не дают.

Наиболее верный способ обшарить стратосферу — это поднять на большую высоту человека, вооруженного всеми

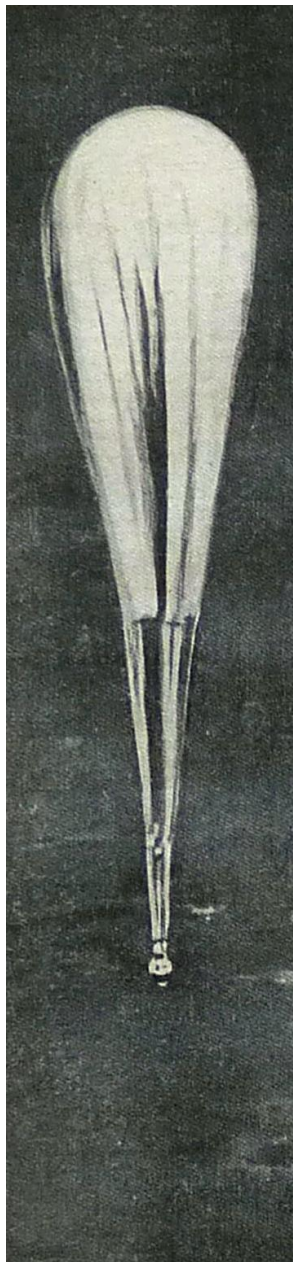
необходимыми приборами. Так оно и будет сделано. Бельгийский физик, профессор Пикар уже дважды летал в атмосферу, причем в последний раз он поднялся до 16300 метров. Он проиллюстрировал ряд наблюдений. Особенно внимательно изучались им космические лучи, — эти таинственные гонимые Вселенной, которые идут откуда-то сверху, представляя ни днем, ни ночью не прекращающийся невидимый лучистый поток. Однако, результаты своих наблюдения профессор Пикар держит в секрете. Здесь, как и во многих других делах, нам нечего рассчитывать на иностранную помощь, дорогу в небеса надо прокладывать самим. И эта дорога будет нами проложена.

Нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы вообразить такую картину: 15-этажный дом снимается с места и, плавно поднявшись, устремляется в небеса. Чепуха? А между тем, нынешним летом мы будем воочию наблюдать зрелище, по необычности и грандиозности ничуть не уступающее такому полету небоскреба. В одном из пунктов центральной части Советского союза состоится подъем колоссального воздушного шара.



Гондола СА-1 для стратостата

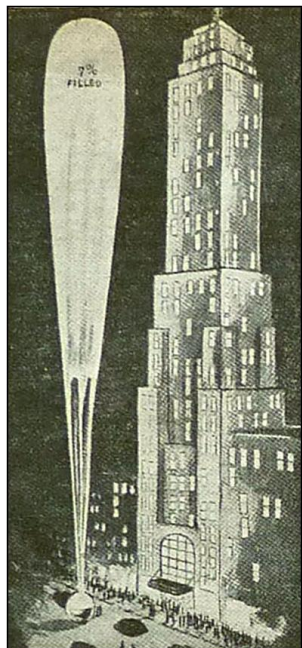
Вместе с подвешенной к нему герметически закрытой шарообразной металлической гондолой это летающее сооружение по высоте и объему готово спорить с самым высоким домом. Емкость воздушного шара — 22000 кубометров, высота — 70 метров. Перед стратостатом поставлена задача — поднять 2—3 человека на высоту примерно до 22 километров



и потом столь же благополучно спустить их на землю. Это предъявляет к нему ряд совершенно особых повышенных требований.

Первый советский высотный аэростат, или сокращенно «ВА—1», строится в Ленинграде и сейчас почти готов. На старте он будет представлять громадную матерчатую колбасу, наполненную водородом. Эта «колбаса» в верхних слоях атмосферы раздуется в круглый шар диаметром в 35 метров. К баллону подвешена герметически закрытая гондола. Она сварена из листов нержавеющей диамагнитной стали и имеет несколько окошечек для наблюдений. Гондола наполовину втиснута внутрь корзины, сплетенной из прутьев. Под корзину подложена большая кольцеобразная шина, надутая воздухом. При посадке эта шина, как буфер, смягчит удар. Верх гондолы окрашен в серый цвет, нижняя половина, спрятанная в корзинке, сплошь черная. Гондола висит на восьми металлических тросах. Они вплетены в корзину и идут к веревочному кольцу, находящемуся над гондолой. От кольца, в свою очередь, тянутся тросы, крепко вцепившиеся матерчатыми лапками в шар, немного ниже его экватора.

Ответственность полета требует особой внимательности. Клапаны, таке-лаж, сварка стали, газонепроницаемость швов, прочность стекол и прорезиненной материи — все это прошло строгую проверку.



Особенно серьезный экзамен был устроен гондоле. Нарочно были построены две гондолы. Первая, сдавленная шестью атмосферами, была умышленно сломана, чтобы найти в ней слабые места и укрепить их на втором экземпляре.

Итак, стратостат почти готов.

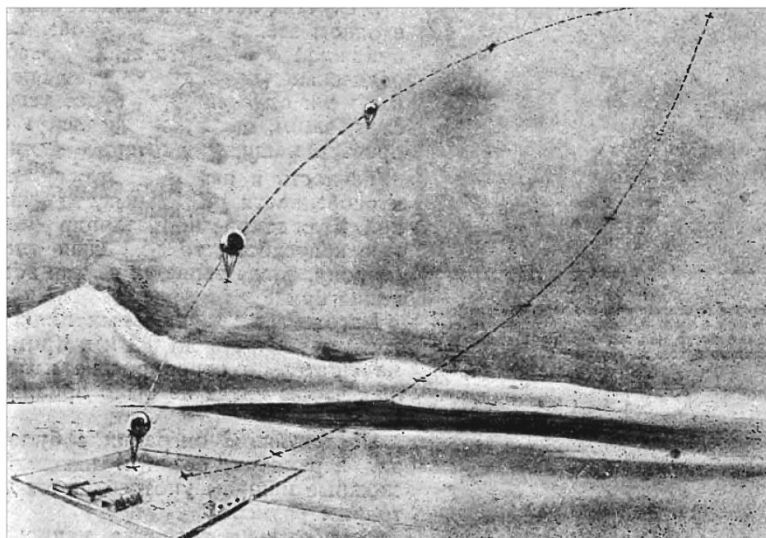
В ближайшие дни состоится его подъем. Это событие, позволяя разрешить ряд важнейших научных проблем, имеет мировое значение. В истории воздухоплавания поворачивается новая, блестящая страница. Так советские аэронавты «идут к звездам».

НИКОЛАЙ БОБРОВ



СТРАТОПЛАНЕР

Фантастическая статья



Здесь изображена траектория (путь) полета стратопланера. Достигнув „потолка“ (предельной высоты), планер отцепляется от оболочки и спускается на старт.

Стратопланер

Н. БОБРОВ

„Иван Песков“

Земля уносились быстро. Тонкий покров, сотканный из перисто-слоистых облаков, придавал небу сверкающую белизну. Небольшие светлые барашки плыли за стеклами кабины. Временами сквозь разорванные клочья вновь показывалась залитая солнцем земля.

Из люка сигарообразной кабины высунулась голова. Человек осмотрел натянутые, как струны, широкие матерчатые лапы, спускающиеся откуда-то сверху из гущи облаков. Взгляд человека скользнул по узким крыльям.

Вдруг беловато-серая масса расступилась, и над головой человека выросла бесформенная, удлиненная оболочка, изрезанная глубокими складками.

Голова скрылась. Летчик резко повернул штурвал и наглухо завинтил люк.

С земли стратопланер казался еле заметной точкой. На самом деле это был огромный прорезиненный, из материи шар, наполненный водородом. Свисающие с него четыре матерчатые лапы держали стальной планер с герметически закрытой кабиной. В узких длинных крыльях планера, напоминающих крылья стрекозы, были размещены различные механизмы: какие-то часы, трубочки, оптические стекла, — словом, все те приборы, которые помогают исследовать атмосферное электричество, космические лучи, распространение радиоволн, полярное сияние...

Статопланер медленно уносился в торжественную неведомую высоту, где небо казалось черно-фиолетовым.

Стрелка альтиметра показывала высоту в 25 тыс. м, когда один из участников полета нажал на электрическую кнопку, и стратопланер, как бы освобожденный от сотни килограммов, рванулся ввысь. Мгновеньем раньше от стратопланера отделился и стремительно полетел навстречу земле манекен с песком, который стратонавты в шутку называли «Иваном Песковым».

Помещенный в крыле киноаппарат следил своим глазом за этим манекеном и фиксировал падение «Ивана Пескова», из которого лениво вытягивался белый зонт парашюта.

Это для изучения парашютного прыжка в стратосфере сбросили стратонавты манекен с высоты 26 тыс. м.

Навстречу земле

Статопланер достиг высоты в 30 тыс. м. Стратонавты решили спуститься обратно на землю, а оболочку с подвешенными к ней дополнительными приборами отпустить на высоту ее предельного подъема.

Летчик, проверив в последний раз приборы, повернул рычаг, и планер, мгновенно отцепившись от оболочки, перешел в пике — стал падать вертикально вниз. Нарастающая скорость пикирования ощущалась шуршаньем и свистом воздуха по внешним стенкам кабины.

Стрелка указателя скорости нервно ползла по циферблату, минуя цифры 200, 300, 400. На цифре 500 стрелка остановилась — планер вышел из пике и начал плавно спускаться.

Он спускался долго, около часа, то пробиваясь сквозь облака, то вырываясь вновь на голубой простор.

Наконец, на горизонте летчик увидел город.

Завоевать стратосферу

Это вымышленный рассказ. Но кто знает, быть может, мы скоро будем свидетелями полета такого стратопланера.

В наши дни исследование стратосферы поставлено в ряде стран как актуальнейшая задача.

Командир стратостата «СССР» т. Прокофьев в своем недавнем докладе в Военно-воздушной академии РККА говорил, что 1934 г. обещает быть годом интенсивным в области исследования стратосферы.

В скором времени намерен совершить полет на высоту 25 тыс. м американский лейтенант Сетль.

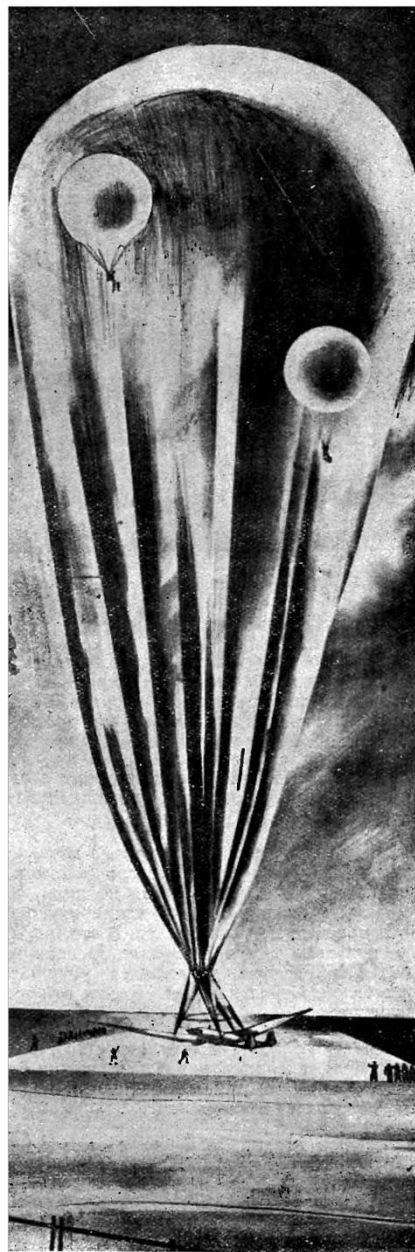
Эмилио Херер, директор испанского авиационного института, предполагает лететь в стратосферу в открытой кабине и специальном костюме.

Деятельно готовится к новому полету в стратосферу Пикар со своими спутниками — Козенеом и Киппером.

В СССР конструируется стратостат «ОАХ-2».

За Советским союзом остается первенство по завоеванию стратосферы как в достижении наибольшей высоты полета, так и в размахе научных работ. Но то, что нами сделано, — это лишь начало планомерного, комплексного изучения стратосферы.

Недавно Академия наук СССР созвала в Ленинграде первую в Союзе и в мире конференцию по изучению стратосферы. Прибывшие на конференцию академики, физики, биологи, конструкторы, летчики наметили пути к разрешению большой и трудной задачи — завоевать стратосферу.



Так должен выглядеть предложенный конструктором П. И. Гроховским стратопланер — комбинация стратосферного аэростата и планера. На фоне его гигантской оболочки два маленьких шара-прыгуна; висящие на них люди проверяют состояние оболочки.

Естественно, какой огромный интерес представляет оригинальный проект стратопланера, предлагаемый советским изобретателем П. И. Гроховским.



Конструктор П. И. Гроховский, автор проекта стратопланера

Стратопланер Гроховского

Стратопланер Гроховского представляет собою баллон из прорезиненной материи — шелка или воздухоплавательного перкаля. Баллон наполняется водородом. Объем его достигает 50 тыс. м³. Весит такой баллон 800 кг.

С баллона свисают четыре матерчатые лапы, усиленные для крепости пропущенными внутри тросами.

В середине четырех лап вставлено металлическое кольцо из легкого сплава (алюминия, дюралюминия, электрона). На концах лап имеются специальные замки для прикрепления 60 поясных матерчатых лап. В эти шестьдесят лап пропускаются веревки, за которые команда на старте удерживает рвущийся вверх баллон. Перед взлетом веревки эти выдергиваются.

Резиновый баллон снабжен отростком или, как говорят, аппендиксом для наполнения баллона водородом и для выхода расширившегося газа при поднятии.

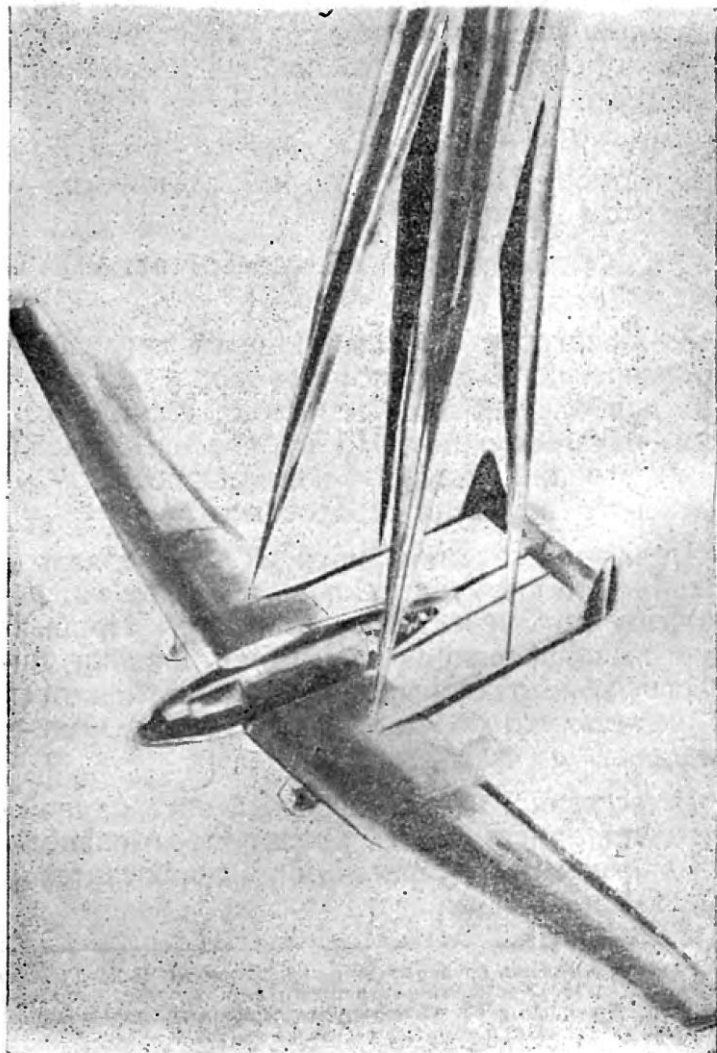
К четырем лапам, свисающим с баллона, прикрепляется с помощью автоматических замков планер. Планер изготовлен из тонких прочных сортов стали, немагнитной, хромоникелевой, с применением электросварки.

Планер имеет герметически закрытую кабину с четырьмя окнами. Приборы для исследования стратосферы находятся в кабине и крыльях планера.

Таким образом, стратопланер Гроховского отличается от существующих конструкций стратостата тем, что вместо

обычной круглой гондолы к оболочке подвешивается кабина, снабженная крыльями, т. е. планер, дающий возможность производить свободный полет и спуск без оболочки.

Четыре матерчатых лаги соединяют стальной корпус планера и его герметически закрытую кабину с оболочкой стратопланера



Изобретателю полет в стратосферу на стратопланере представляется так: стратопланер, поднимаясь со скоростью 3—5 м в сек., через два с половиной часа достигнет «потолка» — предельной высоты в 30 тыс. м.

Набрав предельную высоту, летчик и научный работник производят исследования в стратосфере. Потом летчик включает автоматическую отцепку: он поворачивает рукоятку для открытия замка. Планер мгновенно отделяется от оболочки, от четырех ее матерчатых лап, и входит в пике для набора скорости в 511 км в час. Набрав эту скорость, он начинает нормально планировать. У земли скорость планирования будет 108 км в час.

Чтобы вернуться на землю с высоты 3 тыс. м, стратонавтам потребуется 1 ч. 42 мин. При этом они смогут отлететь от места отрыва от оболочки на 525 км. Такая большая дальность полета стратопланера по любому направлению дает возможность вернуться на место старта или выбрать любой аэродром в радиусе полета.

А что же происходит с оболочкой? Освобожденная от груза, т. е. от планера, она летит дальше вверх с дополнительными приборами на предельную для нее высоту и спускается оттуда вниз.

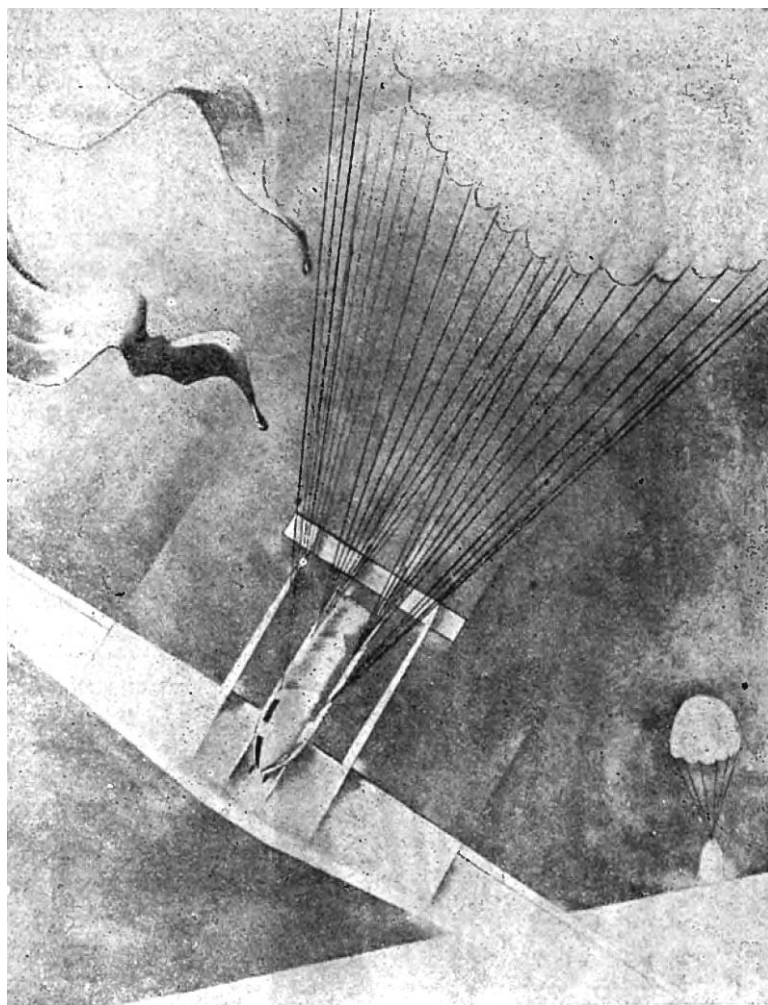
Стратопланер, предлагаемый изобретателем Гроховским, отвечает всем требованиям безопасности полета.

В случае аварии оболочки (пожар, разрыв, обледенение), летчик может, как уже было сказано, мгновенно отцепить от нее планер и планировать на крыльях.

В случае аварии планера — одно только движение рукой, и герметическая кабина срывается с балона и летит дальше на парашюте. В задней части кабины имеется цилиндр удобообтекаемой формы, так называемый обтекатель, сделанный из шпангоутов, обтянутых фанерой. В цилиндре помещается сложенный шелковый парашют диаметром в 20 м. И когда надо отделить кабину от планера, летчик приводит в действие парашют. Под силой напора воздуха на обтекатель, парашют выкидывается из цилиндра, раскрывается и стягивает с планера по направляющим рельсам кабину. И

кабина снижается на парашюте со скоростью 3—5 м в сек. Цилиндр же спускается на другом маленьком парашюте.

Наконец, в случае аварии парашюта летчик может раскрыть кабину внутренним давлением воздуха и выбраться на индивидуальном парашюте.



Планер отцепился от оболочки, но с ним может быть авария. Тогда летчик приводит в действие парашют. Механизм стягивает кабину с планера по специальным рельсам, и раскрывшийся парашют легко опускает кабину на землю

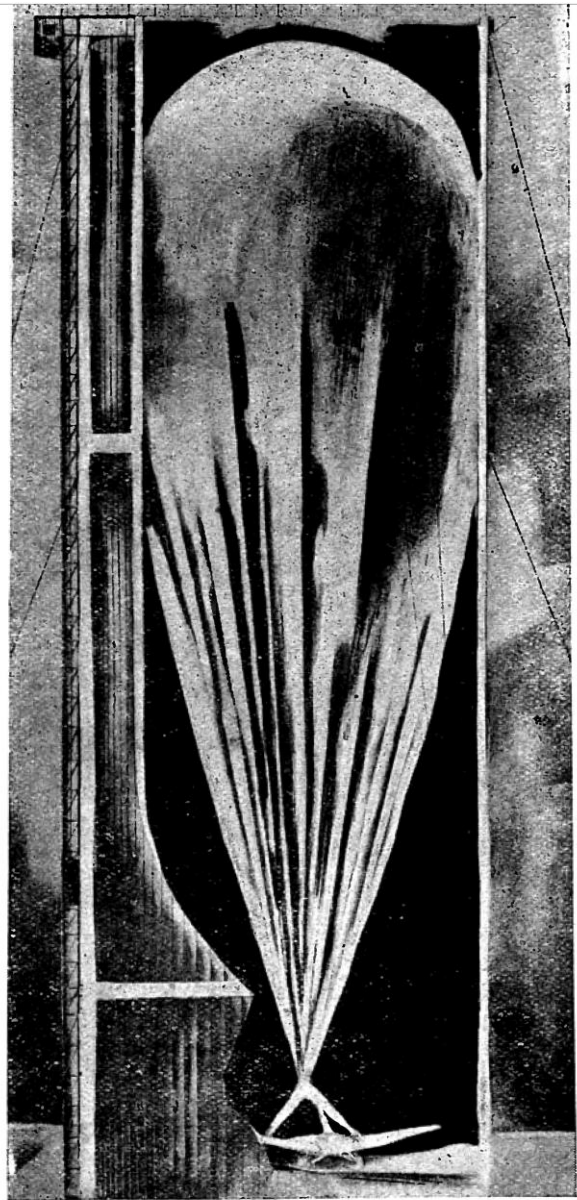
Эллинг

Эллинг представляет собой деревянную трубу, высотой в 60 м. С внешней стороны он обшит досками, с внутренней — гладко отшлифованной фанерой. В верхней части эллинга имеется брезентовая крыша, которая открывается и закрывается посредством системы роликов. По окружности внутренней части трубы идет винтовая лестница. С этой лестницы весьма удобно осматривать оболочку стратопланера.

Перед полетом в эллинг вносят оболочку и включают пуск водорода. Газ наполняет оболочку, поднимает ее вверх. Оболочка прикреплена веревками к штопорам, ввернутым в землю, поэтому она не поднимается выше назначенного ей места. После этого к надутой оболочке с помощью автоматических замков прикрепляется планер. Производится проверка приборов, в кабину садятся участники полета...

Снос оболочки ветром при выходе из эллинга может нарушить точный вертикальный полет, и планер может удариться о край трубы. Поэтому над стратопланером укрепляется крестовина, которая удерживает его все время в центре и сопровождает до верхней части трубы. Такая крестовина позволит совершать полеты и в ветряную погоду.

Стратопланер Гроховского дает возможность ускорить строительство стратосферных самолетов, так называемых стратопланов. Для того чтобы научиться правильно конструировать стратопланы, необходимо знать, как они будут вести себя в стратосфере. Надо изучить, освоить скоростные полеты. Стратопланер Гроховского дает возможность на примере планирования с большой высоты изучить поведение самолетных конструкций в стратосфере.



Элинг—здание, в котором стоит стратопланер до и после полета

Стратопаращют

Тов. Гроховский имеет другое, весьма простое, но очень интересное изобретение — стратопаращют. Он использовал существующие парашюты не только для снижения, но и для подъема на большие высоты.

В нижней части прорезиненного зонта большого парашюта он укрепил кольцо, через которое продет шнур, стягивающий кромку парашюта до маленького отверстия. Оболочка парашюта наполняется газом, а стропы его наматываются на лебедку, помещенную наверху открытой корзины. В корзине сидят стратонавты в специальных костюмах, снабженных для дыхания кислородными аппаратами.

Балласт на таком стратопаращюте берется только для подъема. При спуске он не нужен — и вот почему. Поднявшись на заданную высоту, научный работник или летчик одним движением рычага рвет стягивающий оболочку шнур; нижняя кромка оболочки откидывается, газ выходит, стропы разматываются с лебедок, — оболочка быстро превращается в парашют.

Такая конструкция открывает широчайшие возможности перед развитием парашютизма в стратосфере. Она настолько, по мнению изобретателя, проста, что на ней смогут летать даже не специалисты воздухоплавания.

Стратопланер Гроховского уже строится. Изобретатель надеется продемонстрировать его в этом году.

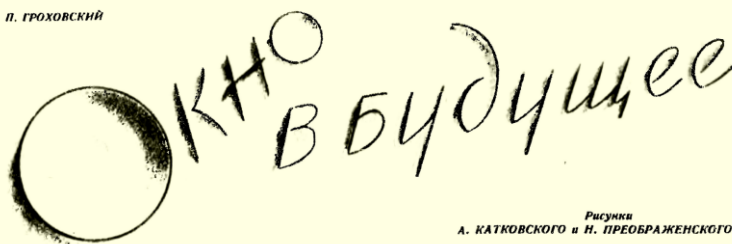
П.ГРОХОВСКИЙ



РЕАКТИВНЫЙ СТРАТОПЛАНЕР

Фантастический очерк

П. ГРОХОВСКИЙ



Рисунки
А. КАТКОВСКОГО и Н. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

РЕАКТИВНЫЙ СТРАТОПЛАНЕР

До сих пор полеты в стратосферу осуществляются исключительно с помощью стратостатов. Несмотря на то, что на стратостате можно достичь значительных высот, все же в условиях полета стратостата нельзя исследовать такие важнейшие вопросы, как, например, аэродинамические свойства стратосферной среды, действие разреженного воздуха на металл во время скоростного полета, вибрация, работа моторов и т.д. Между тем, изучение всех этих вопросов необходимо для создания стратосферного самолета.

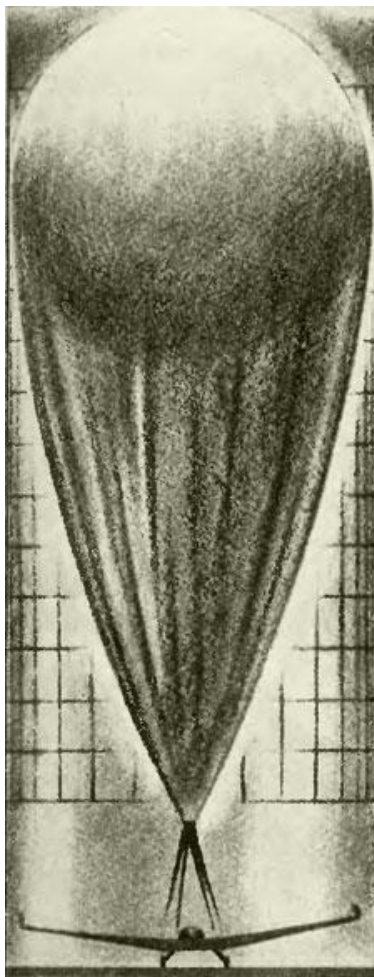
В 1934 г. в журнале «Техника — молодежи» № 8 была выдвинута идея стратопланера. Эта идея вскоре получила у нас в стране практическое осуществление.

Стратопланер — это тот же стратостат, к оболочке которого вместо шарообразной gondoly подвешивается планер с герметической кабиной. При достижении определенной высоты планер легко отцепляется от оболочки и самостоятельно спускается на землю. Несколько таких пробных полетов, пока еще на небольшую высоту, уже были произведены (см. журнал «Техника — молодежи» № 12 за 1938 г.).

Дальнейшим развитием идеи стратопланера может явиться реактивный стратопланер для подъема на большую высоту. Этот летательный аппарат представляется нам в следующем виде. Оболочка имеет объем в 50 тыс. куб. м; тросы, на которых подвешивается планер, в отличие от

обычного наружного крепления, введены своими верхними концами внутрь оболочки, где и закреплены на внутренней поверхности ее.

Планер с герметической кабиной имеет в крыльях шесть реактивных камер, работающих на жидком топливе. В настоящее время такие реактивные приборы для работы в течение 5-7 мин технически проработаны достаточно полно.



Кабина планера рассчитана на двух пилотов и имеет двойное управление.

В случае разрыва оболочки стратопланера пилоты могут произвести мгновенную отцепку планера. Кроме того, в задней части кабины помещается парашют; при необходимости парашют открывается и стягивает кабину с крыльев планера. Эта операция облегчается тем, что кабина закреплена между крыльями автоматически выключающимися замками. В самой кабине имеется нижний люк, через который экипаж может выскочить, воспользовавшись индивидуальными парашютами и кислородными приборами.

Планер может быть поднят оболочкой до высоты 25-30 тыс. м. При достижении предельной высоты планер отцепляется от оболочки и переходит в пике, т.е. устремляется носом

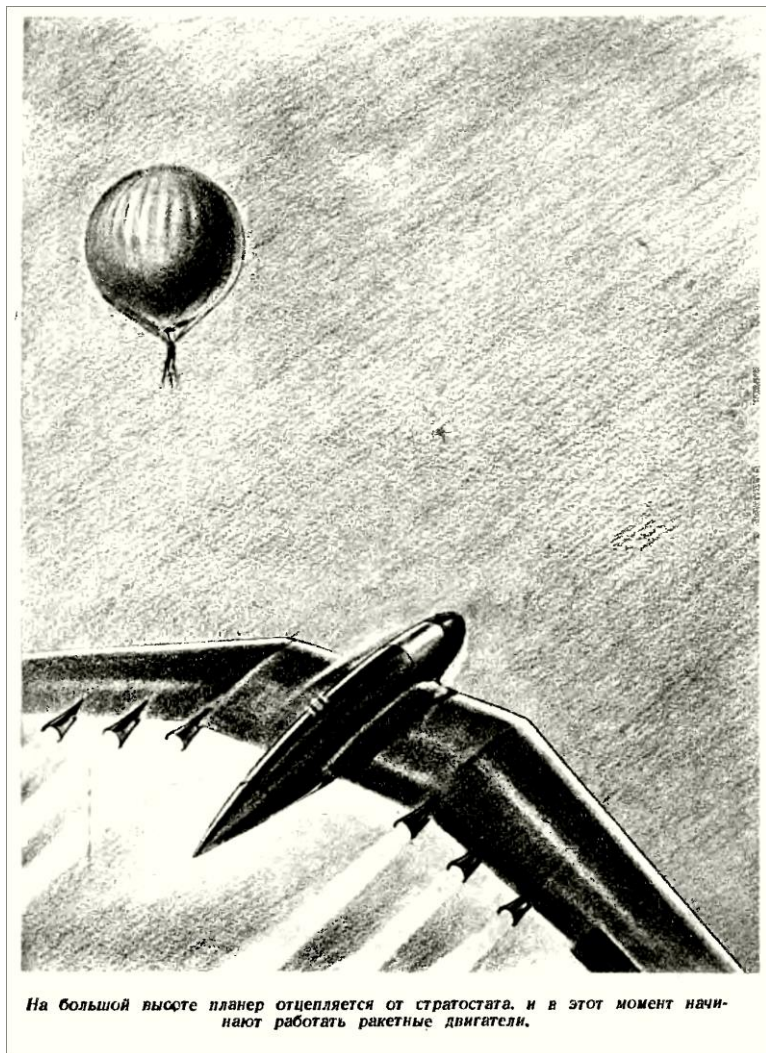


вниз. При таком свободном падении в разреженной среде, где сопротивление воздуха невелико, планер быстро набирает скорость 500 км в час и выходит из пике. В тот же момент включаются реактивные камеры, и в течение 6-7 минут с высоты в 25 тыс. м набирает потолок в 50 тыс. м. Здесь летчики производят все необходимые исследования и начинают планировать к земле. Вначале спуск в разреженной среде совершается с большой скоростью, но по мере приближения к земле планер встречает на своем пути все более и более плотные слои воздуха, так что при посадке скорость планера со-

ставит всего 60-80 км в час.

Что касается оболочки стратопланера, то она после отцепки планера поднимается на высоту 35 тыс. м. При оболочке имеется радиоприбор системы проф. Молчанова, который автоматически записывает и передает на землю некоторые данные о стратосфере.

Обычно старт стратостата связан с большими трудностями. Даже незначительный ветер вызывает большие ветровые перегрузки, которые грозят аварией. Для того чтобы обеспечить удачный старт в любую погоду, можно построить вертикальный эллинг, углубленный в землю на 50-60 м. В таком эллинге удобно производить наполнение оболочки водородом, для чего вблизи эллинга размещаются газохранилища. Контроль оболочки перед стартом, который обычно выполняется с помощью шаров-прыгунов, в вертикальном эллинге значительно упрощается. Здесь по стенам тя-



На большой высоте планер отцепляется от стратостата, и в этот момент начинают работать ракетные двигатели.

нется винтовая лестница, позволяющая осматривать любую сторону оболочки.

Старт производится путем автоматической отцепки штопорных приспособлений, удерживающих стратопланер в эллинге.

**Обратный путь к земле стратонавты
совершают посредством планирования. В
случае аварии спуск планера может быть
произведен на парашюте.**



Для того чтобы при вылете планер не ударялся о стены эллинга, снизу планера подвешивается предохранительная крестовина. Как только планер вышел из эллинга, крестовина автоматически отцепляется.

Для старта достаточно пяти-шести человек.

Реактивный стратопланер и вертикальный эллинг позволят наладить регулярные полеты в стратосферу для всестороннего изучения ее. Это изучение откроет путь стратосамолетам в новые, не достигнутые еще выси стратосферы.

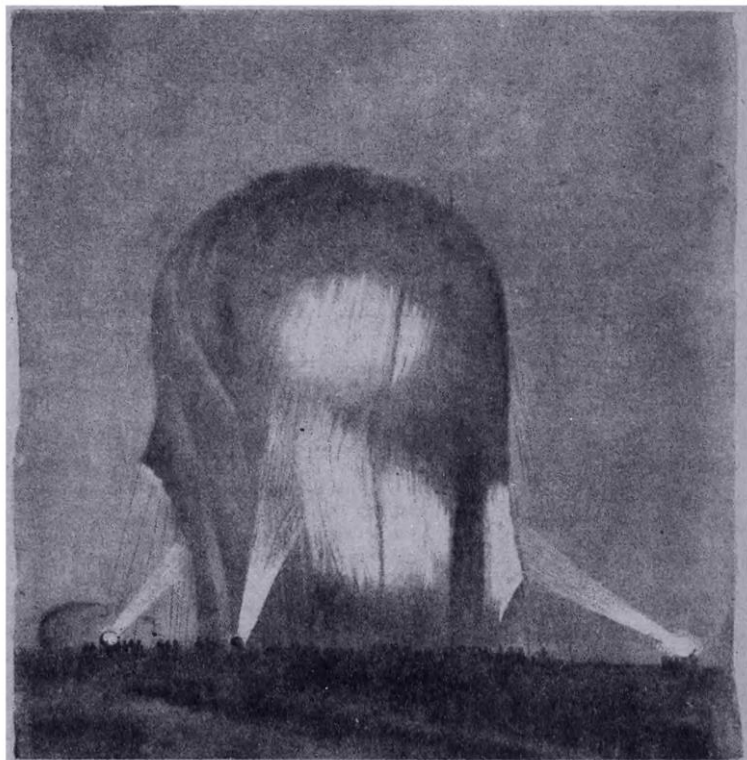
ЛЕВ КАССИЛЬ



СТРАТОСТАТ

Рассказ

Журнал «Мурзилка», № 11, 1933 г.



СТРАТОСТАТ

1

Красноармеец Федор Терещенко приехал в Москву из деревни. Он был коммунист и физкультурник, он хорошо бегал, далеко прыгал и ловко лазил по веревке. Он легко взбирался на самый верх гладкого и скользкого шеста. По росту Федор Терещенко был самый маленький в роте. Он был ниже всех. Он маршировал сзади всех. Но на доске соревнований он был выше всех и впереди всех, как коммунист и физкультурник, как ударник и боец.

Однажды вечером командир сказал бойцам-красноармейцам:

— Товарищи бойцы, ложитесь спать, выспаться нам следует хорошенько. Завтра всю ночь будем на аэродроме.

— Чего нам делать ночью на аэродроме? — удивились бойцы. — Аэропланы ночью не летают.

— Вы будете пускать стратостат, — сказал командир.

— Это что за стратостат? — спросили бойцы.

— Стратостат — получилось от слова стра-то-сфе-ра!

Так сказал командир и поглядел на небо, и все красноармейцы поглядели на небо и повторили:

— Стра-то-сфе-ра!

А командир рассказал, что внизу, над самой землей, воздух густой, плотный. Мы им дышим. А там, вверху, воздух редкий, слабый, им дышать трудно. Вот этот самый верхний воздух и есть стратосфера. А воздушный шар, который может залететь в стратосферу, называется стратостат.

— Стратостат, — повторили красноармейцы.

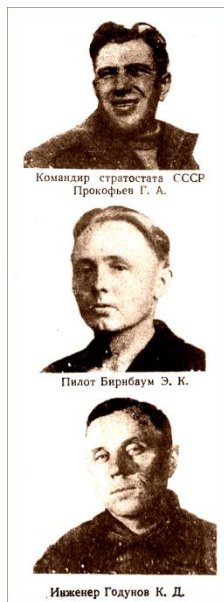
И Федор Терещенко, глядя на небо, на стратосферу, вспомнил, что он читал в газете, как заграничный профессор Пиккар на своем стратостате забрался на 16 километров вверх. Выше Пиккара никто никогда не забирался.

„Эх, — подумал Федор Терещенко, — на высокий шест забраться — это что... Вот на небо забраться выше профессора Пиккара — это дело!“

2

На другой вечер густой туман окутал Москву, но три храбрых сверхлетчика — Прокофьев, Годунов, Бирнбаум — решились все-таки лететь. Они надеялись, что утром будет ясная погода.

Стратостат был готов к отлету. Его сделали на двух лучших советских заводах. Маленькую круглую каютку-гондолу изготовил завод № 39, а огромную шелково-резиновую оболочку, которую наполняют легким газом, сшили на заводе „Каучук“. Рабочие старались как можно



лучше сделать первый советский стратостат. И советский стратостат вышел на славу. Куда лучше заграничных!

Наши красноармейцы пришли ночью на аэродром и на самолетное поле. Там уже надували газом оболочку стратостата. Газ вливался по трубе. Командир приказал вынести из большого сарая каютку-гондолу. Прожекторы осветили небольшой голубой шар, вроде глобуса. Под глобусом была подставлена сплетенная корзина из прутьев. На глобусе было написано „СССР“, и горела красная звезда. Это и была гондола-каютка. Федор Терещенко увидел ее в первый раз. Он заглянул в нее через круглое окошко. Внутри все было завешано и заставлено разными инструментами, машинками и аппаратами. Чего тут только не было!

Один аппарат мог сам записывать, на какую высоту забрался стратостат в небе. Другой мог пробовать, какой воздух наверху, есть ли в нем сырость, могут ли там летать аэропланы.

Третий аппарат умел ловить космические лучи, которые бывают только высоко в небе.

Этими лучами интересуются все ученые мира, но как следует их никто не мог поймать и изучить.

Четвертый аппарат должен был очищать воздух внутри каютки и готовить воздушную смесь, годную для дыхания. Без этого аппарата летчики бы задохнулись, потому что наверху, в стратосфере, каютку приходится совсем закрыть и завинтить, чтобы щелочки даже не осталось.

Было тут и радио. Была и маленькая аптечка с лекарствами.

— Взять гондолу! — скомандовал начальник, и Федор Терещенко вместе со всеми взял каютку на руки.

— Подняты Держать! По-не-сли!..

Гондолу бережно вынесли на поле. А там уже высоко раздулась газом оболочка. Огромный чехол торчал в тумане над полем. Каютку повесили под оболочку. Оболочка поднялась и натянула веревки, легкий газ тянул вверх. Красноармейцы крепко держали веревки. Вдруг командир заметил, что одна веревка высоко наверху запуталась. Узел затянул трубку, через которую вдували газ. Что тут делать?

Привезли пожарную лестницу, она могла достать до четвертого этажа большого дома, поставили — не достать и до половины. Узел на трубке висел на такой высоте, что под ним бы уместился целый восьмизэтажный дом.

Как тут быть? Все приуныли. А иностранцы, которые тут были, стали подсмеиваться над нашим стратостатом. И тут все услышали, как кто-то громко сказал:

— Товарищ командир, разрешьте мне! Я слажу.

Это сказал боец Федор Терещенко, коммунист и физкультурник.

— Что ты, — сказал командир, — не долезешь! Сорвешься еще, чего доброго. Ведь вон какая высьотища!

— Долезу, — сказал Федор Терещенко, — не сомневайтесь за меня, товарищ командир! Только разрешьте. Я вмиг.

И командир позволил.

Терещенко сбросил шинель, снял сапоги и размотал портянки. Он поплевал на руки и полез по тонкой веревке вверх. Все замерли, иностранцы перестали смеяться. Стало тихо.

А Терещенко все лез и лез по веревке. Вдруг он остановился.

— Эх, сил не хватило, — с досадой сказал командир.

Но Терещенко отдохнул немножко и полез выше. Вот он долез до трубки, быстро распутал узел и полез обратно вниз. Он быстро спустился и встал на землю. Все захлопали. Все закричали: «Браво! Ура!» И сто фотографов сняли Федора Терещенко, коммуниста и физкультурника, и командир велел написать приказ о храбрости т. Терещенко и выдать ему награду — сто рублей.

Но стратостат в это утро все-таки не полетел.



Туман сгустился. Сырая тяжесть его навалилась на стратостат. Стратостат не смог лететь.

Очень грустный шагал в строю домой Федор Терещенко.

— Чего ты грустишь? — спрашивали его товарищи. — Награду получил, вон куда забрался, а грустит...

— Я-то забрался, — отвечал Терещенко, — а вот стратостат наш, советский, не забрался. Обидно.

— Ничего, — утешил его командир. — Как будет хорошая погода, так полетит. Не грусти, Терещенко! Выше голову! Ать, два! Ать, два! Левой!

3

29 сентября командир сказал:

— Ну, товарищ Терещенко, завтра утром летит. Ученые высчитали, что завтра будет ясная погода, а тумана совсем не будет.

Красноармейцы пошли на аэродром. Они вели с собой по шоссе огромные и легкие резиновые колбасы. Каждая колбаса была величиною со слона. Красноармейцы гнали целое стадо резиновых слонов. В слонах был легкий газ.

Красноармейцы наваливались на резинового слона и выдавливали из него газ. Газ входил в оболочку стратостата. Оболочка пухла, как волдырь. Она подымалась, как тесто. Она росла, как гора. На 25 этажей подымалась она над полем. Она старалась улететь. Федор Терещенко с другими бойцами еле удерживали ее. Два маленьких воздушных шара летали вокруг стратостата.

Под шарами висели скамеечки-качалки. На качелях сидели летчики. Они порхали, как бабочки, вокруг громадины стратостата и проверяли, нет ли где прорешки в оболочке, не утекает ли газ, хорошо ли работает управление, не запуталась ли веревка. Федор Терещенко смотрел на них с завистью: они забрались еще выше, чем он залез в прошлый раз.

Но вот все приготовления кончились. Капитан стратостата товарищ Прокофьев и два его помощника — инженер Годунов и летчик Бирнбаум — влезли в кабину-гондолу.

Стратостат СССР 19,000 метр. (1933 г.)

Аэростат Пиккара 16,300 метр. (1932 г.)

Самолет Лемуана 14,100 метр. (1933 г.)

СТРАТОСФЕРА



— Отдать гондолу! Дать свободу! — крикнул командир. Федор Терещенко и все красноармейцы разом отпустили стратостат.

Стратостат быстро понесся в синее ясное небо.

Капитан высунулся из круглого окошка каютки, махал рукой Федору Терещенко.

— Ура! — закричал Федор Терещенко.

— Ура! — загремели все. — Ура! Летит наш первый советский стратостат!

И на всех улицах Москвы, на всех площадях ее народ остановился и стал глядеть в небо.

Остановились трамваи и автомобили: вагоновожатым и шоферам тоже было интересно поглядеть на стратостат. А стратостат улетал все выше и выше. Солнце освещало и согревало его. Оболочка раздувалась и становилась круглой, как шар. Страшно высоко над Москвой катился по синему небу серебряный шарик.

— Стратостат летит! Стратостат! — кричала вся Москва.

— Трататат летит! Трататат! — кричали малыши и скакали на одной ножке.

А Федор Терещенко сидел у радио и тихо слушал, как стратостат на небе разговаривал с командиром на земле.

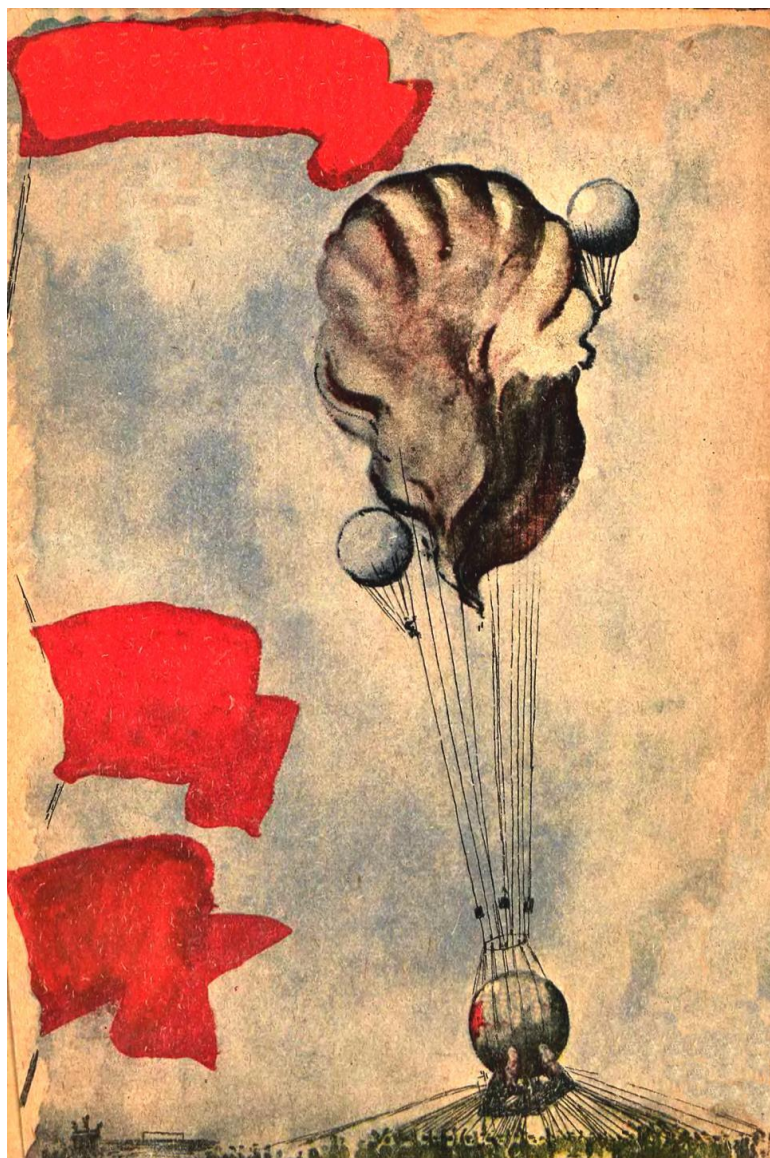
— Мы залетели на девятнадцать километров вверх! — кричало радио со стратостата. — Мы забрались выше профессора Пиккара. Так высоко ни один человек, ни одна птица никогда в жизни не залетали!

— Приветствуем вас, товарищи, и поздравляем! — сказал в радиотрубку командир.

— И от меня привет передайте! — сказал Федор Терещенко.

А на другой день все газеты во всем мире поздравляли Советскую страну с победой нашего стратостата.

Наш советский стратостат залетел выше всех в мире и благополучно вернулся на землю. И во всех газетах были напечатаны большие портреты наших сверхлетчиков — Прокофьева, Годунове и Бирнбаума.



И во всех газетах был напечатан маленький портрет храброго красноармейца, который распутал узел, — портрет Федора Терещенко, коммуниста и физкультурника.

Л. Кассиль



Евг. КРИГЕР

СКУЧНО ЛИ НА ЭТОМ СВЕТЕ, ТОВАРИЩИ?

Очерк

СКУЧНО ЛИ на этом свете, товарищи?

Когда все было кончено, Гараканидзе лег на землю, вынул бинокль и стал смотреть в небо.

Это была усталость. Он держался до последней минуты, до своей команды:

— В полете!

Но выдохнув команду еще полным голосом, он выдохнул и все свои силы и лег на землю, как аэростат, потерявший плавучесть.

Гараканидзе командовал стартом. Он не спал 21 ночь. Он лежал на земле аэропорта и в бинокль смотрел на небо.

Что он видел?

Небо голубое. Тишину. Отсутствие ветра. Удачу.

Корреспонденты иностранных держав, прибывшие в аэропорт еще с вечера, бежали к телефонам и телеграфу. Начиная с той минуты, когда Гаракавидзе скомандовал старт и, подхваченные током воздуха, трое товарищей поднимались в области, где никогда за все время существования планеты Земля не был еще человек, — начиная с этой минуты, в Америке стали выходить экстренные выпуски газет. Они писали о том же, о чем думал Гараканидзе, свалившийся на землю без сил, о чем кричала в телефоны вся Москва, о чем молчали толпы людей, очарованно созерцающих голубое небо и в голубом небе прозрачную, как лунный серп, светлую точку. Позже выяснилось, что одна из американских газет выпустила за день 5 экстренных выпусков. Через 24 часа писатель Алексей Толстой сообщал в «Комсомольской правде»:

«В час дня в Москве корреспондентами американского телеграфного общества получена из Нью-Йорка благодарность за быстрое сообщение мировой сенсации»

Все было фантастично в тот день. Выражение глаз у любого человека на улице. Разговоры. Мечты. Один из больших писателей спросил шутливо:

— А может они увидят там бога?

Другой же, с забавной серьезностью, ответил:

— О нет, конечно, бога они не увидят, его нет. Но небо там, несомненно, багрового цвета. Именно багрового...

Странно, но этот романтик был прав. В ту самую минуту, когда командир старта Гараканидзе видел в бинокль привычно голубое небо, летящие звездой Прокофьев, Бирнбаум и Годунов заметили, что небо в их областях фиолетовое.

Но открытие поразило их мало, так как все внимание в эти восемь часов, проведенных в стратосфере, отнимала работа точных инструментов. Они брали в герметически закрытую кабину воздух стратосферы. Сделать это удавалось с помощью дьявольски остроумного приспособления, получившего воздух извне в микроскопической дозе и автоматически, с помощью электричества, запаивавшего капсулю... Инструменты были сданы в стратостат опечатанными. В минуту спуска возле Коломны комиссия изъясла инструменты и увезла часть из них в Ленинград, в специальные институты.

Впервые принесен был на нашу планету разреженный воздух стратосферы.

Сотни ученых скорбят, что стратостат не мог захватить их приборов. Биолог проф. Кольцов был очень огорчен, что не была забрана в стратосферу муха, обыкновеннейшая муха. Дело в том, что все генетики мира процессы развития и изменения живых существ изучают именно на этой домашней мухе. Прокофьев, Бирнбаум и Годунов залетели в область почти безгранично царствующих космических лучей. Могло произойти чудо. Под действием лучей домашняя муха могла показать человечеству, чем оно обязано космическим лучам. Она могла измениться, стать иной, игра исплинских сил прищипорила бы процессы ее роста. Ведь знаем же мы, что не будь во вселенной космических лучей, чело-

век не родился бы. Амеба осталась бы амебой, одноклеточным мерцанием жизни.

Вот куда залетели Прокофьев, Бирнбаум, Годунов.

«Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства, — писал когда-то Гоголь, заканчивая необыкновеннейшую, непонятнейшую повесть «Нос». — И однако же при всем том, хотя конечно можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где же не бывает несообразностей? — а все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».

Человек грустный, больной, Гоголь знал хорошо, что в его жизни, в его время из ряда вон выходящих происшествий не было, не могло быть. Все его необыкновенные истории — либо шутка, либо странности больной натуры. Правдой же были для него лишь Иван Иванович да Иван Никифорович, веками тянувшие ссору у древней российской лужи.

Но как странно подходят для событий нашей страны мечтательные, когда — то бессмысленные слова романтиков. Один из писателей уже приводил в связи с полетом стратостата слова того же Гоголя:

«И стало слышно далеко, далеко во все концы света».

Так и есть, — в ту ночь далеко стало слышно, во все концы света.

В фантастический день, 30 сентября 1933 г., залетевший на 19 км ввысь стратостат стал как бы высшей точкой воображаемой пирамиды, и внутри этой пирамиды, основания которой протянулись к границам Союза, вошла такая лавина событий, что сознание почти не вмещало их.

В тот день, примагнитивший к небу и лунообразной гондоле взоры всей столицы, въезжало в ту же столицу другое событие — многоколенное, запыленное пустынями, простое и суровое, великое.

Шли автомобили из Кара-Кум, шли с московским воздухом в шинах, накаченным четверть года назад.

Фото А. Скурихина



В день 30 сентября 1933 г. стратостат летит ввысь на 19 километров...

Шли сталь, чугун, каучук, лампы, моторы, фары, сделанные в стране, еще вчера соломенной и глиняной.

Шли шоферы, водители, конструкторы, инженеры.

Люди, которым российское вчера уготовило бы место в консистории, в архиве, дало бы чин титулярного или станок, штраф, оплеуху пристава, околоток.

Вся эта лавина пронесла свою силу и мужество сквозь многие горы, дороги, климаты и широты.

Движение!

Заметьте, как привилось в нашей жизни энергичное слово «старт».

Стартуют авто, глиссеры, стратостаты, пловцы, бегуны. Молодость.

Здравый смысл. Разве не волнует нас, всех граждан, то спокойствие, с которым планета Земля устами Алксниса передавала в стратосферу место положения стратостата с тремя товарищами, их высоту, их удаление от Москвы к приближению к Коломне.

Или какие ясность, точность, спокойствие в радиограмме Прокофьева:

«9 ч. 32 мин. Говорит «Марс». Принимаю на репродуктор. Репродуктор кричит на всю кабину. Вы просили говорить реже. Говорю реже. Радио от начальника ВВС т. Алксниса приняли. Высота — 17,5 км. Наружная температура минус 46°. Скорость взлета — около одного метра в секунду. Настроение хорошее».

И этот ответ советской земли:

«Слышимость прекрасная. Желаю успехов. Сообщите, как работают кислородные приборы, какая температура кабины... Р е к о р д п о б и т, н е о с о б е н н о у в л е к а й т е с ь. Алкснис».

В этом «не увлекайтесь» бездна смысла, целая философия нового человека.

Не увлекайтесь, ибо я знаю, что не может не увлекаться большевик.

Не увлекайтесь, ибо я сам увлечен.

Не увлекайтесь, ибо нам нужны мужество, гордость но не безумие.

Не увлекайтесь, ибо не нужно рисковать там, где успех, где взлет, где парение над планетой, над миром предсказано смелостью всей страны, подготовкой ученых, системой, наукой, приборами, здравым смыслом.

Какое спокойствие в этой радиограмме земли:

«Вы находитесь в 50 километрах от старта в районе Бронницы. Идете на юго-восток. Снижение определяем. Предполагаемое место вашей посадки — между Бронницей и Коломной».

Трудно писателям. В той самой стране, где Гоголь писал когда-то «скучно жить на этом свете, господа», жизнь разверзает перед изумленными глазами такие дела, что не спится ночами писателю, гуляет воображение по миру, и слышно становится далеко — далеко, «во все концы света».

Недавно груженный писателями пароход вышел в рейс, — опять-таки по пути, небывалому за все время существования мира. В канал, соединивший Белое море с Балтийским.

Писатели увидели вздыбленные озера, поднятые над вековыми руслами реки, водный путь, прорезанный сквозь дремавшую землю. Сотни и тысячи людей, прорезавших в своей судьбе канал от решеток и тюрем к высочайшему творчеству и высочайшей свободе.

На берегу пелись песни, бывшие заключенные собирались у поездов, ехали на другой канал, под Москву. Поцелуй, прощание, речи. Тут пелись песни, сочиненные бывшими убийцами, ворами и вредителями. В песнях взрывались скалы, текла вода новой землей, озера поднимали водное зеркало к небу. Замечательные песни. Гудел пароход.

Один из писателей, Лев Кассиль, сказал слова, исполненные величайшей мечтательности. Он пошутил:

— А скандинавам нужно сообщить, что они теперь остров. Канал-то ведь оmyвает их, от материка шведы теперь отрезаны!

Что же, это верно. Шутка, но исполинская шутка. Канал действительно событие для географов.

И казалось писателям, что надолго суждено им жить только величием этого замысла, этой работой над новой природой, над новым человеком, героическим делом ОГПУ.

Они приехали в Москву. Летел стратостат. Прибегали из пустынь автомобили. Расширялись человечеству границы возможного.

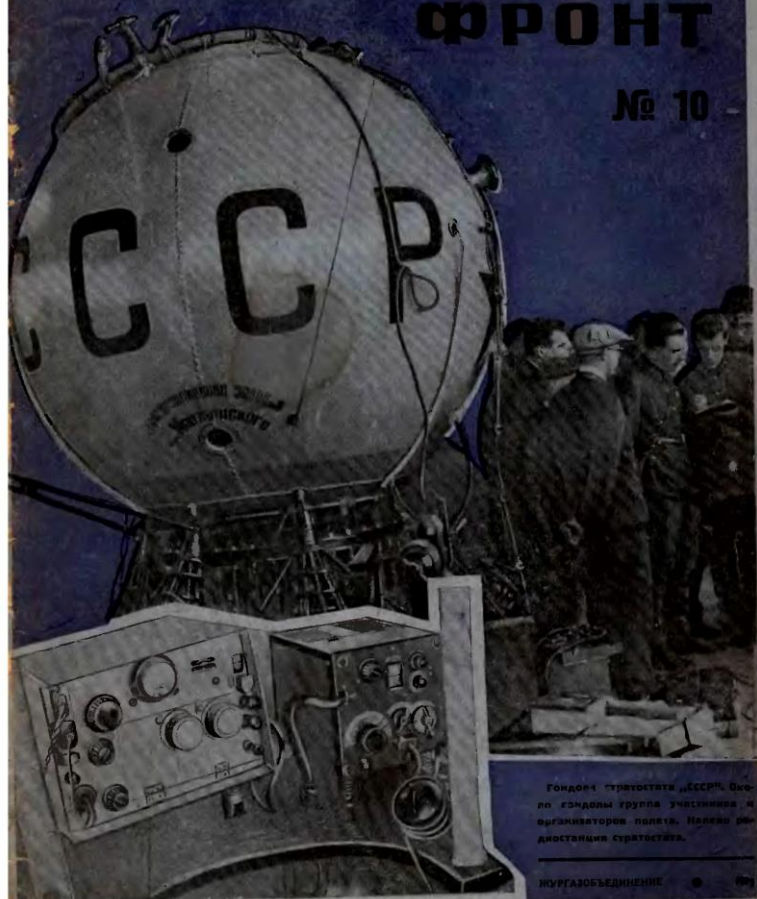
Воздух страшных высот лежал в капсуле на лабораторном столе. Измеренные, хранились в записях космические лучи.

Гараканидзе, не спавший 21 ночь, смотрел на небо в бинокль.

Как вместить все это на тончайшем острие пера?

радио фронт

№ 10



Гондолы стратостата «СССР». Вокруг гондолы группа учеников и организаторов полета. На фоне радиостанция стратостата.

КОРТАВСОБЪЕДИНЕНИЕ

№ 10

М. ВОДОПЬЯНОВ



**В ПОГОНЕ
ЗА СТРАТОСТАТОМ**

Рассказ

М. Водопьянов
ПОЛЯРНЫЙ ЛЁТЧИК
М.: Детская литература, 1969 г.

В ПОГОНЕ ЗА СТРАТОСТАТОМ

Я отдыхал после перелёта в ночном санатории. Туда позвонил дежурный по аэропорту и сообщил, что в шесть часов утра я должен быть на аэродроме для особого полёта.

В половине шестого утра вместе с линейными пилотами выехал на аэродром. Стоял сплошной туман; шофёр ехал очень тихо, боясь на кого-нибудь налететь.

У дежурного по аэропорту мы встретились с сотрудниками «Комсомольской правды». Они сказали, что в восемь часов полетит стратостат. Фоторепортёр должен заснять его в воздухе с моего самолёта.

Время было ещё раннее, и я решил пойти посмотреть стратостат. Его наполняли водородом. Полетит он, как я узнал, не ранее девяти часов.

С фоторепортёром мы условились, что он за полчаса до полёта стратостата придёт к дежурному, где я его буду ожидать.

В десятом часу приходит фотограф и говорит:

– Надо лететь. Стратостат будет подниматься через полчаса.

Стоял туман, но я всё же решил лететь. Запустили мотор. Полетели. Толщина облаков – пятьсот метров. Вышли за облака. Солнце. Делаю круги, набираю высоту три тысячи метров. Земли, конечно, не видно. Кружу над тем местом, где вышел из облачности. Если, думаю, облака куда-нибудь ветром сносит, то и меня вместе с ними. Стратостат полетит – и его тоже должно снести.

Кружим час, другой, а стратостата всё нет. Я уже стал сомневаться, не проворонили ли мы его.

Пошли на снижение. Нырнул в облака. Думал, туман поднялся от земли и мы сядем при хорошей видимости. Триста метров высоты – не вижу земли. И только на расстоянии ста пятидесяти метров показалась Москва-река. Полетели вдоль реки на аэродром. Самолёт стало прижимать к земле. Прижало метров до десяти. Даже на этой высоте земля местами скрывалась. В Москве туман ещё не разошёлся.

Фото Ф. КИСЛОВА



Оболочка стратостата «СССР» наполняется водородом.

Бензина осталось на один час. Решил вернуться и сесть где-нибудь в поле. Подлетаю к Одинцову – смотрю, огромное ровное поле. Можно садиться.

Катимся по земле – ничего. Вот-вот машина должна остановиться, но вдруг колёса погружаются в рыхлую землю, хвост поднялся, самолёт стал на нос.

– Сняли! – кричу фотографу.

Вылезаем, смотрим – сломался винт. Подождали, когда сельсовет поставит к самолёту караул, и пошли на станцию.

По дороге нас догнала легковая машина. Её хозяин любезно согласился довезти нас до Москвы. От него мы узнали, что стратостат не полетел, так как отсырела оболочка.

Это был наш первый неудачный полёт за стратостатом. Вскоре командир отряда снова мне приказал:

– Завтра ты должен вылететь с этим же фотографом и заснять стратостат. Если будет туман, ни в коем случае не вылетать.

– Слушаюсь!

Прихожу утром в аэропорт. Туман. Встретил опять тех же товарищей. Они говорят – надо немедленно вылетать, скоро пустят стратостат.

– Не могу, – ответил я, – мне приказано в туман не вылетать.

Хотя туман был настолько тонок, что просвечивало голубое небо, видимость была ещё неважной. Пока мы спорили, стратостат пустили. Нам с земли показалось, что он поднимается очень медленно, и я решил, что смогу его догнать. Тут же получил разрешение командира, посадил фотокорреспондента, и мы вылетели.

Набрали высоту три тысячи метров. Потом три двести. Вот, кажется, близко и гондолу хорошо видно, а всё-таки нам стратостат не догнать. Махнул рукой, пошёл на посадку, но сесть оказалось не так легко. Пришлось подождать минут двадцать в воздухе, пока рассеется туман.

Решили так: ветер слабый, стратостат не должно снести далеко, и, когда он будет снижаться, мы его обязательно снимем.

Сидим, ждём. В два часа фотограф узнаёт: стратостат идёт на посадку, высота девятнадцать километров; спустится где-то около Коломны.

«Ого, куда забрался! – подумал я, – Выше заграничных». Пошёл на метеорологическую станцию – узнать, не видят ли они его. Мне ответили:

– Его и без приборов хорошо видно. Смотри вон на эту точку – от неё вправо. Видишь?

– Вижу. Ну, он ещё держится высоко.

– Семнадцать километров! Идёт на снижение.

В шестнадцать часов сообщают, что стратостат снизился до десяти километров.

– Сколько времени он ещё будет снижаться?

– Часа два, не меньше. Сядет около Коломны.

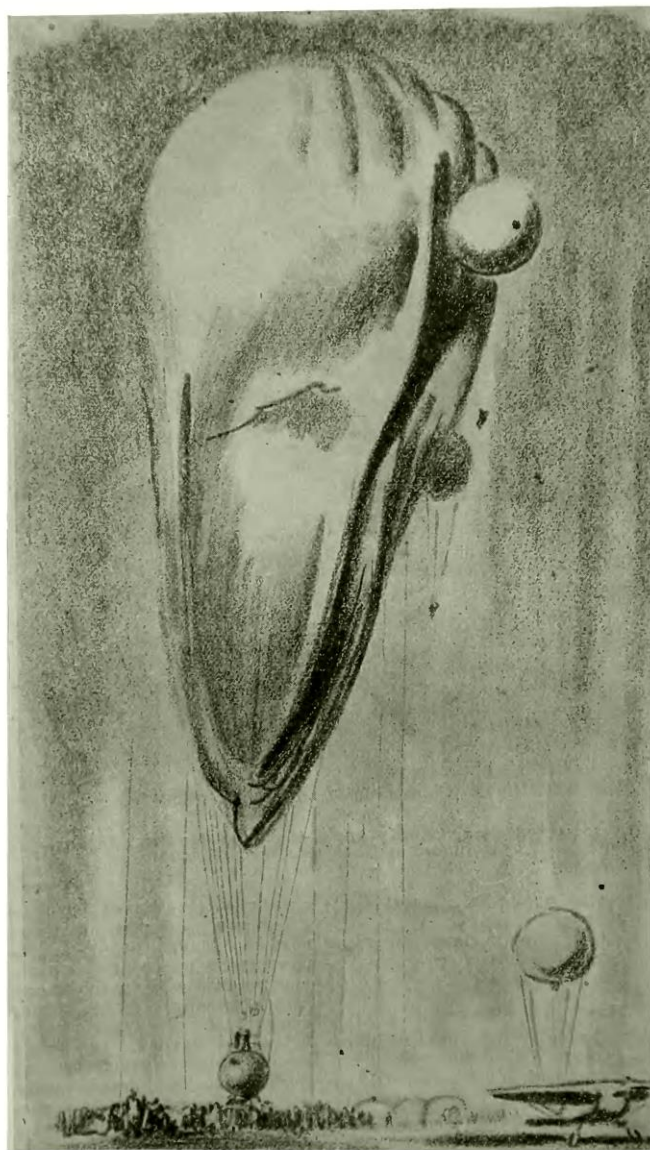
Я рассчитал: до Коломны лететь тридцать пять минут; чтобы успеть, надо вылететь в семнадцать часов. Так и сделали.

Опять набрали максимальную высоту. Смотрю вперёд – рассчитываю увидеть стратостат. Лечу уже тридцать минут, а стратостата не вижу. Фотокорреспондент тоже вглядывается в пространство. До захода солнца осталось минут сорок. Вдруг замечаю жёлтый от солнца шар стратостата. Ага, наконец-то попался! Теперь-то уж я тебя не упущу: заснимем и сверху и с боков! Но почему его так плохо видно? Наверное, сядет не в Коломне, а гораздо дальше.

Попросил я у товарища бинокль, стал смотреть, но никак не могу нащупать стратостат. Бросил машиной управлять, взялся обеими руками за бинокль – боюсь, не вырвало бы его из рук ветром. Машина начала вилить то вправо, то влево, потом полезла вверх. Толкнул я ручку, опять смотрю – никак не могу поймать стратостат! Отдал фотографу бинокль, стал всматриваться невооружённым глазом. Видно хорошо. Заметил даже оттенки. Непонятно только, почему гондолы не видно.

Фотограф долго прицеливался биноклем, потом положил его и показывает мне знаком: вот, дескать, мы его сейчас снимем. Начал готовить фотоаппарат.

Рисунок Н. АВАКУМОВА



Стратостат «СССР» готовится к полету.

Я лечу к стратостату и думаю: почему это он не снижается?

Неужели опять поднимется в стратосферу и будет там ночевать? Он будто идёт не вниз, а выше.

Вот уже под нами Рязань, солнце скоро сядет, а ночью лететь в Москву опасно. Мой самолёт не оборудован для ночных полётов. Снова я махнул рукой на это дело и повернул на аэродром.

Минут за двадцать до прилёта в Москву солнце село.

Вдруг фотограф толкнул меня и показал назад:

– Вон, смотри, наш стратостат всё ещё высоту набирает. Вероятно, у него гондола оборвалась.

Посмотрел я назад. Мать честная! Да это же не стратостат, а луна...

М А Й
№ 5
1935



В бой
ЗА ТЕХНИКУ

Изд-во „Гудок“

Стратосферный ракетоплан
(Обложка журнала «В бой за технику», № 5, 1935 г.)

Инженер Л. ВОРОНЦОВ



РАКЕТОПЛАН

Фантастический очерк



За последнее время иностранная печать уделяет много внимания конструкции самолета нового типа английского изобретателя полковника Франка Уиттля. Первое сообщение об этом самолете-ракетоплане было сделано 6 января 1944 года в Вашингтоне. До этого момента английская и американская печать не обмолвилась ни одним словом о том, что в Англия и США производились опыты с ракетным двигателем. В течение длительного времени эти эксперименты составляли тайну.

Что представляет собой самолет Уиттля? С внешней стороны он резко отличается от привычных нам машин прежде всего в своей носовой части. У него отсутствует пропеллер. Это означает, что описываемый самолет — принципиально новый летательный аппарат. Обычные самолеты, независимо от степени их совершенствования, приводятся в движение пропеллером, ввинчивающимся в воздух. Нового типа аппарат несется в воздухе посредством отталкивания газов. Это позволяет его называть ракетопланом.

Уже один факт появления ракетоплана в воздухе является выдающимся событием в технике.

Что еще можно сказать о внешних особенностях ракетоплана? Описывая впечатление очевидцев, газета «Британский союзник» указывает, что приближение ракетоплана «характеризовалось воем, который все нарастал, пока наконец не стал похож на звук закипающего гигантского чайника. Когда самолет был уже над головой, к этому визжащему звуку прибавилось гудение мотора».

Обычного авиационного мотора на ракетоплане нет. Его двигатель — ракетная установка. По этому поводу английский авиационный журнал «Флайт» указывает:

«В ракетоплане силовая установка состоит в основном из воздушного компрессора, приводимого в движение турбиной на отработанных газах (не паровой). Эта комбинированная установка создает ток воздуха и газа, выбрасываемого с большой скоростью из дюзы на хвосте самолета. Толчок назад этой струи горячего воздуха создает обратный реактивный толчок всей машине и продвигает ее вперед.

Рабочей средой здесь является воздух, засасываемый из атмосферы, сжимаемый и проходящий в камеру сгорания. Сюда непрерывно впрыскивается жидкое горючее, которое, сгорая, нагревает и расширяет воздух. Из камеры сгорания эта горячая газовая смесь распространяется по турбине, создавая, таким образом, энергию, которую можно использовать для работы компрессора. Турбина и компрессор сидят на общем валу и вращаются с огромной скоростью — свыше 10 000 об/мин. Из турбины воздушно-газовая струя выбрасывается в атмосферу через упомянутую уже хвостовую дюзу».

Эти подробности о ракетном двигателе представляют существенный интерес, однако они не исчерпывают всех вопросов, связанных с эксплуатационными качествами ракетоплана. Необходимо в первую очередь отметить, что реактивный самолет хорошо может двигаться на значительной высоте, в разреженном воздухе стратосферы. При этом такой самолет сможет развивать весьма большую скорость. Однако при старте, когда скорость самолета еще невелика, реактивный движитель самолета будет работать с очень малым коэффициентом полезного действия, и взлет реактивного самолета будет весьма затруднен. Возможно, что для старта реактивных самолетов должны применяться какие-либо особые катапульты или иные приспособления.

Далее, необходимо учесть, что даже при наиболее благоприятных условиях реактивный движитель самолета дол-

жен иметь коэффициент полезного действия заметно меньший, чем у обычной винтомоторной группы.

Это приводит к необходимости иметь у реактивного самолета более значительный запас горючего, чем обычно, что должно ограничивать его радиус действия.

Наконец, весьма существенные трудности связаны с распределением внутреннего оборудования реактивных самолетов, так как через фюзеляж должна проходить труба, через которую всасывается воздух и выбрасываются назад продукты горения.

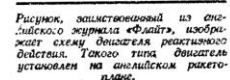
Вот немногие примеры важных проблем, которые еще не освещены заграничной печатью, и возможность рационального решения которых остается неясной.

Поэтому окончательную оценку действительного значения реактивных самолетов следует считать пока преждевременной.

Этот вывод не входит в противоречие с заключениями некоторых заграничных авторитетных экспертов. Так, известный английский специалист по ракетоплаваншю Джеффри Смит в своей статье, опубликованной английской печатью, указывает: «Само собой разумеется, самолеты с реактивными двигателями сейчас находятся еще в ранней стадии своего развития. В то же время не может быть сомнения и в том, что в этой области, как и в других областях научно-технического прогресса, дальнейшее усовершенствование нового двигателя будет происходить по мере накопления обширного практического опыта. Многие выдающиеся научно-технические умы Англии, Америки, а также других стран поглощены проблемой реактивного движения.

Здесь уместно вспомнить, что в свое время зарубежная печать сообщала о разрешении проблемы ракетоплана в Италии. В августе 1943 года итальянская машина ракетной конструкции Каминин-Капрони совершила десятиминутный полет с аэродрома в Милане. Однако дальнейших сообщений о развитии и совершенствовании экспериментальных образцов реактивных машин не было. Видимо, итальянские попытки создать ракетоплан потерпели неудачу. Однако нет

Рисунок, заимствованный из английского журнала «Флайт», изображает схему двигателя реактивного действия. Такого типа двигатель установлен на английском ракетоплане.



К. КАЙТАНОВ



**ПРЫЖОК
С 25 000 МЕТРОВ
(1941 год)**

Фантастический рассказ

К. Кайтанов
ПРЫЖОК С 25 000 МЕТРОВ (1941 ГОД)
НАШЕ НЕБО: [Записки парашютиста] –
Л.: Сов. писатель, 1939 г.

К. КАЙТАНОВ



ПРЫЖОК С 25 000 МЕТРОВ (1941 ГОД)

Полет был назначен на ночь. Молодые экспериментаторы Петр Луценко и Алексей Золин утром рассчитывали достигнуть потолка, затем по прямой пересечь материк с юго-запада на северо-восток. Посадка в Чкаловске. Итого восемь часов полета.

Если машина оправдывает расчеты конструкторов, то на высоте в двадцать пять тысяч метров расстояние между Чкаловском и Н. будет покрыто за пять часов.

Девятьсот — тысяча километров в час!

Металлическая птица спокойно висела на стальных тросах, сверкая сизым переливом стальной обшивки. Винт, точно головка ласточки, непропорционально миниатюрный, вдавался в широкие плечи самолета, скошенные к хвосту-

вому оперению. Снизу в профиль машина действительно напоминала ласточку в момент ее стремительного и красивого полета.

— Снаряд, выпущенный из артиллерийского орудия, даже в первые секунды своего полета не обладает абсолютной аэродинамичностью, — сказал Луценко, глядя на острогрудый полированный обтекатель кабины. — Именно скорость снаряда в первоначальный момент ее нарастания и увеличивает сопротивление. Но тут, — Луценко окинул взглядом весь самолет, — я не вижу даже точки для лобового сопротивления. Встречному потоку воздуха остается только скользить, — упереться ему буквально не во что.

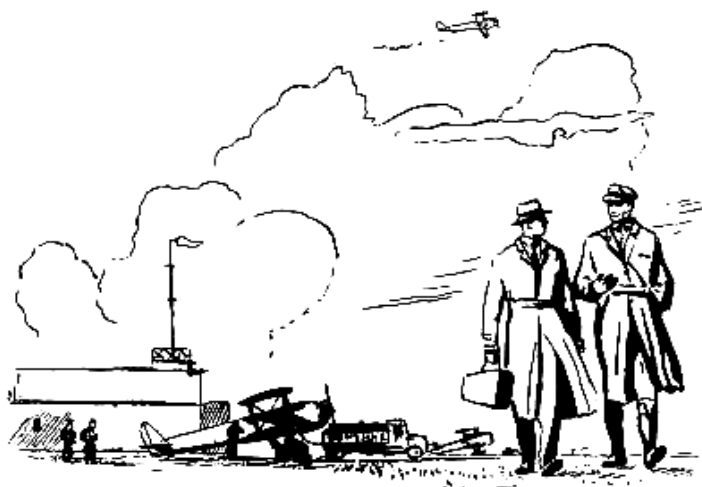
Конструктор К., установив на своем самолете мотор с мощным нагнетателем, полагал, что достигнет высоты пятнадцати тысяч метров.

— На своей машине мы решим одновременно три задачи: достигнем предела высоты, дадим предел скорости и выбросим парашютиста в нижних слоях стратосферы.

Луценко подошел к толстому целлулоидному окну люка, через которое был отчетливо виден механизм автоматического выбрасывателя.

— Летчик Сизов погиб при попытке совершить прыжок с самолета на скорости четыреста километров. Силой динамического удара парашют был изорван в клочья. Наш парашют позволит выброситься со скоростью в тысячу километров. Но ни у одного человека нехватит физической силы, чтобы на этой скорости отделиться от самолета. Автоматический выбрасыватель не потребует никаких усилий от парашютиста. Нужна только готовность к прыжку. По одному нажиму спускового механизма парашютист вылетит из люка. И еще одно преимущество. Падая затяжкой, парашютист уйдет далеко от самолета и, главное, погасит огромную несущую скорость, приданную ему скоростной машиной.

Летчики отошли от самолета. Дежурный по ангару сбавил огни, часовой с винтовкой через плечо стал ходить взад и вперед вокруг самолета, распростершего свои остролистые крылья почти над всей площадью ангара.



В три часа ночи ворота ангара раскрылись, бесшумно скользнув по металлическим желобам.

Начальник комиссии по организации полета и прыжка из стратосферы, полковник Домов, и два конструктора наблюдали за последними приготовлениями к старту. Летчик Луценко уже сидел в кабине самолета, а его спутник Золин облачался в легкий скафандр с заплечным и нагрудным парашютами.

— Только парашюты и убеждают меня в вашем воздушном полете, — улыбаясь, сказал полковник Домов. — Без этих парашютов вы в вашем скафандре больше похожи на водолаза.

Золин улыбнулся сквозь стекла шлема и открыл вентиль индивидуального кислородного прибора.

— Отлично, — послышался глухой, словно придавленный голос из скафандра.

Золин повернулся, подошел к самолету, и по лесенке ему помогли забраться в заднюю кабину.

Последняя минута. Провожжающие попрощались. Герметические кабины захлопнулись. Теперь летчики могли ды-

шать только на искусственном кислороде, который поступал из специальных аппаратов, установленных по бокам кабин.

Тихо взвизгнула лебедка, и самолет, сверкнув сизыми плоскостями, мягко опустился на бетонную дорожку, уходящую из ангара на огромный параллелограм аэродрома.

Длинные лучи прожекторов, как мечи, скрестились в перспективе, куда уходила бетонная дорожка. Белая ракета вспыхнула над полем. Путь свободен. Казалось, самолет принял к земле, чтобы вспорхнуть с бетонной дорожки. Чуть дрогнули плоскости, приглушенный мотор запел могучим металлом. Невидимо кружившийся винт поглощал воздух, швыряя его за хвостовое оперение. Провожающие прижались к земле.

Машина метнулась в темноту и, проскочив дорожку, ушла в воздух, едва освещенная прожекторами...

В четыре часа шестнадцать минут, ровно через час после старта, ультракоротковолновый передатчик «Большая земля» послал в воздух первую радиограмму:

«Капитану Луценко. Сообщите координаты, температуру, потолок, самочувствие».

В те минуты, когда Луценко принял радиограмму «Большой земли», самолет находился на высоте шестнадцати тысяч метров, под сине-фиолетовым сводом неба. На этой высоте был уже день, ясный, с далеко видимым горизонтом. Земля лежала внизу, за ватным покрывалом кучевых облаков, темных от огромной тени земли.

Пользуясь искусственным климатом, летчики дышали совершенно свободно, не чувствуя того удушливого действия разреженного воздуха, который убивает всякий живой организм уже на высоте восьми-деяти тысяч метров. Автоматические поглотители углекислоты извлекали из герметических кабин пилотов вредный газ, обогащая кабину кислородом.

Золин, сидевший в специальной скафандре, пользовался стационарной воздушной системой, чтобы не расходовать

запас драгоценного кислорода из индивидуальных приборов.

Прочитав Золину по телефону радиограмму с «Большой земли», Луценко передал ответ:

«Позывные норд-ост, потолок семнадцать тысяч, температура минус пятьдесят три, «климат» прекрасный, самочувствие хорошее. Луценко. Золин».

Автоматические приборы слепого пилотирования вели самолет точно по заданному курсу. Луценко отдыхал, наблюдая движение стрелок. Показатель скорости стоял на цифре «750». Если усилить действие нагнетательной системы и дать газ за защелку, то скорость вполне можно повысить до тысячи километров. Однако, по расчетам летчиков, этой скорости сейчас было достаточно.

— Как самочувствие? — спросил в телефон Луценко.

— Отличное. Несмотря на потолок, спать не хочется.

— Стоит, однако, выключить нашу дыхательную систему, — шутя отвечает Луценко, — чтобы заснуть и не проснуться. Кстати, проверим действие автоматического выбрасывателя.

Золин поднялся, положил в люк выбрасывателя полосатый балластный мешок и нажал кнопку выбрасывателя. Люк, словно глотнув добрую порцию воздуха, выбросил балласт в пространство.

— Безотказно действует, — доложил он Луценко.

На четвертом часу полета машина была на расстоянии двух тысяч семисот километров от старта и шла на высоте двадцати пяти тысяч метров. Приближалась зона, в которой должен произойти первый эксперимент этого высотного полета. Летчику Золину предстояло оставить самолет. Парашюты, нагрудный и заплочный, висящие поверх мягкого скафандра, делали Золина похожим на шар, несколько сплюснутый в своем центре. Приготовившись к сбрасыванию парашютиста, Луценко дал последние наставления своему спутнику: — Осторожность и точный расчет. Раньше полутора минут парашют не раскрывать. Пользоваться радиосвязью. Счастливо!

Золин встал во весь рост, отключился от стационарной системы кислородного питания и включил индивидуальные приборы. Он укрепил над шлемом миниатюрный радиозонд и стал в свободное отверстие люка, затянутого толстой коркой прозрачного целлулоида.

За маской скафандра видны были лишь горящие нервным огоньком глаза Золина. Первый эксперимент. Манекен, выброшенный с этой же высоты, прекрасно приземлился в шестидесяти километрах от точки сбрасывания. Каково будет приземление первого человека?

Золин нажал ногой педаль автоматического сигнала, и в момент, когда самолет, чуть проваливаясь, начал терять высоту, Золина стремительно выбросило из самолета. Машина, почувствовавшая значительное облегчение, рывком устремилась вперед. По этому движению Луценко узнал, что спутник его уже летит в безвоздушном пространстве.

Миниатюрный сжавшийся комочек падал в синефиолетовой стратосфере, безмолвно и одиноко отсчитывая удары секундомера, подвешенного к скафандру над самым ухом. Звнящий свист, вначале слабый, потом нарастающий, а сейчас грозный, зловещий, сопровождал безудержное падение человека. Тонкая резиновая оболочка, защищенная двуслойной парусиной, укрывала тело Золина от пятидесятиградусного мороза, удушающего действия среды, в которой происходило его невероятное падение. На шестидесятой секунде в ушах Золина зазвучал колокольчик секундомера, отбивающий минуту затяжного падения. На второй минуте скорость падения все нарастала. В изолированном колпаке скафандра стало трудно дышать. Снова прозвенел колокольчик секундомера, и Золин потянул тяжелой, облаченной в резину рукой широкое кольцо вытяжного троса. Он падал вниз спиной, глядя на выдернутое кольцо в ожидании рывка. «Раскроется ли?»

За спиной вялый купол парашюта вытянулся в колбаску и стал медленно наполняться воздухом. Вытянув правую руку, Золин падал так, чтобы видеть пронесившиеся над головой стропы и наполнявшийся купол.

«Как бы рывком парашюта не сорвало радиозонд, укрепленный на шлеме скафандра», — подумал Золин.

В эти минуты высота нахождения безудержно падавшего парашютиста автоматически передавалась на землю. Функции автомата-радииста выполнял радиозонд, непрерывно подававший сигналы.

Купол парашюта уже почти раздулся. Вдруг — странный толчок, от которого у Золина на мгновение потемнело в глазах. В ушах раздался звон. Снижение шло почти нормально, если не считать утомительного раскачивания — болтанки, которая началась в первом ряду кучевых облаков. Золин посмотрел на левую руку, к которой был прикреплен миниатюрный прибор автомата-барографа, и увидел, что высота его падения уже одиннадцать тысяч метров, — четырнадцать тысяч метров он прошел затяжным прыжком.

Он на мгновение отключился от кислородной системы и открыл вентиль, давший доступ естественному воздуху. В тот же миг в голову ударила страшная тяжесть. Золин включил кислородную систему. Спуск продолжался. Земля вырисовывалась поверхностью, будто припухшей, в утренней дымке, освещенная боковыми лучами солнца.

Вначале не узнать раскрывшейся панорамы, потом по двум-трем характерным ориентирам Золин нашел на западе маленький городок С., на севере — далекую площадь озера.

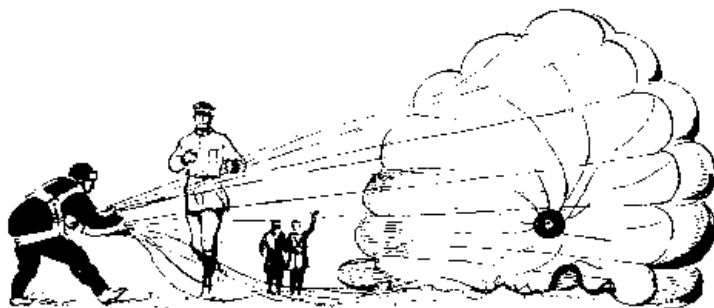
Золин рассчитал площадь посадки, — она придется, примерно, в девяноста километрах от точки сбрасывания.

«Так и должно быть, — подумал он. — Несущая скорость самолета — девятьсот километров, полторы минуты — затяжка. За это время я удалился от точки сбрасывания не менее, чем на семьдесят километров. Километров двадцать на снос».

Золин приземлился под двумя парашютами на мягкий грунт пустынной местности и, установив компактный радиопередатчик, вызвал «Большую землю».

Первая радиограмма была послана с места приземления в штаб перелета.

Замкнув кольцо своего высотного полета, Луценко сделал блестящую посадку и два часа спустя уже встретился с Золиным, доставленным с места приземления. Молодые пилоты полностью подтвердили расчеты конструкторов. Советский стратоплан первым в мире поднялся на высоту, к которой десятки лет стремились европейские и американские летчики.



Председатель комиссии по организации перелета полковник Домов горячо поздравил товарищей. Он протянул Луценко и Золину официальный акт о полете, скупой говорящий о героизме экипажа и технике советского самолетостроения:

«15 июля 1941 года советский цельнометаллический стратоплан с воздушными нагнетателями и специальной аппаратурой для свободного дыхания, пилотируемый капитаном Луценко, стартовал с аэродрома Н. и, поднявшись на высоту двадцать пять тысяч метров, показал среднюю путевую скорость девятьсот тридцать семь километров в час. На этой же высоте второй участник полета, лейтенант Золин, снаряженный в мягкий скафандр, при помощи автоматического выбрасывателя совершил парашютный прыжок в стратосфере. Падая затяжным прыжком девяносто секунд, Золин раскрыл парашют на высоте одиннадцати тысяч мет-

ров и благополучно приземлился в девяноста семи километрах от точки сбрасывания.

Летчик Луценко вернулся на свой аэродром, к которому вышел с высоты достигнутого потолка с абсолютной точностью. Навигационное оборудование и особенно компас во время высотного полета давали исключительно точные показатели. Влияние земного магнетизма на приборы было столь ничтожно, что к месту посадки самолет вышел с точностью до одного градуса.

Полетами товарищей Луценко и Золина завершена крупная серия экспериментальных работ в области стратосферы».

А. АНТРУШИН



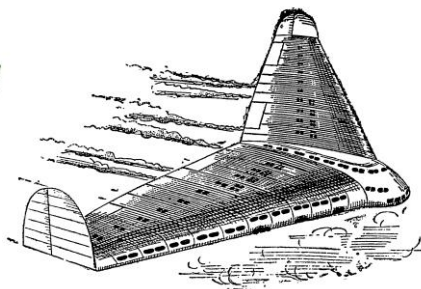
ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО

Фантастический очерк

Журнал «Костёр», № 9, 1945 г.

ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО

А. Антрусин



1955 год... На одном из советских аэродромов приземляется огромный воздушный корабль. Он так велик, что его гусеничные шасси не меньше целого автобуса. Это совсем непривычный для нас воздушный корабль — без жужжащих пропеллеров, фюзеляжа и других знакомых нам деталей. Это воздушное крыло. При посадке оно выпускает особые металлические гусеницы и плавно касается бетонной дорожки. К этому гиганту (назовем его „Небесная стрела“) быстро подкатывает пара механических лестниц-эскалаторов, — и пассажиры, вчера покинувшие Нью-Йорк, спускаются на советскую землю...

Сейчас такие машины еще не строятся. Но возможно, что нынешние школьники лет через десять будут строителями и пассажирами этих удивительных самолетов.

Перенесемся мысленно на десятилетие вперед и посмотрим „Небесную стрелу“. Это настоящий воздушный корабль: в нем сто двадцать спальных мест, мощные механизмы, запасы горючего для полета на расстояние до десяти тысяч километров и экипаж в двадцать человек. Двухэтажное крыло имеет размах в девяносто шесть метров и полетный вес до ста семидесяти пяти тонн.

„Небесная стрела“ — стратоплан. Он специально приспособлен для дальних, беспосадочных полетов в стратосфере — этом втором „этаже“ воздушного океана. Чтобы летать быстрее, нужно летать выше. На высоте пятнадцати тысяч метров воздух очень разрежен, его плотность в девять

раз меньше обычной. Здесь всегда держится сильный мороз в 55 градусов. Самолет встречает поэтому ничтожное сопротивление совершенно сухого, разреженного воздуха.

В заоблачных высотах постоянно дуют ветры, всегда в одних и тех же направлениях. Это удобно для воздухоплатователей: зная, где какой дует ветер, можно воспользоваться попутной струей и, тем самым, еще увеличить скорость больше чем на сто километров в час. В стратосфере не бывает ни шторма, ни урагана, ни снегопада, ни тумана, ни дождя. И поэтому для самолета нет опасности обледенения.

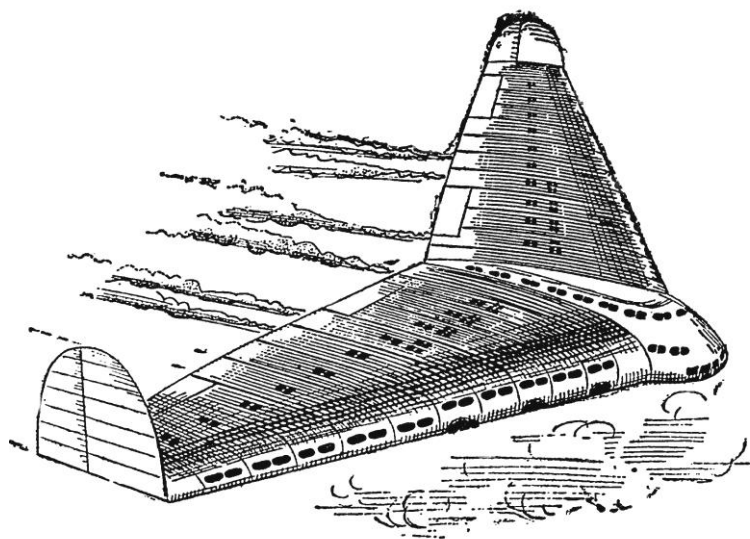
Но человек и его летающая машина являются непрошенными гостями в безграничных просторах стратосферы. Природа сурово встречает их вторжение. Чем выше поднимает человек свой самолет, тем труднее становится борьба с двумя смертельными врагами: жестоким холодом и низким давлением воздуха.

В нижнем этаже атмосферы, на высоте шести-семи тысяч метров, пилоту достаточно теплой одежды, чтобы согреться, и маски с кислородным баллоном, чтобы дышать.

Совсем другие условия в стратосфере. Здесь мотор может работать только с помощью очень сильных и тяжелых машин, нагнетающих недостающий воздух. Это — непосильное бремя для самолета. Что же касается самого человека, то ему не поможет даже кислородная маска — так велико разрежение воздуха. Есть один способ сохранить на этой высоте жизнь человека — создать в помещениях стратоплана условия, похожие на привычные нам, земные. Для этого корпус „Небесной стрелы“ делают очень прочным, как например, в подводной лодке. С той лишь разницей, что стены „Стрелы“ противостоят внутреннему, а не внешнему давлению.

Внутри стратоплана тепло и уютно. Снаружи он хорошо защищен от потери тепла изолирующей пастой и покрыт нетеплопроводным лаком. Свежий воздух, получаемый извне, уплотняется, нагревается и обогащается нужным для дыхания кислородом, и по алюминиевым трубам передается во все кабины. В верхнем „этаже“ „Небесной стрелы“ рас-

положены гостиная с киноэкраном и площадкой для танцев, библиотека, курительная, детская и ресторан, а также пассажирские кабины, в нижнем — экипаж и все служебные помещения.



Вместо бесполезных в стратосфере авиамоторов с пропеллерами, „Небесная стрела“ имеет шесть воздушно-реактивных двигателей, плавно толкающих обтекаемое крыло, со скоростью до восьмисот километров в час.

Газы в двигателях „Небесной стрелы“ вырываются из двигателей назад, а летающее крыло толкается вперед. Здесь происходит то же, что и с лодкой, когда вы прыгаете с нее на берег: она отталкивается в противоположную сторону. Эти двигатели сообщают крылу скорость полета восьмисот километров в час.

В „Небесной стреле“ пассажиры совсем не слышат гула пропеллеров, не испытывают сотрясения кабин. Шум двигателей не достигает пассажиров летающего крыла.

„Небесная стрела“ имеет форму летающего крыла неспроста.

Когда самолет летит, перед крылом воздух сжимается и позади разрезается. А если полет происходит в очень редком воздухе, да еще с огромной скоростью, то вокруг хвостовой части фюзеляжа создается почти пустота, и рулям там нечего делать — не на что опереться. Поэтому рули стратоплана перенесены на концы крыла. И хвостовая часть фюзеляжа оказалась совершенно лишней. Осталось одно летающее крыло, которым управлять гораздо проще, чем обычным самолетом.

Вы будете удивлены тем, что для полета в стратосфере „Небесная стрела“ должна подниматься на высоту в пятнадцать тысяч метров целых полтора часа. А между тем, поднимается она очень быстро — три метра в секунду.

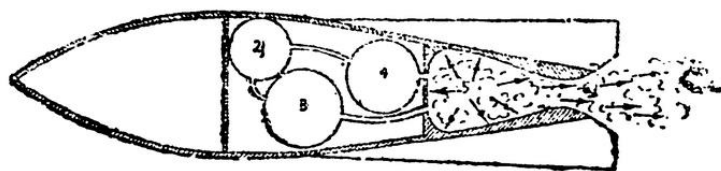
С высоты 15 километров пассажиры не увидят поверхности ни земли, ни океана — под ними будет расстилаться только фантастическое море волнистых облаков. Солнце и звезды будут их единственными путеводителями.

Перед посадкой, пилот начинает спуск за час и более. Спускается летающее крыло как планер, и это экономит горючее.

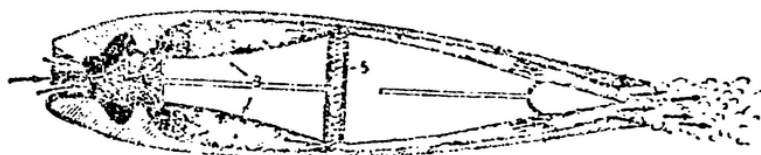
„Небесная стрела“ может совершать посадку при любой погоде. При густом тумане, например, посадка производится вслепую, по приборам. Изумительные радиопосадочные механизмы уверенно ведут стратоплан в аэропорт, осторожно направляют его на бетонную дорожку и приземляют одновременно на три гусеницы так плавно, что спящие пассажиры даже не пробуждаются.

Гусеницы стратоплана металлические, потому что резиновые покрышки и камеры колес не выдержали бы жестокого холода и сделались бы хрупкими, как стекло.

Окна „Небесной стрелы“ нельзя делать из обычного стекла. Они бы не выдержали быстрой смены жары и холода, и мигом бы лопнули. Плитки из прозрачной пластмассы необычайной стойкости, на высоте пятнадцати тысяч метров будут заменять „Стреле“ стекло.



Так устроена ракета



Воздушно-реактивный двигатель

Летающее крыло — прекрасно плавает на воде, что очень важно при вынужденной посадке в океане. Оно построено так прочно, что может выдерживать шторм любой силы, и не переломится на волне. „Небесная стрела“ способна и быстро скользить по морю, потому что газовым струям все равно куда вырваться — на воду или в воздух.

Переносясь от мечты к действительности, надо упомянуть, что многое из рассказанного уже осуществлено. Летают пассажирские самолеты с искусственным давлением в кабинах, правда, пока на высоте семи-восьми тысяч метров. Истребители с воздушно-реактивными двигателями успешно сбивали немецкие самолеты-снаряды на подступах к Англии.

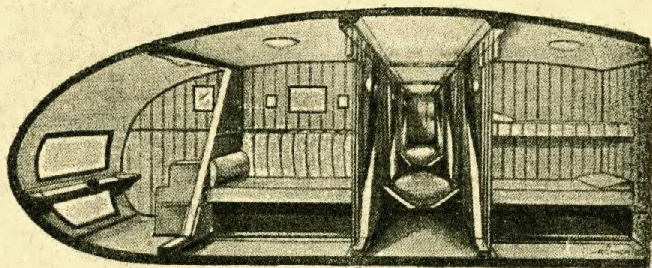
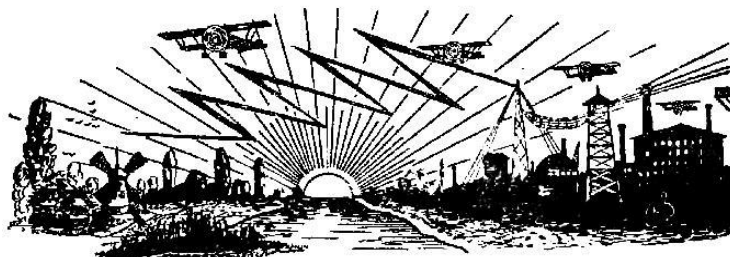


Рис. к заметке „Крылья гиганты“.

Крылья - гиганты. Только сравнивая иногда что-нибудь хорошо нам известное с каким-нибудь изобретением последнего времени, мы можем наглядно почувствовать завоевания техники нашей эпохи. Успехи авиации у всех перед глазами, и каждый день здесь приносит что-нибудь новое и поражающее. Хорошим мерилom этих головокружительных успехов может послужить сравнение хотя бы величины крыльев птицы и современного нового сверх мощного самолета Юнкерса, предназначенного для трансатлантических перелетов. Самолет этот, вмещающий в себе 100 пассажиров и 4 мотора по 3.000 сил, настолько велик, что каюты и служебные помещения удалось расположить в самой толще металлического крыла, как это показано на рисунке. Идея постройки таких толстых крыльев впервые была выдвинута известным русским ученым (ныне покойным) проф Жуковским.

Знаменский.



СОДЕРЖАНИЕ

I

РЕМЕСЛО ГЕРОЯ

Сергей КОЛДУНОВ

РЕМЕСЛО ГЕРОЯ

Фантастический роман

Иллюстрации Г. Балашова

7

Сергей КОЛДУНОВ

КОМАНДИР

Глава из романа «Ремесло Героя»

323

II

СТРАТОНАВТЫ

И. БАСКАКОВ

КАК ИДУТ К ЗВЁЗДАМ

Фантастический очерк

343

Николай БОБРОВ

СТРАТОПЛАНЕР

Фантастическая статья

353



П. ГРОХОВСКИЙ
РЕАКТИВНЫЙ СТРАТОПЛАНЕР
Фантастический очерк

367

Лев КАССИЛЬ
СТРАТОСТАТ
Рассказ

375

Евг. КРИГЕР
СКУЧНО ЛИ НА ЭТОМ СВЕТЕ, ТОВАРИЩИ?
Очерк

387

М. ВОДОПЬЯНОВ
В ПОГОНЕ ЗА СТРАТОСТАТОМ
Рассказ

397

Л. ВОРОНЦОВ
РАКЕТОПЛАН
Фантастический очерк

407

К. КАЙТАНОВ
ПРЫЖОК С 25 000 МЕТРОВ (1941 год)
Фантастический рассказ

413

А. АНТРУШИН
ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО
Фантастический очерк

425

ЗНАМЕНСКИЙ
КРЫЛЬЯ-ГИГАНТЫ
Заметка

432

